

МИР
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ГЕРОЕВ



Коллекция
«Фантастика»



Об авторах

Братья и соавторы *Аркадий и Борис Стругацкие* — классики и бесспорные лидеры отечественной социальной фантастики. Их именем названа малая планета в астероидном поясе Солнечной системы.

Аркадий Натанович Стругацкий (1925—1991) родился в Батуми, с родителями переехал в Ленинград, в блокаду был эвакуирован и выжил единственный из всего вагона. А черты городка Ташла Оренбургской области, где он жил в эвакуации, проступили затем в произведениях «Отягощенные злом» и «Дьявол среди людей». Окончив в 1949 году Московский военный институт иностранных языков, будущий писатель до 1955 года служил военным переводчиком, в основном на Дальнем Востоке. Под псевдонимом С. Бережков переводил английскую, американскую и японскую фантастику, а также классическую японскую литературу (его главный труд как япониста — перевод со старояпонского языка средневекового романа «Сказание о Ёсицунэ», 1984).

Но почти все художественные произведения написаны им в соавторстве с младшим братом, Борисом Натановичем Стругацким.

Борис Стругацкий родился в 1933 году в Ленинграде, туда же вернулся после эвакуации. Окончил механико-матема-

тический факультет ЛГУ по специальности «звездный астроном», работал в Пулковской обсерватории. С 1972 года — руководитель семинара Бориса Стругацкого (первоначально Ленинградского семинара молодых писателей-фантастов). Учредил премию «Бронзовая улитка».

Совместная работа братьев началась с повести «Страна багровых туч» (1957, опубликована в 1959). Основные черты художественного стиля Стругацких — интерес к личности человека в масштабах Вселенной и конфликт между новейшими научными фантазиями и вечными ценностями. Наиболее известны их произведения «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер», «Малыш», «Улитка на склоне», «Град обреченный».

К числу лучших вещей Стругацких относится повесть «Пикник на обочине» (1972), которая стала первоосновой фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Роман «Жук в муравейнике» (1979) ставит точку в дискуссии об этической допустимости использования достижений науки для ускорения развития цивилизации.

Ты должна сделать добро из зла,
потому что его больше не из чего
сделать.

Р. П. Уоррен

*Из интервью, которое специальный корреспондент
Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана
по случаю присуждения последнему
Нобелевской премии по физике за 19... год:*

— ...Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана?

— Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие. И не совсем мое.

— Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана — понятие, известное всякому школьнику.

— Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его «Истории Посещения» — там все это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент, а назвали радиант почему-то моим именем.

— Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман...

— Послушайте, земляк. Радиант Пильмана — это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из револьвера. Дырки на глобусе лягут на некую плавную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым серьезным открытием, заключается в простом факте: все шесть Зон Посещения располагаются

на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля—Денеб. Денеб — это альфа созвездия Лебеда, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана.

— Благодарю вас, доктор. Дорогие хармонтцы! Наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана! Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу?

— Что именно их интересует? Имейте в виду, в Хармонте меня тогда не было...

— Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации...

— Честно говоря, прежде всего я подумал, что это утка. Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Хармонте может случиться что-нибудь подобное. Гоби, Ньюфаундленд — это еще куда ни шло, но Хармонт!

— Однако в конце концов вам пришлось поверить.

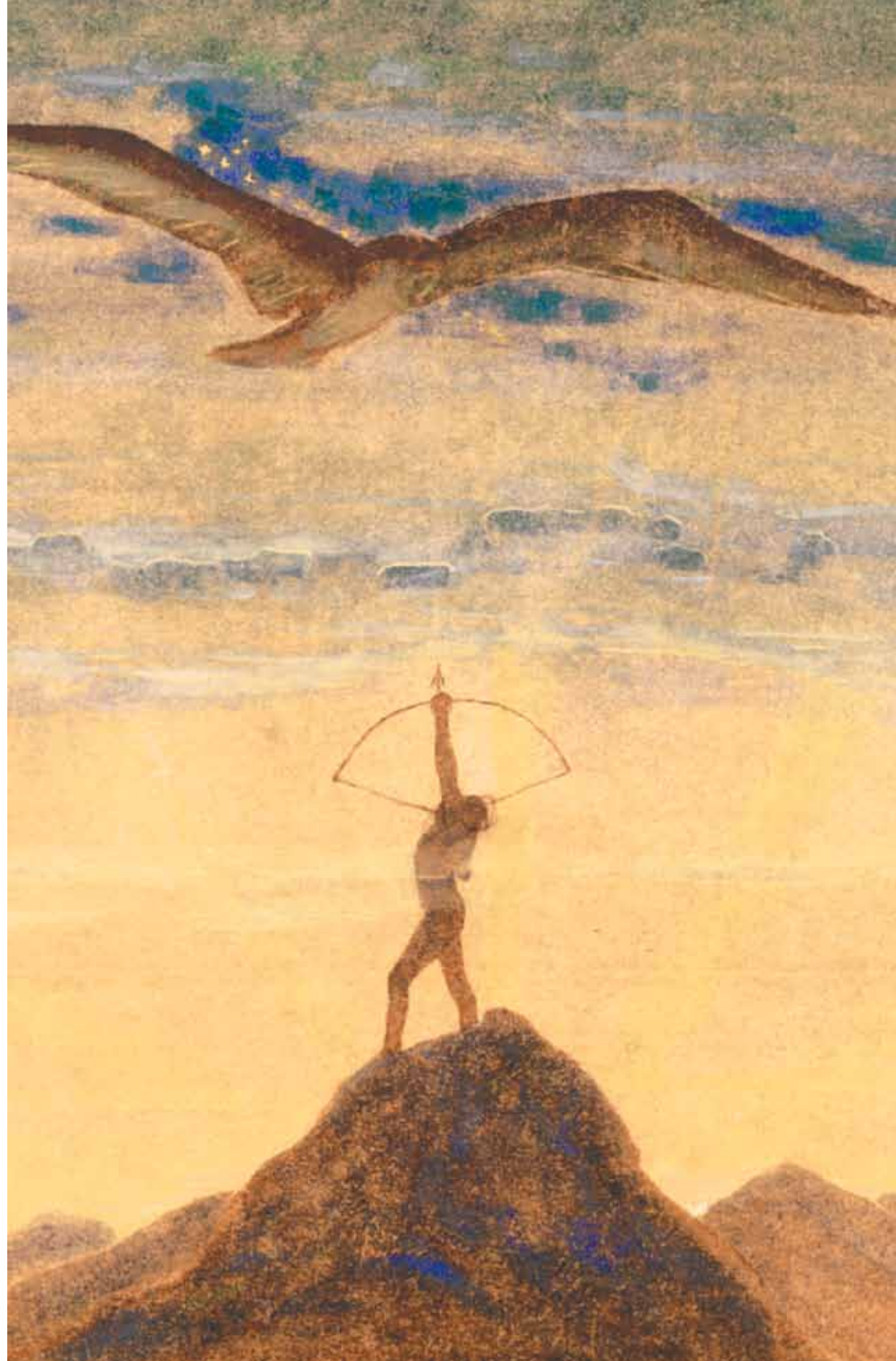
— В конце концов да.

— И что же?

— Мне вдруг пришло в голову, что Хармонт и остальные пять Зон Посещения... впрочем, виноват, тогда было известно только четыре... что все они ложатся на очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты радианта и послал их в «Нэйчур».

— И вас несколько не взволновала судьба родного города?

— Видите ли, в то время я уже верил в Посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными королевскими танковыми частями.



— Вы были правы. Помнится, наш брат информатор тогда много напутал... Однако вернемся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о Посещении?

— Первым и последним.

— Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом международных исследований в Зонах Посещения...

— Да... Время от времени я листаю «Доклады».

— Вы имеете в виду «Доклады Международного института внеземных культур»?

— Да.

— И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?

— Сам факт Посещения.

— Простите?

— Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы. Неважно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что институту внеземных культур уже никогда больше не повезет сделать более фундаментальное открытие.

— Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытия технологического порядка. Открытия, которые могла бы использовать наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что находки в Зонах Посещения способны изменить весь ход нашей истории.

— Н-ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения. А что касается конкретных находок, то я не специалист.

— Однако вы уже два года являетесь консультантом Комиссии ООН по проблемам Посещения...

— Да. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации Зон Посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в Зонах, распоряжался только Международный институт.

— А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь?

— Да.

— Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров?

— Я не знаю, что это такое.

— Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в Зону и тащат оттуда все, что им удастся найти. Это настоящая новая профессия.

— Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.

— Еще бы! Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что именно входит в вашу компетенцию, доктор Пильман...

— Имеет место постоянная утечка материалов из Зон Посещения в руки безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки.

— Нельзя ли чуточку поконкретнее, доктор?

— Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушателей не интересует мое мнение о несравненной Гвади Мюллер?

— О, разумеется! Но я хотел бы сначала покончить с наукой. Вас как ученого не тянет самому заняться инопланетными чудесами?

— Как вам сказать... Пожалуй.

— Значит, можно надеяться, что хармонтцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города?

— Не исключено...



*1. Рэдрик Шухарт,
23 года, холост, лаборант Хармонтского филиала
Международного института внеземных культур*

Накануне стоим это мы с ним в хранилище уже вечером, остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в «Боржч», принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю, свое отработал и уже держу наготове сигаретку, курить хочется дико, два часа не курил, а он все возится со своим добром: один сейф загрузил, запер и опечатал, теперь другой загружает, берет с транспортера «пустышки», каждую со всех сторон осматривает (а она тяжелая, сволочь, шесть с половиной кило, между прочим) и с кряхтением аккуратненько водворяет на полку.

Сколько уже времени он с этими «пустышками» бьется, и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, «пустышка» действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а все равно, каждый раз как увижу — не могу, поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, миллиметров пять толщиной, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, и, кроме этого расстояния, ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления, — пустота и пустота, один воздух. И при всем при том что-то между ними, конечно, есть, сила какая-то, как я это понимаю, потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому еще не удавалось.

Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь наконец своим глазам. Это все равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только

пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы все поняли, а если кто не понял, возьмите институтские «Доклады» — там в любом выпуске статьи про эти «пустышки» с фотографиями...

В общем, Кирилл бьется с этими «пустышками» уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается, да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь «пустышку» раскурочить, кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно, будет ему честь и хвала, и вся мировая наука содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он покуда не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто еще, напоил бы я его, как лошадь, свел бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а наутро бы снова напоил и снова к девке, к другой, и был бы он у меня через неделю как новенький, уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит, не стоит и предлагать, не та порода.

Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его стало, сам не знаю как. И тогда я решил. То есть даже не сам я решил, а словно меня кто-то за язык потянул.

— Слушай, — говорю, — Кирилл...

А он как раз стоит, держит на весу последнюю «пустышку», и с таким видом, словно так бы в нее и влез.

— Слушай, — говорю, — Кирилл! А если бы у тебя была полная «пустышка», а?

— Полная «пустышка»? — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил.



— Ну да, — говорю. — Эта твоя гидромагнитная ловушка, как ее... объект семьдесят семь-бэ. Только с ерундой какой-то внутри, с синенькой.

Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там, за собачьей слезой, какой-то проблеск разума, как он сам обожает выражаться.

— Поймай, — говорит он. — Полная? Вот такая же штука, только полная?

— Ну да.

— Где?

Вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом.

— Пойдем, — говорю, — покурим.

Он живо сунул «пустышку» в сейф, прихлопнул дверцу, запер на три с половиной оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую «пустышку» Эрнест дает четыреста монет наличными, а за полную я бы из него, сукина сына, всю его поганую кровь выпил, но хотите верьте, хотите нет, а я об этом даже не подумал, потому что Кирилл у меня ну просто ожил, снова стал как струна, аж звенит весь, и по лестнице скачет через четыре ступеньки, закурить человеку не дает. В общем, все я ему рассказал: и какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня, и, ясное дело, сразу все про меня понял, да и чего здесь было не понять!..

— Ай да ты! — говорит он, а сам улыбается. — Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В девять я закажу пропуск и «галошу», а в десять благословясь выйдем. Давай?

— Давай, — говорю. — А кто третий?

— А зачем нам третий?

— Э, нет, — говорю. — Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона, — говорю. — Порядок должен быть.

Он слегка усмехнулся, пожал плечами:

— Как хочешь! Тебе виднее.

Как бы не виднее! Конечно, это он свеликодушничал, для меня старался: третий лишний, сбегает вдвоем, и все будет шито-крыто, никто про тебя не догадается. Да только я знаю, институтские вдвоем в Зону не ходят. У них такой порядок: двое дело делают, а третий смотрит и, когда его потом спросят, — расскажет.

— Лично я бы взял Остина, — говорит Кирилл. — Но ты его, наверно, не захочешь. Или ничего?

— Нет, — говорю. — Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмишь.

Остин парень неплохой, смелость и трусость у него в нужной пропорции, но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу: вообразил человек о себе, будто Зону знает и понимает до конца, значит, скоро гробанется. И пожалуйста. Только без меня.

— Ну хорошо, — говорит Кирилл. — А Тендер?

Тендер — это его второй лаборант. Ничего мужик, спокойный.

— Староват, — говорю я. — И дети у него...

— Ничего. Он в Зоне уже бывал.

— Ладно, — говорю. — Пусть будет Тендер.

В общем, он остался сидеть над картой, а я поскакал напрямиком в «Боржч», потому что жрать хотелось невмоготу и в глотке пересохло.

Ладно. Являюсь я утром, как всегда, к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот дылдоватый сержант, которому я в прошлом году дал хорошенько, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуте.

— Здорово, — он мне говорит. — Тебя, — говорит, — Рыжий, по всему институту ищут...

Тут я его так вежливенько прерываю:

— Я тебе не Рыжий, — говорю. — Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.

— Господи, Рыжий! — говорит он в изумлении. — Да тебя же все так зовут.

Я перед Зоной взвинченный, да еще трезвый вдобавок, взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей говорит:

— Рэдрик Шухарт, вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отдела безопасности капитану Херцогу.

— Вот то-то, — говорю я. — Это другое дело. Учись, сержант, в лейтенанты выбьешься.

А сам думаю: «Это что за новости? Чего это ради понадобился я капитану Херцогу в служебное время?» Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решетки там на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик, новый какой-то, не знаю я его. У нас в институте этих сержантов больше, чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, — им в Зону ходить не надо, и на мировые проблемы им наплевать.

— Здравствуйте, — говорю я. — Вызывали?

Вилли смотрит на меня как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать.

— Рэдрик Шухарт? — говорит.

— Он самый, — отвечаю, а самому смешно, сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает.

— Сколько времени работаете в институте?

— Два года, третий.

— Состав семьи?

— Один я, — говорю. — Сирота.

Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает:

— Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.

Сержант козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:

— Опять за старое взялся?

— За какое такое старое?

— Сам знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришел.

Так, думаю.

— И откуда материал?

Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.

— Это тебя не касается, — говорит. — Я тебя по старой дружбе предупреждаю: брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают, шестью месяцами не отделаешься. А из института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?

— Понимаю, — говорю. — Это я понимаю. Не понимаю только, какая же это сволочь на меня донесла...

Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и знай себе листает папку. Это, значит, вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.

— Спасибо, Шухарт, — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. — Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны.

Ну, я пошел в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам все время думаю: откуда же это звон идет? Ежели из института, то ведь это все вранье, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если бумаги из полиции, опять — таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник попался? Эта сволочь, чтобы себя выгородить,

кого хочешь утопит. Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает. Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать! Последний раз ночью я в Зону ходил три месяца назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь черта меня возьмешь, я скользкий.

Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у этих жаб на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже неважно, кто именно. Никакой сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к Зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая, мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц! Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту?

Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в Зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу?

Я ему сказал прямо:

— В Зону не иду. Какие будут распоряжения?

Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвел к себе в кабинет, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:

— Что-нибудь случилось, Рэд?

Ну что я ему скажу?

— Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул. Здорово этот Нунан играет, шельма...

— Подожди, — говорит он. — Ты что, раздумал?

Тут я даже закричал от натуги.

— Нельзя мне, — говорю ему сквозь зубы. — Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.

Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:

— Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.

— Брось, — говорю. — Разве о тебе речь?

— Я даже Тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет...

Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.

— А что тебе Херцог сказал?

— Да ничего особенного, — говорю. — Донес кто-то на меня, вот и все.

Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегают, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось: вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут... Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:

— Слушай, Рэд, а сколько она может стоять, — полная «пустышка»?

Я сначала его не понял, подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает, да только где ее такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него деньги, у иностранного специалиста, да еще русского? А потом меня словно обожгло:

что же это он, поганец, думает, я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже рот раскрыл, чтобы все это ему высказать, и осекся. Потому что, действительно, а за кого ему меня еще принимать? Сталкер — он сталкер и есть, ему бы только зелененьких побольше, он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю.

У меня даже язык отнялся от таких мыслей, а он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил.

— К гаражу, — говорю, — еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой Тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли, что надо, и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, — говорю, — что заранее мы знали, за чем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел — здесь комментариев не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?

Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим.

Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потер и бодрячком таким объявляет:

— Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Рэд, и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется. Не в первый раз...

Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбил над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слышу, бормочет:

— Сто двадцать метров... даже сто двадцать два... и что там еще в самом гараже... Нет, не возьму я Тендера. Как ты думаешь, Рэд, может, не стоит Тендера брать? Все-таки у него двое детей...

— Одного тебя не выпустят, — говорю я.

— Ничего, выпустят... — бормочет он. — У меня все сержанты знакомые... и лейтенанты. Не нравятся мне эти грузовики! Тринадцать лет под открытым небом стоят, а все как новенькие... В двадцати шагах бензовоз ржавый, как решето, а они будто только что с конвейера... Ох уж эта Зона!

Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стеклами — Зона-матушка, вот она, рукой подать, вся как на ладони с тринадцатого этажа...

Так вот посмотришь на нее — земля как земля. Солнце на нее как на всю остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, все вроде бы как тринадцать лет назад. Папаша, покойник, посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил, разве что спросил бы: чего это завод не дымит, забастовка, что ли?.. Желтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают, рельсы, рельсы, рельсы, на рельсах паровозик с платформами... Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден: длинная серая кишка, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. Тринадцать лет стоят, и ничего им не делается. Упаси бог между двумя машинами сунуться, их надо стороной обходить... Там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючкой не заросла... Сто двадцать два метра, это откуда же он считает? А, наверное, от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше не будет. Все-таки продвигаются Очкарики...

Смотри, до самого отвала дорога провешена, да как ловко провешена! Вон она, та канавка, где Слизняк гробанулся, всего в двух метрах от ихней дороги... А ведь говорил Мосла-тый Слизняку: держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет... Как в воду глядел, нечего хоронить... С Зоной ведь так: с хабаром вернулся — чудо, живой



вернулся — удача, патрульная пуля мимо — везенье, а все остальное — судьба...

Тут я посмотрел на Кирилла и вижу: он за мной искоса наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова все перерешил. Ну их, думаю, всех к черту, что они, в конце концов, жабы, сделать могут? Он бы мог вообще ничего не говорить, но он сказал.

— Лаборант Шухарт, — говорит. — Из официальных — подчеркиваю: из официальных! — источников я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премияльные гарантирую. — А сам улыбается что твоя майская роза.

— Из каких же это официальных источников? — спрашиваю я и тоже ему улыбаюсь, как дурак.

— Это конфиденциальные источники, — отвечает он. — Но вам я могу сказать... — Тут он перестал улыбаться и насупился. — Скажем, от доктора Дугласа.

— А, — говорю, — от доктора Дугласа... От какого же это Дугласа?

— От Сэма Дугласа, — говорит он сухо. — Он погиб в прошлом году.

У меня мурашки по коже пошли. Так и так тебя! Кто же перед выходом говорит о таких вещах? Хоть кол им, очкарикам, на голове теши, ничего не соображают... Ткнул я окурок в пепельницу и говорю:

— Ладно. Где твой Тендер? Долго мы его еще ждать будем?

Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал «летучую галошу», а я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путем сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на крышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему бы брату сталкеру такую карту...

а впрочем, черта от нее толку ночью-то, когда задницу звездам показываешь и собственных рук не видно...

А тут и Тендер появился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек: в Зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в Зону? — говорит. — Почему я?» Однако, услышав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова.

В общем, спустились мы в «будуар», Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их еще одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет — любой сталкер за такой костюм пятьсот монет отвалит, глазом не моргнет. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд ничего особенного, костюм вроде водолазного и шлем, как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивщика или, скажем, у космонавта. Легкий, удобный, нигде не жмет, и от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля — это все земное, человеческое. В Зоне ничего этого нет, в Зоне не этого надо опасаться. В общем, что там говорить, и в спецкостюмах тоже мрут как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть, еще больше. От «жгучего пуха», например, эти костюмы на сто процентов спасают. Или от плевков «чертовой капусты»... Ладно.

Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к выходу в Зону. Так здесь у них это заведено, чтобы все видели: вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и святого духа,

аминь. И точно: во все окна аж до пятнадцатого этажа сочувствующие повывставлялись, только что платочками не машут и оркестра нет.

— Шире шаг, — говорю я Тендеру. — Брюхо подбери, слабосильная команда! Благодарное человечество тебя не забудет!

Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно, какие уж тут шутки!.. Но когда в Зону выходишь, то уж одно из двух: либо плачь, либо шути, а я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего держится, только губами шевелит, вроде молится.

— Молишься? — спрашиваю. — Молись, — говорю, — молись! Дальше в Зону, ближе к небу...

— Что? — спрашивает он.

— Молись! — кричу. — Сталкеры в рай без очереди пропускают!

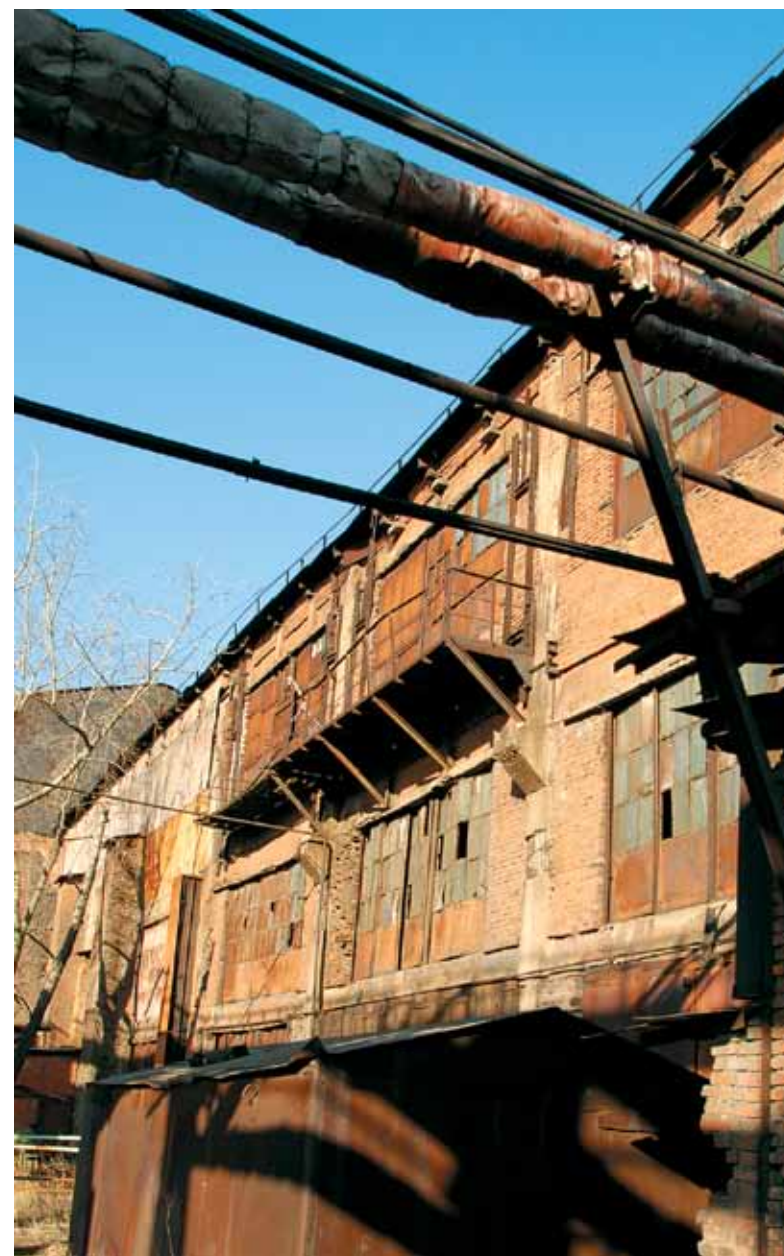
А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине: не бойся, мол, со мной не пропадешь, а если и пропадешь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.

Сдали мы пропуска последнему сержанту. На этот раз, в порядке исключения, это лейтенант оказался, я его знаю, у него папаша кладбищенскими оградами в Рексополе торгует, — а «летучая галоша» уже тут как тут, подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут: и «скорая помощь», и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели, — куча отъевшихся бездельников со своим вертолетом. Глаза б мои на них не глядели!

Поднялись мы на «галошу», Кирилл встал за управление и говорит мне:

— Ну, Рэд, командуй.

Я без всякой торопливости приспустил «молнию» на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого.



Который раз в Зону иду, а без этого нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут.

— Так, — говорю. — Вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить по чему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу: на руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнять, что тебе сказано. А не исполнишь — дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Но уж я позабочусь, чтобы ты увидел.

— Ты, Рэд, главное, приказать не забудь, — сипит Тендер, а сам весь красный, уже потеет и губами шлепает. — Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок.

— Вы для меня оба новички, — говорю. — А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты «галошу» водить умеешь?

— Умеет, — говорит Кирилл. — Хорошо водит.

— Хорошо так хорошо, — говорю. — Тогда с богом. Опустить забрала! Малый вперед по вешкам, высота три метра! У двадцать седьмой вешки остановка.

Кирилл поднял «галошу» на три метра и дал малый вперед, а я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю: гвардейцы-спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам, дурак, отдает, а над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший: «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всей ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу прощаться. Ты у меня попрощаешься!..

Поплыли.

Справа у нас был институт, слева — Чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил! Асфальт весь потрескался, трещины проросли травой, но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка, и по этой колючке было видно, как четко Зона себя обозначает: черные заросли у самой мостовой словно косой срезало. Нет, пришельцы эти все-таки порядочные ребята были. Нагадили, конечно, много, но сами же себе обозначили ясную границу. Ведь даже «жгучий пух» на нашу сторону из Зоны — ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает...

Дома в Чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это «ведьмин студень» из подвалов дышит. А вообще, так вот посмотришь: квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего особенного нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник, вторая жена у него ушла перед самым Посещением, а у дочери бельмо на глазу было, так мы ее, помню, до слез задрознивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал все шесть километров без передышки. Потом долго чумкой болел, кожа с него слезла, ногти. Почти все, кто в этом квартале жил, чумкой переболели, потому-то квартал и называется Чумным. Некоторые померли, но главным образом старики, да и то не все. Я, например, думаю, что они не от чумки померли, а от страха. Страшно было очень.

А вот в тех трех кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и называются: Первый Слепой, Второй Слепой... Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: да не может этого быть, вспомните хорошенько! Нет, стоят на своем: сильнейший гром, от которого и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слышал...

Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целехонек. Детская коляска в воротах, даже бельишко в ней вроде бы чистое... Антенны вот только подвели — обросли какими-то волосами наподобие мочала. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат: интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочалы, нигде такого больше нет, только в Чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались: спустили с вертолета якорь на стальном тросе, зацепили одну мочалку. Только он потянул, вдруг — пш-ш-ш! Смотрим: от антенны дым, от якоря дым, и сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил что к чему, трос выбросил и сам деру дал... Вон он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает и весь мочалой оброс...

Так потихоньку-полегоньку доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня: сворачивать? Я ему махнул: самый малый! Повернула наша «галоша» и пошла самым малым над последними метрами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе, вот уже и тень «галоши» на колючки упала... Все, Зона! И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз



думаю: вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет, и каждый раз забываю.

Ну ладно, ползем потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно, ему-то что, его не тронут. И тут мой Тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно новички болтают в Зоне: зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. Помоему, это у них вроде поноса, от человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают! То начнет пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящееся, вот как Тендер сейчас завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял...

— Замолчи, — говорю.

Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлепал и опять: сколько шелку на подкладку пошло. А огороды уже кончаются, под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была, и чувствую я — ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло, пылевые чертики побежали, и вроде бы я что-то слышу.

— Молчи, сволочь! — говорю я Тендеру.

Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну, тогда извини.

— Стой, — говорю Кириллу.

Он немедленно тормозит. Реакция хорошая, молодец. Беру я Тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал: тр-р-р... тр-р-р... тр-рр... Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты, рот оскален. Я рукой ему показываю, стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. Но ведь он тоже этот треск



слышит, и, как у всех новичков, у него сразу позыв действовать, делать что-нибудь. «Задний ход?» — шепчет. Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым шлемом трясую: нишкни, мол. Эх, мать честная! С этими новичками не знаешь, куда смотреть — то ли в поле смотреть, то ли на них. И тут я про все забыл. По-над кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей, перевалило через бугор и пошло, пошло, пошло нам наперерез, рядом с самой вешкой, над дорогой задержалось, постояло с полсекунды — или это мне показалось только? — и утянулось в поле, за кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

Черт их побрал, очкариков, — надо же, сообразили, где дорогу повесить: по выемке! Ну, и я тоже хорош, куда это мои глаза дурацкие глядели, когда я ихней картой восхищался?

— Давай малый вперед, — говорю я Кириллу.

— А что это было?

— А хрен его знает!.. Было и нету, и слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял? Ты сейчас машина, рычаг мой...

Тут я спохватился, что меня, похоже, тоже словесный понос одолевает начинать.

— Все, — говорю. — Ни слова больше.

Хлебнуть бы сейчас! Барахло эти скафандры, вот что я вам скажу. Без скафандра я, ей-богу, столько прожил и еще столько же проживу, а без хорошего глотка в такой вот момент... Ну да ладно!

Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг не слышно, только двигатель гудит спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара... Над гаражом марево... Все вроде бы нормально, вешки одна за другой мимо проплывают. Тендер молчит, Кирилл молчит, шлифуются новички. Ничего, ребята, в Зоне



тоже дышать можно, если умеючи... А вот и двадцать седьмая вешка — железный шест и красный круг на нем с номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и наша «галоша» остановилась.

Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас — полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, — пестрое там что-то виднелось, может, тряпье его. Паршивый был парень, упокой господи его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбридж за версту видит и под себя подгребает... А вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит, а умным людям показал, куда ступать нельзя... Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки! Если по прямой к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промежду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева все должно быть чисто на сто шагов. А вот через левый бугорочек перевалить можно... Правда, не знаю я, что там за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..

— Слушай, Рэд, — шепчет мне Кирилл. — Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз, вот мы и у гаража, а?

— Молчи, дурак, — говорю я. — Не мешай, молчи.

Вверх ему. А долбанет тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберешь. Или комариная плешь где-нибудь здесь объявится, тут не то что костей, мокрого места не останется. Ох уж эти мне рискованные, не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем... В общем, как до бугра идти — ясно, а там постоим,

посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:

— Мальчика-с-пальчик помнишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Смотри! — И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гаечка прошла нормально. — Видел?

— Ну? — говорит.

— Не «ну», а видел, я спрашиваю?

— Видел.

— Теперь самым малым води «галошу» к этой гаечке и в двух метрах до нее, не доходя, остановись. Понял?

— Понял. Гравиконцентраты ищешь?

— Что надо, то и ищу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.

Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.

— Давай, — говорю.

Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное сделалось: видно, все понял. Они ведь все, очкарики, такие. Им главное название придумать. Пока не придумал, смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравиконцентратор, тут ему словно все понятно становится и сразу ему жить легче.

Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зевает от нервности с таким собачьим прискуливанием, томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты... Бросил я четвертую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую — не так, и сразу хватить Кирилла за руку.

— Стой, — говорю. — Ни с места...

А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз

тоже вроде нормально было пошла, но на полпути ее словно кто-то вбок дернул, да так дернул, что она в глину ушла и с глаз исчезла.

— Видал? — говорю я шепотом.

— В кино только видел, — говорит, а сам весь вперед подался, того и гляди с «галоши» сверзится. — Брось еще одну, а?

Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я еще восемь гаек, пока «плешь» не обозначил. Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил, в самую серединку, пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а пятипудовая гиря. Ахнула — и только дырка в глине. Он даже крикнул от удовольствия.

— Ну ладно, — говорю. — Побаловались, и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с нее не спускай.

Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот как кот нагадил, я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да... Ну, зависли мы над бугорочком, до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место чистейшее, каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? Кидай гайку, и с богом.

Не могу кинуть гайку.

Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь.

— Ты что, — говорит Кирилл, — чего мы стоим?

— Подожди, — говорю. — Замолчи, ради бога.

Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплывем, травинка не шелохнется, — полминуты, а там и асфальт... И тут вдруг потом меня как прошибет! Даже глаза залило, и уже знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево — пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь, а прямо — ни за что. И кинул я гаечку влево.

Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза.

— Ничего, — я ему говорю. — Кривой дорогой ближе. — И кинул последнюю гаечку на асфальт.

Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменила, смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек.

Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно — черно и черно, потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целехонький стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг все как прежде — потому, наверное, что «ведьмина студня» в яме мало скопилось, не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого! Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково... Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят, действительно, как новенькие, — с тех пор как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали, а бензовоз тот совсем, бедняга, проржавел, скоро разваливаться начнет. Вон и крышка валяется, которая у них на карте...

Не понравилась мне эта крышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить,



почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится... тень почему такая от крыши... Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное... С тенями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу я еще жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр, валяется. Надо мне было тогда же ее и упереть, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая, стерва, полная ведь, поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да на карачках... а кто пустышек ни разу не таскал, пусть попробует: это все равно что пуд воды без ведер нести... Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас... Повернулся я к Тендеру и говорю:

— Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты останешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось, хоть земля под тобой загорится. Если трусишь, на том свете найду.

Он серьезно мне покивал: не струшу, мол. Нос у него что твоя слива, здорово я ему врезал... Ну, спустил я тихонечко аварийные блок-тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.

— Не торопись, — говорю ему. — Не спеши. Меньше пыли.

Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:

— Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.

И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью! Помню я, как лежал

вот на этом самом пороге. Темно, как у негра в ухе, из ямы «ведьмин студень» языки высовывает, голубые, как спиртовое пламя, и ведь что обидно — ничего, сволочь, не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас что! Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку, очень на паутину похоже. Может, паутина и есть, но лучше от нее подальше. Вот тут-то я и напортачил. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать, у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.

Шагнул это я внутрь, и прямо к канистрам. Присел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:

— Ну берись, да не урони, тяжелая...

Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! — и не могу. Да и не успел бы, наверное, слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло, ничего не слышу, слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопается, но, конечно, погромче. Сажу я с закрытыми глазами, ни рук, ни ног не чувствую, а Кирилл говорит:

— Ну, что? — говорит. — Взяли?

— Взяли, — говорю.

Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идем. Тяжеленная, стерва, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши», Тендер к нам уже лапы протянул.

— Ну, — говорит Кирилл, — раз, два...

— Нет, — говорю, — погоди. Поставим сначала.

Поставили.

— Повернись, — говорю, — спиной.

Он без единого слова повернулся. Смотрю я — ничего у него на спине нет. Я и так и этак — нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.

— Слушай, — говорю я Кириллу, а сам все на канистры смотрю. — Ты паутину видел?

— Какую паутину? Где?

— Ладно, — говорю. — Счастлив наш бог.

А сам про себя думаю: сие, впрочем, пока неизвестно.

— Давай, — говорю, — берись.

Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили ее на попа, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на «галошу» сами и без лишних слов — в обратный путь.

Лафа этим ученым! Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «галоша» сама везет, есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плыдем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немного и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок.

Новички мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят вовсю, страха у них почти не осталось, одно любопытство да радость, что все благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозит, что вот сейчас пообедаст и сразу обратно в Зону, дорогу к гаражу проवेशивать,

а Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плешь» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулось на радостях на обратном пути. Молчите, говорю, и глядите как следует по сторонам, а то будет с вами, как с Линдоном-Коротышкой. Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном-Коротышкой. Плыдем в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и этак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутинка и блеснет.

Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошей» вместе в вошебойку, или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то ерундой, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: «Валяйте, ребята, свободны!» Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть — не протолкнешься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают приветственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить ни одного смельчака не нашлось... Ладно, меня это все не касается. Меня теперь ничто не касается...

Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол, холуи-сержанты подберут, — а сам двинул в душевую, потому что мокрый я был весь с головы до ног. Заперся я в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сажу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила, поганка. Подлая. Живой. Очкарикам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы то ли от крепкого, то ли сам не знаю отчего. Высосал флягу досуха, сам мокрый, фляга сухая. Одного последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил

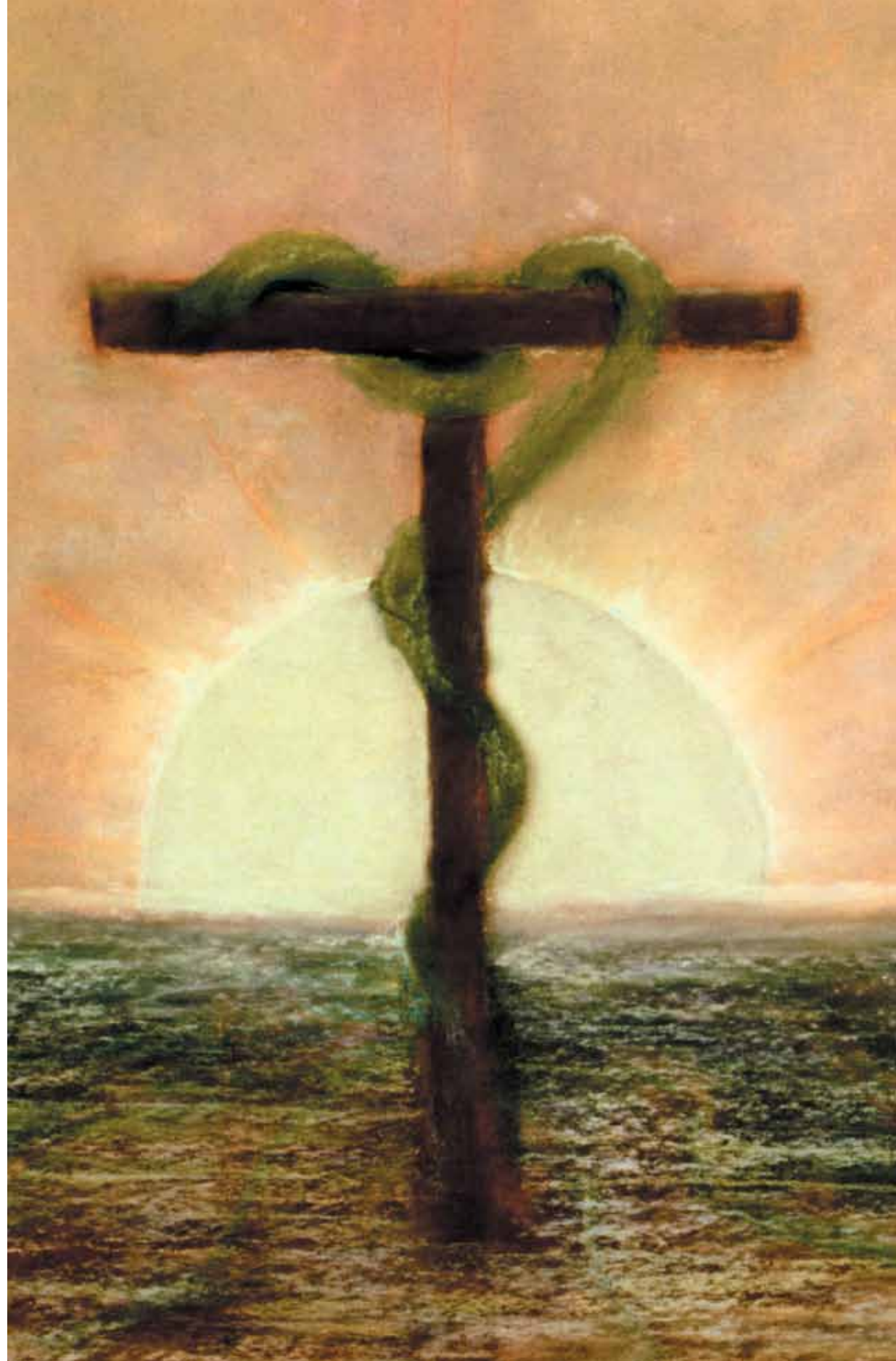
сигарету, сажу. Чувствую, отходить начал. Премияльные в голову пришли. Это у нас в институте поставлено здорово. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.

Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю, а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Меня аж передернуло. Да, господа мои, в Зоне времени нет. Пять часов... А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Плюнуть и растереть. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь? Когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь рылом в землю и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мертвый... А во вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-пулеметчики, жабы, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти, что ты заразный, они тебя шлепнуть стремятся, и все козыри у них на руках, иди потом, доказывай, что шлепнули тебя незаконно... И значит, снова рылом в землю молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как Мослатый Исхак застрял на рассвете на открытом месте, застрял между двумя канавами, ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мертвым притворялся. Слава богу, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел — не узнал, сломали его, как не было человека...

Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячей мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу: барабанят в дверь, и Кирилл весело орет:

— Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!

Зелененькие это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии и конверт мне протягивает.



— Держи, — говорит, — от благодарного человечества.
— Кашлял я на твое человечество! Сколько здесь?
— В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах — два оклада!
Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.
— Ну как, доволен? — спрашивает Кирилл, а сам сияет — рот до ушей.
— Ничего, — говорю. — А ты?
Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседней кабине.
— Эй! — кричу я ему вслед. — А Тендер что? Подштанники небось стирает?
— Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный... Он им так компетентно излагает...
— Как, — говорю, — излагает?
— Компетентно.
— Ладно, — говорю, — сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр. — И тут меня словно током ударило. — Подожди, Кирилл, — говорю. — Ну-ка, выйди сюда.
— Да я уже голый, — говорит.
— Выйди, я не баба!
Ну, он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.
— Чего тебе моя спина далась? — спрашивает он.
Отвесил я ему пинка по голому телу, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится... К дьяволу все это! Напьюсь сегодня как лошадь. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет... Ни с какой картой его не возьмешь. Я уж

и передегивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому...

— Кирилл! — кричу. — В «Боржч» сегодня придешь?
— Не в «Боржч», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить...
— Брось! Написано «Боржч». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать...
— Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили...
— А ты-то понимаешь?
— Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идея пройдет... Напишу статью, и тебе ее персонально посвящу: Рэдрику Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю.
— Тут-то меня и упекут на два года, — говорю я.
— Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть «банка Шухарта». Звучит?
Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе.
— Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа...
Он не ответил — вода сильно шумела.
Смотрю: в коридоре господин Тендер собственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа, тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, — болбочет, — дает почти стопроцентную гарантию успеха и безопасности...» Тут он меня увидал и сразу несколько усов, улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я, однако не успел. Слышу: топочут позади.
— Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!

— Комментариев не имею, — отвечаю я и перехожу на бег. Но черта с два от них оторвешься: один, с микрофоном, — справа, другой, с фотоаппаратом, — слева.

— Видели вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!

— Нет у меня комментариев! — говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. — Гараж как гараж...

— Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатах?

— Прекрасного, — говорю я, а сам нацеливаюсь точненько в сортир.

— Что вы думаете о целях Посещения?

— Обратитесь к ученым, — говорю. И раз — за дверь.

Слышу — скребутся. Тогда я им через дверь говорю:

— Настоятельно рекомендую, — говорю, — расспросите господина Тендера, почему у него нос как свекла. Он по скромности замалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.

Как они двинут по коридору! Как лошади, ей-богу. Я выждал минуту: тихо. Высунулся: никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю, он мне честь отдает. Герою дня, значит.

— Вольно, сержант, — говорю. — Я вами доволен.

Он ослабилась, как будто я ему бог весть как польстил.

— Ну, ты, Рыжий, молодец, — говорит. — Горжусь, — говорит, — таким знакомством.

— Что, — говорю, — будет тебе в твоей Швеции о чем девушкам рассказывать?

— Спрашиваешь! — говорит. — Они ж у меня будут таить, как свечки!

Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без памяти, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело... Иду это я по улице и размышляю, в чем же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг. И захо-

телось мне вдруг прямо сейчас же Гуту увидеть. Просто так. Посмотреть на нее, за руку подержать. После Зоны человеку только одно и остается — за руку девочку подержать. Особенно когда вспомнишь все эти разговоры про детей сталкеров, какие они получаются... Да уж какая сейчас Гута, мне сейчас для начала бутылку крепкого, не меньше.

Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, желтые, прожекторами и пулеметами, жабы, ошетинились, ну и, конечно, голубые каски всю улицу загородили, не протолкнешься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днем на них мне лучше не смотреть совсем: есть там два-три типчика, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришел бы и не дрогнул...

Прохожу я через эту толпу плечом вперед, совсем прошел уже, и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну, это меня не касается, иду дальше, волоку из пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:

— Какого дьявола цепляешься, мистер?

— Постой, сталкер, — говорит он. — Два вопроса.

Поднял я на него глаза — капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем ссохся, желтый стал какой-то.

— А, — говорю, — здравия желаю, капитан. Как ваша печень?

— Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, — говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. — Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?

И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной, лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам



прислали, что ли?.. Днем я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать, жабы, могут, а это мне в данный момент ни к чему.

— Да разве вы меня звали, капитан? — говорю. — Вы же какого-то сталкера...

— А ты, значит, уже и не сталкер?

— Как по вашей милости отсидел — бросил, — говорю. — Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы...

— Что в предзоннике делал?

— Как что? Я там работаю. Два года уже.

И чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал, каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.

— Извини, — говорит, — Шухарт. Не ожидал. Значит, — говорит, — не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь верь, хочешь не верь, а я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень...

И пошел, и пошел. Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руками развожу и даже, помнится, ножкой застенчиво этак панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали—послушали, замутило их, видно, гляжу потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: ученье, мол, свет, неученье — тьма крошечная, Господь, мол, честный труд любит и ценит, — в общем, несет он эту разнузданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется, никакого терпезу нет. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он

долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал... Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблад оглянулся, крикнул с досадой и протягивает мне руку.

— Ну что ж, — говорит. — Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь — служба! Ну, еще встретимся, — говорит.

Не приведи господь, думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой, — все, как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой — в «Боржч».

В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь: как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день — возьмет бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть: потрет-потрет, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть...

— Здорово, Эрни! — говорю. — Хватит тебе его мучить, дыру протрешь!

Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье. Эрнест сопит в очередной бокал, хорошо, спокойно... Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца прозрачного.

— Ну что, полегче стало? — бурчит. — Оттаял, сталкер?

— Ты знай себе три, — говорю. — Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.

— Это кто же такой? — спрашивает Эрни с недоверием.
— Да был такой бармен здесь, — отвечаю. — Еще до тебя.
— Ну и что?

— Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тер он, тер... Ты думаешь, кто нас посетил, а?

— Тепло ты, — говорит Эрни с одобрением.

Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой, жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам — снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек Эрни! Благодетель.

Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идет там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни дает нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник станции наверняка у них на содержании... В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и заколачивает, процентов пятнадцать-двадцать, не больше, а если попадетсЯ, десять лет каторги ему обеспечено...

Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слышал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:

— Разрешите?

— О чем речь! — говорю. — Прошу.

Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстукЕ бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где — не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:

— Бурбон, пожалуйста! — и сразу же ко мне: — Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?

— Да, — говорю. — А вы?

Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро эмиграции». Ну, конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уехали. Кому-то очень надо, чтобы мы все из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему:

— Нет, — говорю, — спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.

— А почему? — живо спрашивает он. — Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?

Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.

— А как же! — говорю. — Сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок... — Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. — Нет, — говорю. — Ни за что!

Он посмеялся, лизнул свой бурбон и задумчиво так говорит:

— Никак я вас, хармонтцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжелая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком Зона, живете как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже... Я понимаю, старики. Им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы... Сколько вам лет? Года двадцать два — двадцать три, не больше... Вы поймите, наше бюро — организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли

с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте... молодым — таким, как вы, — обеспечиваем возможность учиться... Нет, не понимаю!

— А что, — говорю я, — никто не хочет уезжать?

— Да нет, не то чтобы никто... Некоторые соглашаются, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики... Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция...

И тут я ему выдал.

— Господин Алоиз Макно! — говорю. — Все правильно. Городишко наш — дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, — говорю, — это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра...

На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрывать. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому, что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно...

Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул свой бурбон и говорит:

— Да, конечно... Вечные аккумуляторы, «синяя панацея»... Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?

— Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, — говорю я. — Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла — к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная... В гробу я вашу Европу видел, — говорю, — занюханную.

— Ну почему же обязательно Европа?..

— А, — говорю, — везде одно и то же, а в Антарктиде еще вдобавок холодно.

И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И Зона наша, гадина, стервозная, убийца, во сто раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьян еще не был, а просто представилось мне на мгновение, как я, весь измочаленный, с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон и как все мне обрыдло и ничего мне не хочется.

— А вы что скажете? — обращается востроносый к Эрнесту.

— У меня дело, — веско отвечает Эрни. — Я вам не сопляк какой-нибудь! Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал, понял? Чего же я отсюда поеду?..

Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка — «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после Зоны... Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к «однорукому бандиту» старые счета сводить. И полетело время, как птичка... Просаживаю это я последний

никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях, вращает белками и ищет, кому бы дать в ухо, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка! Гуталин здоровенный, черный, как офицерский сапог, курчавый, ручищи до колен, а Дик — маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится.

— А! — кричит Дик, увидев меня. — Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!

— Пр-равильно! — ревет Гуталин. — Во всем городе есть только два человека — Рэд и я! Все остальные — свиньи, дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но ты все-таки человек...

Я подхожу к ним со своим бокалом, Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:

— Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя. Поплачем о грехах человеческих. Горько восплачем!

— Восплачем, — говорю. — Глотнем слез греха.

— Ибо грядет день, — возвещает Гуталин. — Ибо взнудан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И тщетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаню прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, — вам говорю: слепые! Опомнитесь, сволочи, пока не поздно! Растопчите дьявольские бирюльки! — Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. — А выпить мне здесь дадут? — Спросил он уже другим голосом. — Или где это я?... Знаешь, Рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят. Я им объясняю: опомнитесь, сами, слепые, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете! Смеются. Ну, я дал управляющему по харе и ушел. Посадят теперь. А за что?

Подошел Дик, поставил на стол бутылку.



— Сегодня я плачу! — крикнул я Эрнесту.

Дик на меня скосился.

— Все законно, — говорю. — Премию будем пропивать.

— В Зону ходили? — спрашивает Дик. — Что-нибудь вынесли?

— Полную «пустышку», — говорю я. — На алтарь науки. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?

— «Пустышку»!.. — горестно гудит Гуталин. — За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие... А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха...

— Засохни, Гуталин, — говорю я ему строго. — Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!

Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис, сидит, плачет, течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая: обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего нельзя, а что уже вынесли, — вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволов, мол, дьяволу.

Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прет этот хабар обратно, в Зону, и там закапывает... Во ревет-то, господи! Ну ничего, он еще разойдется.

— А что это такое: полная «пустышка»? — спрашивает Дик. — Просто «пустышку» я знаю, а вот что такое полная? Первый раз слышу.

Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал.

— Да, — говорит. — Это интересно. Это, — говорит, — что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?

— Да, — отвечаю. — С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.



— Намучился с ними, наверное...

— Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, — говорю. — Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.

— И каждую ночь? — спрашивает он с пьяным смешком.

— Ты это брось, — говорю. — Шутки шутками...

— Знаю, — говорит он. — Шутки шутками, а за такое можно и схлопотать. Считай, что я тебе должен две плюхи...

— Кому две плюхи? — встрепенулся Гуталин. — Который здесь?

Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики заняты.

Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что: кому пива, кому коктейлей, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось, все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дик. Дик кивнул.

— А как же, — говорит. — Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того Зону собираются стеной огородить от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются...

— А когда они у сталкеров были? — говорю. А сам думаю: «Вот тебе и на, что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему, соблазна меньше. Буду ходить в Зону днем, как порядочный, — деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее: «галоша», спецкостюм, то-се, и на патрулей наплевать... Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные». И такая меня тоска взяла! Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе позволить, Гуте на любую тряпку копи, в бар не



ходи, ходи в кино... И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.

Сию я так, думаю, а Дик над ухом гудит:

— Вчера в гостинице зашел я в бар принять ночной колпачок, сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека, дает понять, что он меня знает, знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги...

— Шпик, — говорю я. Не очень мне интересно было это, шпики я здесь навидался и разговоров насчет услуг наслышался.

— Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Я немножко с ним побеседовал, осторожно, конечно, дурачка такого строил. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, «зуда», «черные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.

— Так что же ему нужно? — спрашиваю я.

— «Ведьмин студень», как я понял, — говорит Дик и странно как-то на меня смотрит.

— Ах, «ведьмин студень» ему нужен! — говорю я. — А «смерть-лампа» ему случайно не нужна?

— Я его тоже так спросил.

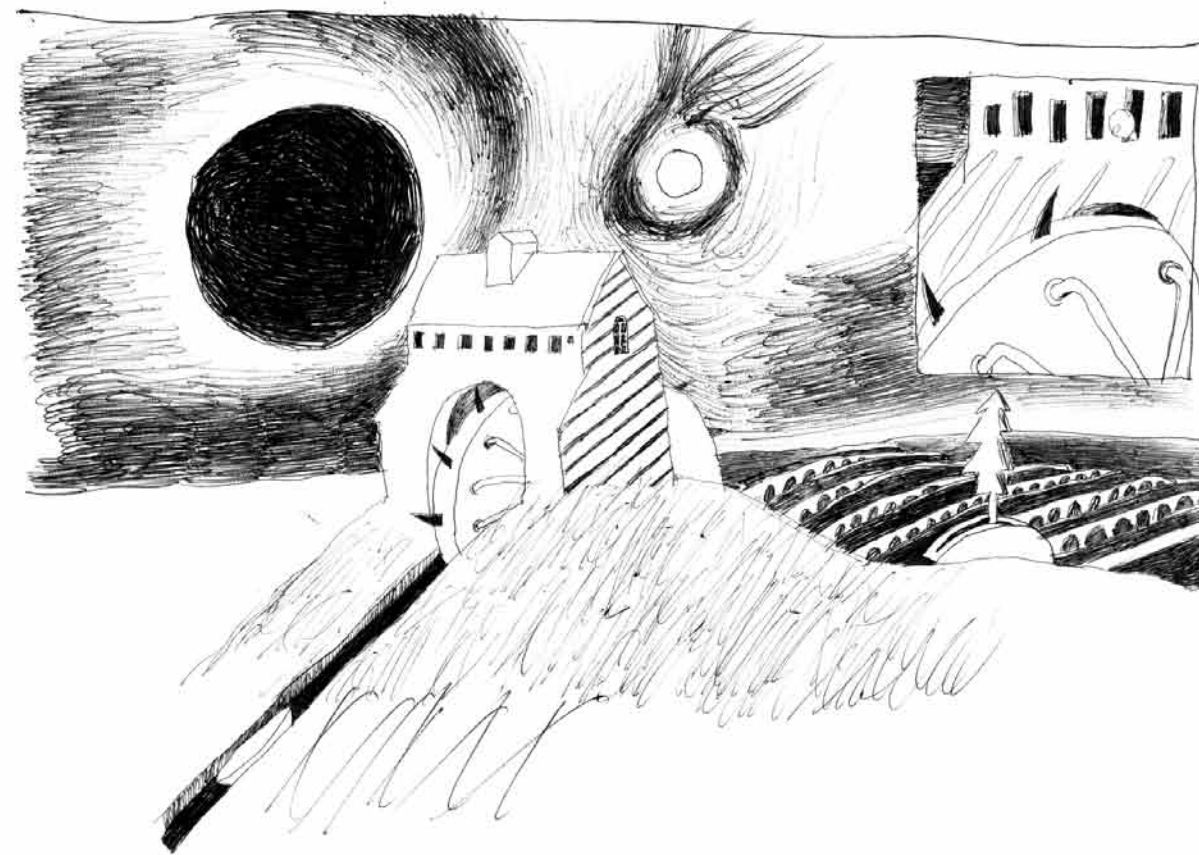
— Ну?

— Представь себе, нужна.

— Да? — говорю я. — Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть! «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счет.

Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что за черт, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.

— Подожди, — говорю. — Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в институте изучать...



— Правильно, — говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. — Исследования, представляющие потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?

Ничего я не понимал.

— Пришельцы, что ли? — говорю.

Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:

— Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!

— Давай, — говорю, но злюсь. Тоже мне, нашли себе простую душу, сукины дети! — Эй, — говорю, — Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.

Нет, спит Гуталин. Положил свою черную ряшку на черный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.

— Ну ладно, — говорю. — Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошел и донес.

— Угу, — говорит Дик. — А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?

Я помотал головой:

— Все равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает, ты бы тут же и обгадился. Это, милок, страшная штука, ее из Зоны выносить нельзя... Сам знаешь, сталкеры — люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет... Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться...

— Что ж, — говорит Дик. — Все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой, и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...

Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:

— Господин Нунан! Вас к телефону!

— Вот дьявол, — говорит Дик злобно. — Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, — говорит, — Рэд.

Встает он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой, и поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы побрал эту Зону, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь — Зона, Зона, Зона... Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из Зоны проистечет вечный мир и благо-растворение воздухов. Кирилл — хороший парень, никто его дураком не назовет, наоборот, умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг Зоны. Вот теперь, пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет, Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьявола дьяволу? Не тронь дерьмо...

Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.

— Господин Шухарт? — спрашивает.

— Ну? — говорю.

— Меня зовут Креон, — говорит. — Я с Мальты.

— Ну, — говорю. — И как там у вас на Мальте?

— У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.

Так, думаю. Сволочь все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка смугленький, чистенький, красавчик, не брился поди еще ни разу и девку еще ни разу не целовал, а Эрнесту все равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трех с хабаром вернется — уже капуста...



— Ну и как поживает старина Эрнест? — спрашиваю.
Он оглянулся на стойку и говорит:
— По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.
— А я бы нет, — говорю. — Выпить хочешь?
— Спасибо, я не пью.
— Ну, закури, — говорю.
— Извините, но я и не курю тоже.
— Черт тебя подери! — говорю я ему. — Так зачем тебе тогда деньги?

Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:

— Наверное, — говорит, — это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?

— Что правда, то правда, — говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит и в теле такая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. — Сейчас я пьян, — говорю. — Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это нечасто бывает, чтобы живой, и уже совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор...

Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю: что-то случилось.

— Ну, — спрашиваю, — опять твои баллоны вакуум не держат?

— Да, — говорит он. — Опять...

Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплеывает, тот еще работник!

— Давай, — говорит, — выпьем, Рэд. — И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. — Ты знаешь, — говорит он, — Кирилл Панов умер.

Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.

— Что ж, — говорю, — выпьем за упокой души...

Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.

— Кирилл?! — А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня как из другой комнаты:

— Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке...

— А чего тут не понимать? — говорю. — Зона...

— Ты сядь, — говорит мне Дик. — Сядь и выпей.

— Зона... — повторяю я и не могу остановиться. — Зона... Зона...

Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре Мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает.

— Малыш, — говорю я ему ласково. — Сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! — сую я ему деньги и уже кричу: — Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..

Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:

— Ты сегодня вроде при деньгах?

— Да, — говорю, — при деньгах...

— Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.

И тут я вижу: в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:

— Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский... Гордый, значит... Ну, все остальное — судьба.

— Что это с тобой? — спрашивает друг Эрни. — Перебрал малость?

— Нет, — говорю. — Я, — говорю, — в полном порядке. Хоть сейчас в душ.

— Шел бы ты домой, — говорит друг Эрни. — Перебрал ты малость.

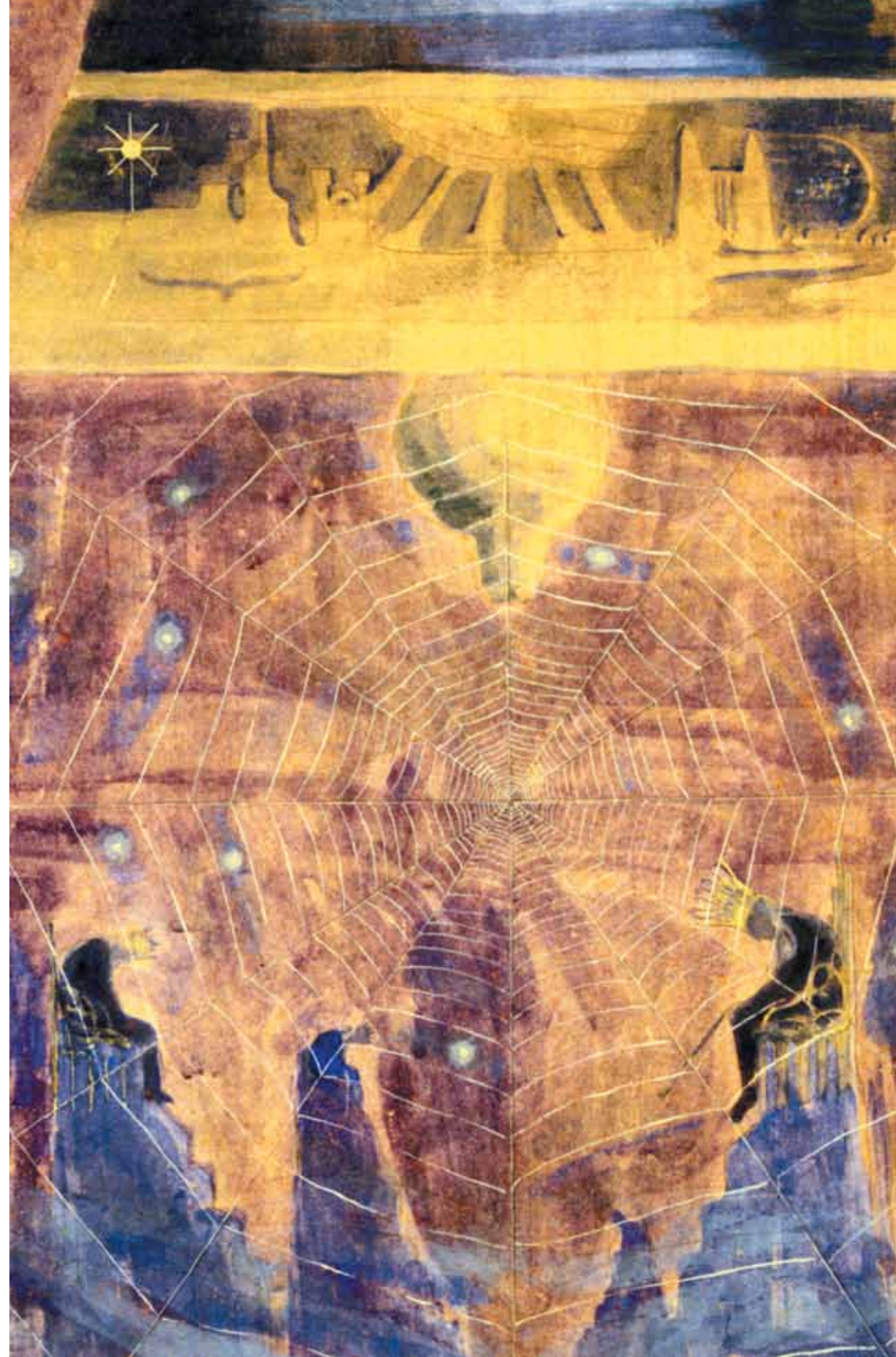
— Кирилл умер, — говорю я ему.

— Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?

— Сам ты шелудивый, сволочь, — говорю я ему. — Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Паскуда ты, — говорю. — Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие... Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то бью, потом опомнился — сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала шум, трещит что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу — Гуталин ревет, что твои гризли: «Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, чертово семя?..» И полицейская сирена завывает.

Как она завывала, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет, одна ледяная злоба. Так, думаю, я тебе сейчас устрою вечерочек! Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш вонючий! Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плавательницу. А сам окошко в сортире распахнул — и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как



все это получится, но надо было убираться поскорее. Я эту «зуду» переносу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.

Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на всю катушку. Сначала завyli и залаяли собаки по всему кварталу — они первыми «зуду» чувт. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался, — кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться... Страшная штука — «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне наплевать... Все. Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.

Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы ку-саю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. «Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир... а теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал... И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту «пустышку» сказал?» И как вспомнил я об этом — взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл — люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало — смотрю: Гута идет.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками



колышется, из всех подворотен на нее глазеют, а она идет как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.

— Здравствуй, — говорю, — Гута. Куда это ты, — говорю, — направилась?

Она окинула меня взглядом, в момент все увидела, и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, но ничего про это не сказала, а говорит только:

— Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.

— Знаю, — говорю. — Пойдем ко мне.

Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах, как у нее головка-то посажена, шейка какая, как у кобылки молоденькой, гордой, но покорной уже своему хозяину. Потом она говорит:

— Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь.

У меня сердце сразу сжалось — что еще? Но я спокойно ей так говорю:

— Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо соображаю... Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?

Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому, и все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо рыла прячут. Я на этой улице всю жизнь живу, Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.

— Мать велит аборт делать, — говорит вдруг Гута. — А я не хочу.

Я еще несколько шагов прошел, прежде чем понял, а Гута продолжает:

— Не хочу я никаких абортов, я ребенка хочу от тебя. А ты — как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.



Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообщить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше — одним человеком больше.

— Она мне толкует, — говорит Гута, — ребенок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить? Проходимец он, говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра — в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи — на порог не пушу...

— Гута, — говорю, — девочка моя! Да подожди ты... — А сам не могу, смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. — Ласточка моя, — говорю, — чего же ты меня гонишь, в самом деле?

Я хохочу как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет.

— Как же мы теперь будем, Рэд? — говорит она сквозь слезы. — Как же мы теперь будем?

*2. Рэдрик Шухарт,
28 лет, женат, без определенных занятий*

Рэдрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Проектора патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам, и тогда он зажмуривался и задерживал дыхание.

Прошло уже два часа, а на дороге все оставалось прежнему. Машина, мерно kloкочa двигателем, работающим вхолостую, стояла на месте и все шарила своими тремя прожекторами по запущенным могилам, по покосившимся ржавым крестам и по плитам, по неряшливо разросшимся кустам

рябины, по гребню трехметровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись Зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Рэдрика доносились приглушенные голоса, иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро, недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Рэдрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же на кладбище был кто-то еще. Там снова прошуршала листва и вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упало тяжелое и твердое. Рэдрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Рэдрик замер, следя за его бесшумным движением, ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, повернув в сторону Рэдрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Рэдрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из рук, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам.

В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж. Он по-прежнему лежал на спине, оттягивая обеими руками воротник свитера, и тихонько, мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Рэдрик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей

ладонью ощущая липкую от пота горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно, но в слабых отсветах прожекторов Рэдрик видел широко раскрытые и словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, черную щетину, покрывавшую его щеки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, а затем беспокойно задвигался, ощупывая рукой мешок с хабаром.

— Вернулся... — проговорил старик. — Хороший парень... Рыжий... Не бросишь старика... подыхать...

Рэдрик, запрокинув голову, сделал хороший глоток.

— Стоит, жаба, — сказал он. — Как приклеенная.

— Это... неспроста... — проговорил Барбридж. Говорил он отрывисто, на выдохе. — Донес кто-то. Ждут.

— Может быть, — сказал Рэдрик. — Дать еще глоток?

— Нет. Хватит пока. Ты меня не бросай. Не бросишь — не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, Рыжий?

Рэдрик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там ЭТОТ или сгинул.

— Слушай, Рыжий. Я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул, Фараон Банкер погиб, как не было. Какой был сталкер! А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Каллоген. Пит Болячка. Все. Один я остался. Почему? Знаешь?

— Подлец ты всегда был, — сказал Рэдрик, не отрывая глаз от шоссе. — Стервятник.

— Подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон. Слизняк. А остался один я. Знаешь почему?

— Знаю, — сказал Рэдрик, чтобы отвязаться.

— Врешь. Не знаешь. Про Золотой шар слышал?

— Слышал.

— Думаешь, сказка?

— Ты бы молчал лучше, — посоветовал Рэдрик. — Силы ведь теряешь!



— Ничего, ты меня вынесешь. Мы с тобой столько ходили! Неужели бросишь? Я тебя вот такого... маленького знал. Отца твоего.

Рэдрик молчал. Очень хотелось курить, он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладонь и стал нюхать. Не помогало.

— Ты меня должен вытащить, — проговорил Барбридж.

— Это из-за тебя я погорел. Это ты Мальтийца не взял.

Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый день угощал, предлагал хороший залог, клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с Мальтийцем, загордившись от него тяжелой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Рэдрику: соглашайся, мол, не прогадаем. Может быть, именно поэтому Рэдрик сказал тогда «нет».

— Из-за жадности своей ты погорел, — холодно сказал Рэдрик. — Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

Некоторое время Барбридж только кряхтел. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.

— Пусть весь хабар будет твой, — прокряхтел он. — Только не бросай.

Рэдрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного, а патрульная машина все не уходила. Прожектора ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный «Лендровер», и каждую минуту его могли обнаружить.

— Золотой шар, — сказал Барбридж. — Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели! Я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Как же любое! Если бы любое, меня б здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

Рэдрик посмотрел на него сверху вниз. В бегущих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мертвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Рэдриком.

— Вечную молодость черта я получил, — бормотал он. — Денег — черта. А вот здоровье — да. И дети у меня хорошие. И жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И все равно жив. — Он облизал губы. — Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровья. И чтобы дети.

— Да заткнись ты, — сказал наконец Рэдрик. — Что ты как баба? Если смогу — вытащу. Дину мне твою жалко, на панель ведь пойдет девка...

— Дина... — прохрипел Барбридж. — Деточка моя. Красавица. Они ж у меня балованные, Рыжий. Отказа не знали. Пропадут. Артур. Арчи мой. Ты ж его знаешь, Рыжий. Где ты еще таких видел?

— Сказано тебе: смогу — вытащу.

— Нет, — упрямо сказал Барбридж. — Ты меня в любом случае вытащишь. Золотой шар. Хочешь скажу — где?

— Ну, скажи.

Барбридж застонал и пошевелился.

— Ноги мои... — прокряхтел он. — Пощупай, как там.

Рэдрик протянул руку и, ощупывая, провел по его ноге ладонью от колена и ниже.

— Кости... — хрипел Барбридж. — Кости еще есть?

— Есть, есть, — соврал Рэдрик. — Не суетись.

На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка, ее можно было узлом завязать.

— Врешь ведь, — сказал Барбридж с тоской. — Ну ладно. Ты только меня вытащи. Я тебе все. Золотой шар. Карту нарисую. Все ловушки укажу. Все расскажу...

Он говорил и обещал еще что-то, но Рэдрик уже не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожектора больше не металась по кустам, они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске, и в ярком голубом тумане Рэдрик отчетливо увидел согнутую фигуру, бредущую среди кустов.

Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожектора. Рэдрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нелепым, нечеловеческим упорством, как заведенный механизм.

И вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной. Рэдрик судорожно глотнул и распустил молнию на комбинезоне.

— Никак уехали... — лихорадочно бормотал Барбридж. — Рыжий, давай... Давай по-быстрому! — Он заерзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с хабаром и попытался подняться. — Ну давай, чего сидишь!

Рэдрик все смотрел в сторону шоссе. Теперь там было темно и ничего не было видно, но где-то там был ЭТОТ, вышагивал словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике.

— Ладно, — сказал Рэдрик вслух. — Пойдем.

Он поднял Барбриджа. Старик как клещами обхватил его левой рукой за шею, и Рэдрик, не в силах выпрямиться, на четвереньках поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву.

— Давай, давай... — хрипел Барбридж. — Не беспокойся, хабар я держу, не выпущу... Давай!

Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила, ветки рябины хлестали по лицу, грузный старик был невероятно тяжел, словно мертвец, да еще мешок с хабаром, позвякивая и постукивая, все время цеплялся за что-то, и еще страшно



было наткнуться на ЭТОГО, который, может быть, все еще блуждал здесь в потемках.

Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями ночной мрак уже засинел, и потянуло оттуда знобким влажным ветерком. Рэдрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел «Лендровер», сбросил с капота и кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.

— Быстро! — прохрипел он. — Быстро давай! Колени, целы еще у меня колени... Колени бы спасти!

Рэдрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Рэдрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой и плащ.

Рэдрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, «Лендровер» примял высокую густую траву, но трава эта должна была подняться через несколько часов. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Рэдрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и закурил, хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.

— Что же ты? — плачущим голосом сказал из машины Барбридж. — Воду не вылил, снасти все сухие... Чего стоишь? Прячь хабар!



— Заткнись! — сказал Рэдрик. — Не мешай! — Он затаился. — На южную окраину свернем, — сказал он.

— Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник! Колени!

Рэдрик затаился последний раз и сунул окурок в спичечный коробок.

— Не пыли, Стервятник, — сказал он. — Прямо через горod нельзя. Три заставы, хоть на одной да остановят.

— Ну и что?

— Посмотрят твои копыта — и конец.

— А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор!

— А если кто-нибудь пощупает?

— Пощупает... Я так заору, что вперед забудет, как щупать.

Но Рэдрик все уже решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая себе фонариком, открыл потайную крышку и сказал:

— Давай сюда хабар.

Бензобак под сиденьем был фальшивым. Рэдрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается.

— Мне рисковать нельзя, — пробормотал он. — Не имею права.

Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверху тряпок и опустил сиденье. Барбридж кряхтел, постанывал, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать Золотой шар, а сам все вертелся на своем сиденье, встревоженно вглядываясь в редящую тьму. Рэдрик не обращал на него внимания. Он вспорол налитый водой пластиковый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул

в карман комбинезона. Теперь все было в порядке: рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая Зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Рэдрик хорошо видел в темноте, да и темнота не была уже такой плотной, и, кроме того, он знал, что сейчас будет, поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. ЭТОТ вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Рэдрик обогнал его, прижав машину к обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

— Матерь божия! — пробормотал сзади Барбридж. — Рыжий, ты видел?

— Да, — сказал Рэдрик.

— Господи!.. Этого нам еще не хватало!.. — бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.

— Заткнись! — прикрикнул на него Рэдрик.

Поворот должен быть где-то здесь. Рэдрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, протянувшихся справа. Старая трансформаторная будка... Столб с подпоркой... Подгнивший мостик через кювет... Рэдрик повернул руль. Машину подбросило на колдобине.

— Ты куда?! — дико заорал Барбридж. — Ноги мне загубишь, сволочь!

Рэдрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колеса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Рэдрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил

заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые, покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал, он жаловался и грозился, но очень негромко и неразборчиво, так, что Рэдрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи... Потом он затих.

Поселок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городского начальства и заводской администрации. Зеленые веселые места, маленькие озера с чистыми песчаными берегами, прозрачные березовые рощи, пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские едкие дымы сюда никогда не доходили, так же как и городская канализация. Теперь все здесь было покинуто и заброшено, и за все время им попался всего один жилой дом. Желто светилось задернутое занавеской окошко, висело на веревках промокшее от дождя белье, и огромный пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машиной в вихре комьев грязи, летевшей из-под колес.

Рэдрик осторожно переехал еще через один старый покосившийся мостик, и когда впереди завиднелся поворот на западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошел вперед, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Все вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошел до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда: маленький домик на колесах, три светящихся окошка; патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было. Некоторое время Рэдрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения: видимо, патрульные озябли и измотались за ночь и теперь грелись в домике, дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губе.



— Жабы, — негромко сказал Рэдрик.

Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальные отверстия, зажал в кулаке холодный металл и, все так же зябко сутулясь, не вынимая рук из карманов, пошел обратно. «Лендровер», слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное, никто сюда, наверное, не заглядывал уже лет десять.

Когда Рэдрик подошел к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно, морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и вдруг Барбридж сказал невнятно:

— Карту дам... все ловушки, все... Сам найдешь, не пожалеешь...

Рэдрик слушал его, не двигаясь, потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал:

— Ладно. Твое дело лежать в обмороке, понял? Стони и не давай прикасаться.

Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину.

И все обошлось. Никто не вышел из домика, когда «Лендровер» в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатился мимо, а затем, все наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было шесть часов утра, улицы были пусты, асфальт мокрый и черный, автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещенными окнами, и Рэдрика обдало волной теплого, необыкновенно вкусного запаха.

— Жрать охота, — сказал Рэдрик и, разминая затекшие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль.

— Что? — испуганно спросил Барбридж.

— Жрать, говорю, охота... Тебя куда? Домой или прямо к Мяснику?

— К Мяснику, к Мяснику гони! — торопливо забормотал Барбридж, весь подавшись вперед, лихорадочно и горячо дыша Рэдрику в затылок. — Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще семьсот монет должен. Да гони ты, гони, что ты ползешь, как вошь по мокрому месту! — И вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, черными, грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля.

Рэдрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомирить расходившегося Стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в «Метрополе». Он вывернул на Шестнадцатую улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком.

Мясник открыл ему сам, видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы были взлохмачены, под мутными глазами набрякли темные мешочки.

— А! — сказал он, — Рыший? Што скажешь?

— Надевай зубы — и пойдем, — сказал Рэдрик.

— Угу, — отозвался Мясник, приглашающе мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную.

— Кто? — спросил он оттуда.

— Барбридж, — ответил Рэдрик.

— Что?

— Ноги.

В ванной полилась вода, раздалось фырканье, плеск, что-то упало и покатилося по кафельному полу. Рэдрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил, озираясь. Да, холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом, светилом медицины не только города, но и штата, и со сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с Зоны: брал натурой,

разным хабаром, который применял в своей медицине; брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах неизвестные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма; брал славой, славой первого на планете врача — специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой.

— Что именно с ногами? — спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече. Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы.

— Вляпался в «студень», — сказал Рэдрик.

Мясник свистнул.

— Значит, конец Барбриджу, — пробормотал он. — Жалко, знаменитый был сталкер.

— Ничего, — сказал Рэдрик, откидываясь в кресле. — Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по Зоне попрыгает.

— Ну хорошо, — сказал Мясник. Лицо у него сделалось совсем деловое. — Подожди, я сейчас оденусь.

Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Рэдрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать. Он просто ждал.

Потом они вместе вышли к машине, Рэдрик сел за руль, Мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, стал ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, Мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Рэдрик снова закурил, а Барбридж вдруг сказал ясно и отдельно, словно совсем успокоившись:

— Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.

— Не убил ведь, — равнодушно сказал Рэдрик.

— Да, не убил... — Барбридж помолчал. — Это я тоже запомню.

— Запомни, запомни, — сказал Рэдрик. — Ты бы, конечно, меня убивать не стал... — Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подергивая пересохшими губами. — Ты бы меня просто бросил, — сказал Рэдрик. — Оставил бы меня в Зоне — и концы в воду. Как Очкарика.

— Очкарик сам помер, — угрюмо возразил Барбридж. — Я тут ни при чем. Приковало его.

— Сволочь ты, — равнодушно сказал Рэдрик, отворачиваясь. — Стервятник.

Из подъезда выскочили сонные встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Рэдрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объединенные «студнем», были странно и неестественно вывернуты.

Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после Посещения, когда Зона еще не называлась Зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Рэдрику было тогда десять лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной, он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой сволочью он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену, шумно, всем напоказ... Так и забил до смерти.

Рэдрик развернул «Лендровер» и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рывкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой.

Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже.

— Доброе утро, — сказал ему Рэдрик вежливо.

Управляющий остановился в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо.

— Это ваша работа? — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня.

— Вы о чем?

— Качели эти... Вы поставили?

— Я.

— Для чего?

Рэдрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился у него за спиной.

— Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?

— Дочка попросила, — сказал Рэдрик очень спокойно. Он откатил ворота.

— Я вас не про дочку спрашиваю! — управляющий повысил голос. — О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?

Рэдрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в белую, с прожилочками, переносицу; управляющий отступил на шаг и произнес тоном пониже:

— И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...

— Напрасно стараетесь, — сказал Рэдрик. — Все равно я отсюда не съеду.

Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:

— Но уж если мне придется все-таки съехать, гадюка, тогда молись.

Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплюснутая сигарета. Рэдрик отодрал ее, сигарета оказалась шведская. Рэдрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было три окурка.

На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома, а Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей, терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.

— Ну ладно... — проговорила она наконец низким хрипловатым голосом, отпустила его и включила в прихожей свет, а сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. — Сейчас я тебе кофе... — сказала она оттуда.

— Я тут рыбу приволок, — сказал он нарочито бодрым голосом. — Зажарь, да всю сразу жарь, жрать охота, сил нет!

Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах; он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку.

— Иди мойся, — сказала она. — Пока помоешься, все будет готово.

— Как Мартышка? — спросил Рэдрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги.

— Да болтала весь вечер, — отозвалась Гута. — Еле-еле я ее уложила. Пристает все время: где папа, где папа? Вынь да положи ей папу...

Она ловко и бесшумно двигалась по кухне, крепкая, ладная, и уже закипала вода в котелке на плите, и летела чешуя из-под ножа, и скворчало масло на самой большой сковородке, и восхитительно запахло свежим кофе.

Рэдрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно дрыхла, сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони — маленький спящий зверек. Рэдрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой, и в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять Мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить, да и грязен он был как черт, весь пропитан Зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал:

— Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду.

На столе лежала пачка вечерней корреспонденции: «Хармонтская газета», журнал «Атлет», журнал «Плейбой» — целая куча журналов подвалила — и толстенькие, в серой обложке «Доклады Международного института внеземных



культур», выпуск 56. Рэдрик принял от Гуты кружку дымящегося кофе и потянул к себе «Доклады». Кривульки, значки какие-то, чертежи... На фотографиях знакомые предметы в странных ракурсах. Еще одна посмертная статья Кирилла вышла: «Об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77-б».

Фамилия «Панов» обведена черной рамкой, внизу мелким шрифтом примечание: «Доктор Кирилл А. Панов, СССР, трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 19... года». Рэдрик отбросил журнал, обжигаясь, хлебнул кофе и спросил:

— Заходил кто-нибудь?

— Гуталин заходил, — сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. — Пьяный был в стельку, я его выводила.

— А Мартышка как же?

— Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь наладилась. Но я ей сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. А она мне так понимающе отвечает: «Опять насосался Гуталин!»

Рэдрик усмехнулся и сделал еще глоток. Потом спросил:

— Соседи как?

И снова Гута чуть помедлила, прежде чем ответить.

— Да как всегда, — сказала она наконец.

— Ладно, не рассказывай.

— А! — сказала она, с отвращением махнув рукой. — Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Чего это мы среди ночи пилим в ванной!..

— Зараза, — сказал Рэдрик сквозь зубы. — Слушай, может быть, уедем все-таки? Купим где-нибудь дом на окраине, где никто не живет, дачу какую-нибудь заброшенную...

— А Мартышка?

— Господи, — сказал Рэдрик. — Ну неужели мы вдвоем с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?

Гута помотала головой.

— Она детишек любит. И они ее любят. Они же не виноваты, что...

— Да, — проговорил Рэдрик. — Они, конечно, не виноваты.

— Что там говорить! — сказала Гута. — Тебе звонил кто-то. Себя не назвал. Я сказала, что ты на рыбалке.

Рэдрик поставил кружку и поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Пойду все-таки помоюсь. Куча дел еще у меня.

Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а кастет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипятком, душем, кряхтя, растирая тело варежкой из жесткой губки, пока кожа не стала багровой, потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. Урчала вода в трубах, Гута на кухне позвякивала посудой; запахло жареной рыбой, потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое белье.

— Давай побыстрее, — приказала она. — Рыба остынет.

Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Рэдрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню.

— Вот теперь и поесть можно, — сказал он, усаживаясь.

— Белье в бак положил? — спросила Гута.

— Угу, — проговорил он с набитым ртом. — Хороша рыбка!

— Водой залил?

— Не-а... Виноват, сэр, больше не повторится, сэр... Да брось ты, успеешь, посиди! — он поймал ее за руку и попытался посадить к себе на колени, но она вывернулась и села за стол напротив.

— Пренебрегаешь мужем, — сказал Рэдрик, снова набивая полный рот. — Брезгуешь, значит.

— Да какой ты сейчас муж, — сказала Гута. — Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо.

— А вдруг? — сказал Рэдрик. — Бывают же на свете чудеса!

— Что-то я таких чудес от тебя еще не видела. Выпьешь, может быть?

Рэдрик нерешительно поиграл вилкой.

— Н-нет, пожалуй, — проговорил он. Он взглянул на часы и поднялся. — Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм. По классу «А». Рубашечку там, галстук...

С наслаждением шлепая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошел в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две «пустышки». Коробка с «булавками». Девять «батареек». Три «браслета». И один какой-то обруч — тоже вроде «браслета», но из белого металла, полегче и диаметром побольше, миллиметров на тридцать. Шестнадцать штук «черных брызг» в полиэтиленовом пакете. Две великолепной сохранности «губки» с кулак величиной. Три «зуды». Банка «газированной глины». В мешке еще оставался тяжелый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату, но Рэдрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе.

Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счеты. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за цифрой, выстраивая все в три столбика, а потом просуммировал первые два. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал «булавки» на бумагу. В электрическом свете «булавки» отливали синевой и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками — желтым, красным, зеленым. Он взял одну «булавку» и осторожно,

чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но «булавка» молчала. Он отложил ее в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться, и «булавка» заговорила: слабые красноватые вспышки пробежали по ней и вдруг сменились более редкими зелеными. Несколько секунд Рэдрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из «Докладов», должна была что-то означать, может быть, что-то очень важное, очень значительное, а потом положил «булавку» отдельно от первой и взял новую...

Всего «булавок» оказалось семьдесят три, из них говорили двенадцать, остальные молчали. На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Рэдрик снова зажег свет и к уже написанным цифрам добавил еще две. И только после этого он решился.

Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлек и положил на стол мягкий сверток. Некоторое время он смотрел на этот сверток, задумчиво почесывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом все-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал еще одну сигарету и, не отрывая глаз от свертка, выкурил ее всю.

— Кой черт! — сказал он громко, решительно взял сверток и сунул его обратно в мешок. — И все. И хватит.

Он быстро ссыпал «булавки» обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчаса можно было еще поспать, чтобы голова сделалась яснее, но, с другой стороны, гораздо полезнее прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключив света, вышел из чулана.

Костюм уже был разложен на кровати, и Рэдрик принялся одеваться. Он завязывал галстук перед зеркалом, когда за его

спиной тихонько скрипнули половицы, раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться.

— У! — крикнул вдруг рядом с ним тоненький голосок, и его схватили за ногу.

— Ах! — воскликнул Рэдрик, падая в обморок на кровать.

Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дергали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завелся котенок, весь белый и с красными глазами, — наверное, не слушался маму и ходил в Зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять насосался и был больной, он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев пять, а рук две, а нос один?.. Рэдрик осторожно обнимал теплое существо, ползающее по нему, вглядывался в огромные, сплошь темные, без белков, глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковистым пушком щечке и повторял:

— Мартышка... Ах ты, Мартышка... Мартышка ты этакая...

Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он протянул руку и взял трубку.

— Слушаю.

Трубка молчала.

— Алло! — сказал Рэдрик. — Алло!

Никто не отзывался. Потом в трубке щелкнуло, и раздались короткие гудки. Тогда Рэдрик поднялся, опустил Мартышку на пол и, уже больше не слушая ее, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом, так что наконец ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое.

Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан,

взял портфель в одну руку, корзину с мешком в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте: «Я пошел!»

— Когда вернешься? — спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась, и на ней был не халат, а домашнее платье, самое его любимое — ярко-синее с большим вырезом.

— Я позвоню, — сказал он, глядя на нее, потом подошел, наклонился и поцеловал в вырез.

— Иди уж, — тихо сказала Гута.

— А я? А меня? — заверещала Мартышка, пролезая между ними.

Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами.

— Чепуха, — сказал он. — Не беспокойся. Я позвоню.

На лестничной площадке этажом ниже Рэдрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с дверным замком у своей двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Рэдрик остановился и сказал:

— Добрый день.

Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул.

— Ваша супруга ночью к нам заходила, — сказал Рэдрик. — Будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение.

— А мне-то что! — проворчал человек в пижаме.

— Жена вчера вечером стирала, — продолжал Рэдрик. — Если мы вас побеспокоили, прошу прощения.

— А я ничего не говорил, — сказал человек в пижаме. — Пожалуйста...

— Ну, я очень рад, — сказал Рэдрик.

Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое сиденье, оглядел все напоследок и вышел на улицу.



Идти было недалеко: два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до Центрального проспекта. Перед «Метрополем», как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин, лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы, какие-то иностранного вида солидные люди группками по двое, по трое беседовали, дымя сигарами, на мраморной лестнице. Рэдрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском, они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармонтски и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в десяти, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном на полу рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без двадцати девять.

Рэдрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро ссыпался по лестнице — маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благоустроенный, свежeweмытый, решительно уверенный, что день не принесет ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебро-сил свернутый плащ через правое плечо и подошел к своему «Пежо». «Пежо» у Дика был тоже округлый, коротенький, свежeweмытый и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят.

Прикрывшись ладонью, Рэдрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивается на переднем сиденье за рулем, что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается за чем-то, поправляет зеркальце заднего вида.



Потом «Пежо» фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в институт, а значит, должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно, поэтому Рэдрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. «Пежо» пробибикал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал:

— Э! Шухарт! Рэд!

Выругавшись про себя, Рэдрик поднял голову. Нунан уже шел к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял.

— Ты что здесь делаешь в такую рань? — спросил он подойдя. — Спасибо, мадам, — бросил он официантке. — Ничего не надо... — и снова Рэдрику: — Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?

— Да так... — неохотно сказал Рэдрик. — Больше по мелочам.

Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сэндвичей — в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает.

— Вид у тебя какой-то дохлый, недосыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой, но спать — нет, брат, сон для меня первое дело, провались она, эта автоматика... — Он вдруг огляделся. — Пардон, может, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?

— Да нет... — вяло сказал Рэдрик. — Просто время есть, дай, думаю, кофе хоть попью.

— Ну, я тебя надолго не задержу, — сказал Дик и посмотрел на часы. — Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи, возвращайся в институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому, прибыл недавно?



Рэдрик покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Второй Кирилл на свет еще не родился... Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика, роботы в Зону ходят, премиальные, надо понимать, тоже роботы получают... А лаборантские гроши, мне их и на табак не хватит.

— Брось, все это можно было бы устроить, — возразил Нунан.

— А я не люблю, когда для меня устраивают, — сказал Рэдрик. — Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.

— Гордый ты стал, — произнес Нунан с осуждением.

— Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.

— Ну что ж, ты прав, — сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Рэдрика на стуле рядом, потер пальцем серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами. — Все правильно: деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать... Кирилл подарил? — Спросил он, кивая на портфель.

— В наследство достался, — сказал Рэдрик. — Что это тебя в «Боржче» не видно последнее время?

— Положим, это тебя не видно, — возразил Нунан. — Я-то там почти каждый день обедаю, здесь в «Метрополе» за каждую котлету так дерут... Слушай, — сказал он вдруг. — А как у тебя сейчас с деньгами?

— Занять хочешь? — спросил Рэдрик.

— Нет, наоборот.

— Одолжить, значит...

— Есть работа, — сказал Нунан.

— О господи! — сказал Рэдрик. — И ты туда же!

— А кто еще? — сейчас же спросил Нунан.

— Да много вас таких... работодателей.

Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся.

— Да нет, это не по твоей основной специальности.

— А по чьей?

Нунан снова посмотрел на часы.

— Вот что, — сказал он поднимаясь. — Приходи сегодня в «Боржч» к обеду, часам к двум. Поговорим.

— К двум я могу не успеть, — сказал Рэдрик.

— Тогда вечером, часам к шести. Идет?

— Посмотрим, — сказал Рэдрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять.

Нунан сделал ручкой и покатился к своему «Пежо». Рэдрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Лайки страйк», расплатился и, взявши портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Рэдрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило.

Такого с ним еще никогда не было вне Зоны, да и в Зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него — резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжник, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами, и через все это приходилось протискиваться, как во сне через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью... Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир, это прежний знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной, сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться...

Над ухом рванул раздраженный сигнал, Рэдрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены «Метрополя». Сердце стучало бешено, он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после драки, и дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно:

— Вам помочь, мистер?

— Н-нет, — выдавил из себя Рэдрик и прокашлялся. — Душно...

— Может быть, проводить вас?

Рэдрик наклонился и поднял портфель.

— Все, — сказал он. — Все в порядке, приятель. Спасибо.

Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться, но он уже и без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толкались в вестибюле. Костлявый был уже тут как тут, с раздраженным видом копался в журналах у газетной стойки. Рэдрик бросил окурок в урну и вошел в кабину лифта.

Он не успел закрыть дверь, и вместе с ним втиснулись какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушенная дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Рэдрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слюни, но личико было свежее, чистое, без единого волоска, и не видеть его мамашу, скудный бюст которой украшало ожерелье из крупных «черных брызг», оправленных в серебро, и не видеть выкаченных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутом рыле старухи. Толстяк попытался закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до



пятого этажа, где она выкатилась, а как только она выкатилась, толстяк все-таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы, и тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, по-верблюжьи вытягивая губы и толкая Рэдрика в бок мучительно оттопыренным локтем...

На восьмом этаже Рэдрик вышел и двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озаренного уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по пятьсот монет за ночь, массивными золотыми портсигарами — всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая выросла на Зоне, пила от Зоны, жрала, хапала, жирела от Зоны, и на все ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, нахапает всласть, и все, что было в Зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Рэдрик без стука толкнул дверь номера восемьсот семьдесят четыре.

Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор, нездоровое одутловатое лицо его было гладко выбрито.

— Ага, — произнес он, не поднимая глаз. — Точность — вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик!

Он кончил отстригать у сигары кончик, взял ее двумя руками, поднес к усам и поводит носом вдоль нее взад и вперед.

— А где же наш старый добрый Барбридж? — спросил он и поднял глаза. Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские.

Рэдрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты.

— Барбридж не придет, — сказал он.

— Старый добрый Барбридж, — проговорил Хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно поднес ее ко рту. — У старого Барбриджа разыгрались нервы...

Он все смотрел на Рэдрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся Костлявый.

— Кто был этот человек, с которым вы разговаривали? — спросил он прямо с порога.

— А, здравствуйте, — приветливо сказал ему Рэдрик, стряхивая пепел на пол.

Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными, скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Рэдриком.

— Мы же с вами сто раз говорили, — укоризненно произнес он. — Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?

— Я здороваюсь, — сказал Рэдрик. — А вы?

Хрипатый рассмеялся, а Костлявый раздраженно сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте... — он перестал сверлить Рэдрика укоряющим взглядом и грохнулся рядом на диван. — Нельзя так делать, — сказал он. — Понимаете? Нельзя!

— Тогда назначайте мне свидания там, где у меня нет знакомых, — сказал Рэдрик.

— Мальчик прав, — заметил Хрипатый. — Наша промашка... Так кто был этот человек?

— Это Ричард Нунан, — сказал Рэдрик. — Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь в отеле.

— Вот видишь, как просто! — сказал Хрипатый Костлявому, взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под статую Свободы, с сомнением посмотрел на нее и поставил обратно.

— А Барбридж где? — спросил Костлявый уже совсем дружелюбно.

— Накрылся Барбридж, — сказал Рэдрик.

Эти двое быстро переглянулись.

— Мир праху его, — сказал Хрипатый настороженно. — Или, может быть, он арестован?

Некоторое время Рэдрик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурочек на пол и сказал:

— Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.

— Ничего себе чисто! — сказал Костлявый нервно, вскочил и прошел к окну. — В какой больнице?

— Не бойтесь, — повторил Рэдрик. — В какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.

— В какой именно больнице? — уже раздраженно спросил Костлявый.

— Так я вам и сказал, — отозвался Рэдрик. Он взял портфель. — Будем мы сегодня делом заниматься или нет?

— Будем, будем, мой мальчик, — бодро сказал Хрипатый.

С неожиданной легкостью он соскочил на пол, быстро придвинул к Рэдрику журнальный столик, одним движением смахнул на ковер кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки.

— Предъявляйте, — сказал он.

Рэдрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.

— Это счет, — сказал Рэдрик.

— Вижу, — отозвался Хрипатый. — Предъявляйте, предъявляйте!

— Деньги, — сказал Рэдрик.

— Что это за «кольцо»? — подозрительно осведомился Костлявый, тыча пальцем в список через плечо Хрипатого.

Рэдрик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый наконец усмехнулся.

— И за что это я вас так люблю, мой мальчик? — проворковал он. — А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает! — Он театрально вздохнул. — Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты, отслюни зелененьких... и дай мне наконец спичку! Ты же видишь... — И он потряс сигарой, все еще зажатой в двух пальцах.

Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил ему коробок, а сам вышел в соседнюю комнату через дверь, задернутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает, раздраженно и невнятно, что-то насчет кота в мешке, а Хрипатый, раскуривая наконец свою сигару, все разглядывал Рэдрика в упор с застывшей улыбкой на тонких бледных губах и словно бы размышлял о чем-то, а Рэдрик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло как огнем и на глаза набегали слезы. Потом Костлявый вернулся, бросил на столик две обандероленные пачки банкнот и, надувшись, сел рядом с Рэдриком. Рэдрик лениво потянулся за деньгами, но Хрипатый жестом остановил его, ободрал с пачек бандероли и сунул их себе в карман пижамы.

— Теперь прощу, — сказал он.

Рэдрик взял деньги и, не считая, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый, и еще из-за портьеры доносилось слабое звяканье вроде бы ложечки о край стакана.

Когда Рэдрик наконец закрыл портфель и защелкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил:

— Ну а как насчет главного?

— Никак, — ответил Рэдрик. Он помолчал и добавил: — Пока.

— Мне нравится это «пока», — ласково сказал Хрипатый. — А тебе, Фил?

— Темните, Шухарт, — сказал брюзгливо Костлявый. — А чего темнить, спрашивается?

— Специальность такая: темные делишки, — сказал Рэд. — Тяжелая у нас с вами специальность.

— Ну хорошо, — сказал Хрипатый. — А где фотоаппарат?

— А, черт! — проговорил Рэдрик. Он потер пальцами щеку, чувствуя, как краска заливает ему лицо. — Виноват, — сказал он. — Начисто забыл.

— Там? — спросил Хрипатый, делая неопределенное движение сигарой.

— Не помню... Наверное, там... — Рэдрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. — Нет. Начисто не помню.

— Жаль, — сказал Хрипатый. — Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?

— Да нет же, — с досадой сказал Рэдрик. — В том-то все и дело. Мы же не дошли до кауперов. Барбридж вляпался в «студень», и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли... Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл...

— Слушай-ка, Хью, посмотри! — испуганным шепотом произнес вдруг Костлявый. — Что это, а?

Он сидел, напряженно вытянув перед собой указательный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и Костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.

— Он не останавливается! — громко сказал Костлявый, переводя круглые глаза с обруча на Хрипатого и обратно.

— Что значит — не останавливается? — осторожно спросил Хрипатый и чуть отодвинулся.

— Я надел его на палец и крутанул разок просто так... и он уже целую минуту не останавливается!

Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблескивая, мерно крутился перед ним, как самолетный пропеллер.

— Что это вы нам принесли? — спросил Хрипатый.

— Черт его знает! — сказал Рэдрик. — Я и не знал... Знал бы, содрал бы побольше.

Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Рэдрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно сногшибательных красоток, но почему-то было сейчас тошно смотреть на них. Рэдрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно, но, чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся Хрипатый.

— Вам везет, мой мальчик, — объявил он, снова усаживаясь напротив Рэдрика. — Знаете, что такое перпетуум мобиле?

— Нет, — сказал Рэдрик. — У нас этого не проходили.

— И не надо, — сказал Хрипатый. Он вытащил еще одну пачку банкнот. — Это цена первого экземпляра, — произнес он, обдирая с пачки бандероль. — За каждый новый экземпляр этого вашего кольца вы будете получать по две такие пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что, кроме нас с вами, никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились?

Рэдрик молча засунул пачку в карман и поднялся.

— Я пошел, — сказал он. — Когда и где в следующий раз? Хрипатый тоже поднялся.

— Вам позвонят, — сказал он. — Ждите звонка каждую пятницу с девяти до девяти тридцати утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание.



Рэдрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.

— Я хотел бы, чтобы вы поняли, — продолжал он. — Все это хорошо, очень мило и так далее, а «кольцо» — так это просто чудесно, но прежде всего нам нужны две вещи: фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой пленкой, и наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный, и вам больше никогда не придется ходить в Зону...

Рэдрик, шевельнув плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с восьмого этажа пешком.

Выйдя из «Метрополя», он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из новичков, носатый прыщавый малец, один из тех, кто валом валил в Хармонт в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии, валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами, алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все страны света; считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться. Некоторым удавалось поступить в институт, самым толковым и грамотным, годным хотя бы на должность препаратора, а остальные вечера напролет просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке, совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов.

От прыщавого шофера на версту несло перегаром, глаза у него были красные, как у кролика, но он был страшно возбужден и с ходу принялся рассказывать Рэдрику, как нынче утром на их улицу появился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом, а дом-то уже сколько лет заколочен, все оттуда уехали — и вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад, еще до Посещения, а теперь вот привет! — приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся, потом уселся у забора и сидит. Народу набежало со всего квартала, смотрят, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался: взломали дверь в его доме, открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошел, и дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать, не знаю, чем там дело кончилось, знаю только, что собирались в институт звонить, чтобы забрали его от нас к чертовой бабушке.

— Стоп, — сказал Рэдрик. — Останови вот здесь.

Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новую банкноту. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси уедет. Коттеджик у Стервятника был неплохой: два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Рэдрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Рэдрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял Суслик, скрюченный, черно-багровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустил со ступеньки одну судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом все дергал, дергал в сторону Рэдрика здоровой рукой: сейчас, мол, сейчас...

— Эй, Рыжий! — позвал из сада женский голос.

Рэдрик повернул голову и увидел среди зелени рядом с белой ажурной крышей беседки голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул Суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты, по мягкой зеленой траве направился к беседке.

На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме; рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояло блестящее ведро со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.

— Здорово, Рыжий! — сказала Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. — А где же папахен? Неужели опять засыпался?

Рэдрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в Зоне выпросил на славу. Вся она была атласная, пышно-плотная, без единого изъяна, без единой лишней складки — полтора фунтов двадцатилетней лакомой плоти, и еще изумрудные глаза, светящиеся изнутри, и еще большой влажный рот и ровные белые зубы, и еще воронные волосы, блестящие под солнцем, небрежно брошенные на одно плечо, и солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее, а она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехаясь, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.

— Хочешь? — сказала она, облизывая губы, и, подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан.

Он отвернулся, поискал глазами и, обнаружив в тени шезлонга, уселся и вытянул ноги.

— Барбридж в больнице, — сказал он. — Ноги ему отрежут.

По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо, только улыбка ее сделалась неподвижной — сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдинок о стенки, и спросила:

— Обе ноги?

— Обе. Может быть, до колен, а может быть, и выше.

Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась.

— Жаль, — проговорила она. — А ты, значит...

Именно ей, Дине Барбридж, он мог бы подробно рассказать, как все это случилось и как все это было. Наверное, он мог бы ей рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет, и как Барбридж просил, не за себя просил даже, за детей, за нее и за Арчи, и сулил Золотой шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил ее на красный мат, прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.

— Последняя получка, значит, — проговорила она.

Рэдрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведерка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По темному стеклу стекла вода, и Рэдрик отвел бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогого виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он оглянулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит Суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан

с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его черно-багровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит, и, увидев, что Рэдрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот.

— Жду, жду, — сказал ему Рэдрик и сунул бутылку обратно в лед.

Суслик подковылял наконец, подал Рэдрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой.

— Спасибо, Диксон, — серьезно сказал Рэдрик. — Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон.

И пока Суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Рэдрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину.

— Хочешь? — сказал он, показывая ей стакан.

Она не ответила. Она складывала ассигнацию пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам.

— Брось, — сказал он. — Не пропадет. У твоего папашки...

Она перебила его:

— А ты его, значит, тащил, — сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. — Пер его, дурак, через всю Зону, кретин рыжий, пер на хребте эту сволочь, слюняй. Такой случай упустил...

Он смотрел на нее, забыв о стакане, а она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, загородив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом.

— Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца... По костям вашим, по вашим башкам безмозглым... Погоди, погоди,

он еще на костылях по вашим черепушкам походит, он вам еще покажет братскую любовь и милосердие! — Она уже почти кричала. — Золотой шар небось тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван! Кретин! По роже твоей конопатой вижу, что обещал... Погоди, он тебе еще даст карту, упокой, господи, глупую душу рыжего дурака Рэдрика Шухарта...

Тогда Рэдрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощечину, и она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная, на траву и уткнула лицо в ладони.

— Дурак... рыжий... — невнятно проговорила она. — Такой случай упустил... такой случай...

Рэдрик, глядя на нее сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его Суслику. Говорить здесь было больше не о чем. Хороших деток вымолил себе Стервятник Барбридж в Зоне! Любящих и почтительных!

Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к «Боржчу». Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо, перед глазами все плыло, и он таки заснул, навалившись на портфель всем телом, и проснулся, только когда шофер потряс его за плечо.

— Приехали, мистер...

— Где это мы? — проговорил он, спросонья озираясь. — Я же тебе велел в банк...

— Никак нет, мистер, — осклабился шофер. — Велели к «Боржчу». Вот вам «Боржч».

— Ладно, — проворчал Рэдрик. — Приснилось что-то...

Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затекшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем, стало очень жарко. Рэдрик почувствовал, что он весь мокрый, во рту было гадко, глаза слезились. Прежде чем войти, он огляделся. Улица перед «Боржчем», как всегда в этот час, была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам «Боржч» был, собственно, закрыт, но Эрнест был уже на посту, протирал

бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типов, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья, незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Рэдрик подошел к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое.

— Пива налей, — сказал Рэдрик и судорожно зевнул.

Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Рэдрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Рэдрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Рэдрика, типы в углу азартно и злобно спорили о бегах, негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил:

— Принес?

— Что принес? — Рэдрик оглянулся через плечо.

Один из типов лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.

— Пойдем потолкуем, — сказал Эрнест.

Негр со шваброй теперь тоже стоял между Рэдриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.

— Пойдем, — сказал Рэдрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу.

Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищемил, видно, себе палец, облизывал ноготь, исподлобья разглядывая Рэдрика. Тоже очень крепкий негр, с проломленным носом и расплюснутыми ушами. Эр-

нест прошел в заднюю комнату, и Рэдрик последовал за ним, потому что теперь уже все трое типов стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад.

В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены, а из-за стола поднялся капитан Квотерблад, желтый и скорбный, а откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Рэдрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Рэдрика к капитану. Рэдрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.

— Что же ты, зараза! — сказал он Эрнесту.

Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой.

Капитан Квотерблад, с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол: «пустышки» малые — две штуки; «батарейки» — девять штук; «черные брызги» разных размеров — шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; «губки» прекрасной сохранности — две штуки; «газированной глины» — одна банка...

— В карманах есть что-нибудь? — тихо произнес капитан Квотерблад. — Выкладывайте...

— Гады, — сказал Рэдрик. — Зар-разы.

Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны.

— Ого! — произнес капитан Квотерблад. — Еще?

— Жабы вонючие! — заорал Рэдрик, выхватил из кармана вторую пачку и с размаху швырнул ее себе под ноги. — Жрите! Подавитесь!

— Очень интересно, — произнес капитан Квотерблад спокойно. — А теперь подбери все это.

— Бог подаст! — сказал ему Рэдрик, закладывая руки за спину. — Холуи твои подберут. Сам подберешь!

— Подбери деньги, сталкер, — не повышая голоса, сказал капитан Квотерблад, упираясь кулаками в стол и весь подавшись вперед.

Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза, потом Рэдрик, бормоча ругательства, опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а ооновец злорадно фыркнул.

— Не фыркай, ты! — сказал ему Рэдрик. — Сопля вылетит!

Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбываясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно; он все выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства, все, какие мог вспомнить, и еще те, которые придумывал на ходу, а когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх, и распахнувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться об пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки, в сырую холодную тьму винного погреба.

Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него; оскальзываясь, взбежал по невидимым ступенькам, всем телом вышиб обитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазами плыли кровавые пятна, сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло, но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано

несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но воя патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал еще быстрее, распутивая шарахающихся ребятишек, ныряя под развешанное белье, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблад не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах он играл еще мальчишкой, везде у него здесь были знакомые и даже друзья, и при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю, но не для того он совершил дерзкий побег из-под ареста — из-под носа у капитана Квотерблада, разом заработав себе лишних двенадцать месяцев.

Ему здорово повезло. По Седьмой улице валило, горланя и пыля, очередное шествие какой-то лиги, человек двести, таких же растерзанных и неопрятных, как и он сам, и даже хуже, будто все они тоже только что продирались через лазы в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да вдобавок еще предварительно провели бурную ночь на угольном складе. Он вынырнул из подворотни, с ходу врезался в эту толпу и наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова нырнул в подворотню как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблад не мог знать, в каком именно.

Он вышел на свой гараж со стороны склада радиотоваров, и ему пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлах кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на корточки, прислонившись спиной к жесткой штукатурке брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик, и думал, думал, думал, а когда автокар с рабочими, гудя, укатил в подворотню, он засмеялся и негромко сказал ему вслед: «Спасибо вам, ребята, задержали дурака... дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в Зоне.

Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленное кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок, во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и, уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он прищелкнул глазом к самой широкой щели и некоторое время смотрел, как Мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бежит вокруг новых качелей, а три старухи-соседки с вязанием на коленях сидят тут же на скамеечке и смотрят на нее, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими паршивыми мнениями, старые кочерыжки. А ребятишки ничего, играют с ней как ни в чем не бывало, не зря же он к ним подлизывался как умел — и горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели... И скамейку эту, на которой расселись старые кочерыжки, тоже он сделал. «Ладно», — сказал он одними губами, оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз.



На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает кто теперь здесь ею пользовался, вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстился необозримый пустырь бывшей городской свалки. Рэдрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу; оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами — тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез в пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова задержало щеку.

— Шухарт, — пробормотал он, не слыша своего голоса. — Что же ты, зараза, делаешь? Падаль ты, они же этой штукой всех нас передуют... — Он прижал пальцами дергающуюся щеку, но это не помогло. — Гады, — сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. — Попались же вы мне на дороге... Кинул бы ее, стерву, обратно в Зону, и концы в воду...

Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чертики. Он был один.

— Ладно, — сказал он решительно. — Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит...

Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на колени и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони.

— И все, — сказал он. — И никаких.

Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.

— Гута, — сказал он. — Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. — Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил: — Да ерундистика это все, месяцев шесть-восемь... и со свиданиями... Переживем. А без денег ты не будешь, деньги тебе пришлют... — Она все молчала. — Завтра утром тебя вызовут в комендатуру, там увидимся. Мартышку приведи.

— Обыска не будет? — спросила она глухо.

— А хоть бы и был. Дома все чисто. Ничего, держи хвост трубой... Уши торчком, хвост пистолетом. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну, до завтра... Имей в виду, я тебе не звонил. Целую в носик.

Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

— Слушаю вас, — сказал Хрипатый.

— Говорит Шухарт, — сказал Рэдрик. — Слушайте внимательно и не перебивайте...

— Шухарт? — очень натурально удивился Хрипатый. — Какой Шухарт?

— Не перебивайте, я говорю! Я попался, бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года два с половиной или три. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю?

— Продолжайте, — сказал Хрипатый.

— Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите берите, хотите нет, но жена моя чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто... Я вам не советую играть нечисто. Понятно?

— Я все понял, — сказал Хрипатый. — Спасибо. — Потом, помедлив немного, спросил: — Может быть, адвоката?

— Нет, — сказал Рэдрик. — Все деньги до последнего медяка — жене. С приветом.

Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми, заколоченными домами.

*3. Ричард Г. Нунан,
51 год, представитель поставщиков электронного
оборудования при Хармонтском филиале МИВК*

Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивал лысой головой и не слушал посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пильман, лениво делал ему выговор. Или воображал, что делает ему выговор. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему выговор.

— Мы все это учтем, — сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного счета чертика и захлопнув блокнот. — В самом деле, безобразия...

Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу.

— И что же именно вы учтете? — вежливо осведомился он.

— А все, что вы сказали, — весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. — До последнего слова.

— А что я сказал?

— Это несущественно, — произнес Нунан. — Что бы вы ни сказали, все будет учтено.

Валентин (доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее) сидел перед ним в глубоком

кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке — ни пятнышка, на поддернутых брюках — ни морщинки; ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах — ехидная улыбочка, огромные черные очки скрывают глаза, над широким низким лбом — черные волосы жестким ежиком.

— По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалование, — сказал он. — Мало того, по-моему, вы еще и саботажник, Дик.

— Чш-ш-ш! — произнес Нунан шепотом. — Ради бога, не так громко.

— В самом деле, — продолжал Валентин. — Я довольно давно слежу за вами: по-моему, вы совсем не работаете...

— Одну минутку! — прервал его Нунан и помахал розовым толстым пальцем. — Как это не работаю? Разве хоть одна рекламация осталась без последствий?

— Не знаю, — сказал Валентин и снова стряхнул пепел. — Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще, а при чем здесь вы, не знаю.

— А вот если бы не я, — возразил Нунан, — хорошее приходило бы реже. Кроме того, вы, ученые, все время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации, и кто вас тогда покрывает? Вот, например...

Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.

— Мистер Нунан? — спросила секретарша. — Вас снова господин Лемхен.

— Соединяйте.

Валентин поднялся, положил потухший окурок в пепельницу, в знак прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел, маленький, прямой, складный.

— Мистер Нунан? — раздался в трубке знакомый медлительный голос.

— Слушаю вас.

— Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.

— Пришла новая партия...

— Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Имеются в виду последние контракты «Мицубиси дэнси». Юридическая сторона.

— К вашим услугам.

— Тогда, если вы не возражаете, минут через тридцать в конторе нашего отделения. Вас устраивает?

— Вполне. Через тридцать минут.

Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошелся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же пустил петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приемную.

— Детка, — сказал он секретарше, — меня понесло по клиентам. Оставляйтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку.

Секретарша расцвела. Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам института. Несколько раз его пытались поймать за полу, он увертывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться и, в конце концов, так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного сержанта.

Над городом висели низкие тучи, парило, первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлек черную круглую палочку этака, вставил ее в аккумуляторное гнездо и задвинул большим

пальцем до щелчка. Потом, поерзав задом, он поудобнее устроился за рулем и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника.

Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. Итак, рапорт получен, думал он. Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я — за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно когда хвалит сам господин Лемхен, через силу. Странное дело, почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? «Он прославился: теперь о нем знали трое». Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человек!.. Похоже, мы любим похвалу как таковую. Как детишки — мороженое. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что, я сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А кстати, что такое это «Г»? Вот тебе и на! И спросить не у кого... Не у господина же Лемхена спрашивать... А, вспомнил! Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льет!

Он вывернул на Центральный проспект и вдруг подумал: до чего сильно вырос городишко за последние годы!.. Экие небоскребы отгрохали... Вот еще один строят. Это что же у нас будет? А, луна-комплекс — лучшие в мире джазы, и варьете, и прочее все для нашего доблестного гарнизона и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки... А окраины пустеют.

Да, хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, десять лет назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны. Пояс пустоты шириной в пятьдесят километров. Ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле планеты заблокирована намертво... И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты!..

А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. «С одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не согласиться». А началось это, кажется, когда сталкеры вынесли из Зоны первые «этаки». Батарейки... Да, кажется, с этого и началось. Особенно когда открылось, что они размножаются. Язва оказалась не такой уж и язвой, и даже не язвой вовсе, а вроде бы сокровищницей... А теперь уже никто и не знает, что это такое — язва ли, сокровищница, адский соблазн, шкатулка Пандоры, черт, дьявол... Пользуются по-маленьку. Двадцать лет пытят, миллиарды ухлопали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают: с одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом восемнадцать градусов, испускает квазитепловые электроны под углом двадцать два градуса... К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить...

Машина катилась мимо особняка Стервятника Барбриджа. Во всех окнах по случаю проливного дождя горел свет, видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах красоти Дины, движутся танцующие пары. Не то спозаранку начали, не то со вчерашнего никак кончить не могут. Мода такая пошла по городу — сутками напролет. Крепких мы вырастили молодцов, выносливых и упорных в своих намерениях...

Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с не приметной вывеской «Юридическая контора Корш, Корш и Саймак». Он вынул и спрятал в карман «этак», снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное мимо швейцара, углубленного в газету, по лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время напрасно

тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет.

Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное генеральское лицо его собралось в складки, означающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть, с трудом обуздываемое желание чихнуть.

— Ну вот и вы, — медленно проговорил он. — Входите, располагайтесь.

Нунан искал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жесткого стула с прямой спинкой, упрятого за стол. Тогда он присел на край стола. Веселое настроение его начало почему-то улетучиваться, он и сам не понимал еще, почему. Вдруг ему стало ясно, что хвалить его не будут. Скорее наоборот. День гнева, философически подумал он и приготовился к худшему.

— Закуривайте, — предложил господин Лемхен, снова опускаясь в кресло.

— Спасибо, не курю.

Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения, соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.

— Полагаю, юридические дела фирмы «Мицубиси дэнси» мы обсуждать с вами не будем, — проговорил он наконец.

Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал:

— Как вам будет угодно!

Сидеть на столе было чертовски неудобно, ноги не доставали до полу.

— С сожалением должен сообщить вам, Ричард, — сказал господин Лемхен, — что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.

— Гм... — произнес Нунан. Начинается, подумал он.

— Вас даже собирались представить к ордену, — продолжал господин Лемхен, — однако я предложил повременить. И правильно сделал. — Он наконец оторвался от созерцания фигуры из десяти пальцев и посмотрел исподлобья на Нунана. — Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность...

— Наверное, у вас были к тому основания, — скучным голосом сказал Нунан.

— Да, были. Что получалось из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована. Вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа. Тоже ваша. Группы «Варр», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было, все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понес большие потери. Я верно изложил ситуацию?

— Во всяком случае, — осторожно начал Нунан, — последние три месяца утечка материалов из Зоны через Хармонт прекратилась... По крайней мере, по моим сведениям, — добавил он.

— Противник отступил, не так ли?



— Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.

— Не так! — сказал господин Лемхен. — Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.

Да провались они, твои награды, думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. В паутину... на чердак я твои награды вешал! Тоже мне моралист, воспитатель! Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело, нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно: где, как и что я прошлепал... Что эти негодяи откололи еще... где, как и какие нашли щели... и без предисловий, я тебе не приготовишка сопливый, мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих орденов сижу...

— Что вы слышали о Золотом шаре? — спросил вдруг господин Лемхен.

Господи, с раздражением подумал Нунан, Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать...

— Золотой шар есть легенда, — скучным голосом доложил он. — Мифическое сооружение в Зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.

— Любых?

— В соответствии с каноническим текстом легенды — любых. Существуют, однако, варианты...

— Так, — произнес господин Лемхен. — А что вы слышали о «смерть-лампе»?

— Восемь лет назад, — скучным голосом затянул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из Зоны некое устройство, представляющее собою,

насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик предлагал этот агрегат институту. В цене они не сошлись, Очкарик ушел в Зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время — неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.

— Все? — спросил господин Лемхен.

— Все, — ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная, смотреть было не на что.

— Так, — сказал Лемхен. — А что вы слышали о «рачьем глазе»?

— О каком глазе?

— О рачьем. Рак. Знаете? — Господин Лемхен постриг воздух двумя пальцами. — С клешнями.

— В первый раз слышу, — сказал Нунан, нахмурившись.

— Ну а что вы знаете о «гремучих салфетках»?

Нунан слез со стола и встал перед Лемхеном, засунув руки в карманы.

— Ничего не знаю, — сказал он. — А вы?

— К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о «рачьем глазе», ни о «гремучих салфетках». А между тем они существуют.

— В моей Зоне? — спросил Нунан.

— Вы сядьте, сядьте, — сказал господин Лемхен, помахивая ладонью. — Наш разговор только начинается. Сядьте.

Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой. «Куда гнет? — лихорадочно думал он. — Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других Зонах, а он меня разыгрывает, скотина. Всегда он меня не любил, старый черт, не может забыть того стишка...»

— Продолжим наш маленький экзамен, — объявил Лемхен, отогнул портьеру и выглянул в окно. — Льет, — сообщил

он. — Люблю. — Он отпустил портьеру, откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил: — Как поживает старый Барбридж?

— Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается. С Зоной не связан. Содержит четыре бара, танцкласс и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь, Дина, ведет рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж.

Господин Лемхен удовлетворенно покивал.

— Отчетливо, — похвалил он. — А что поделявает Креон Мальтиец?

— Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой «Квазимодо», теперь сбывает хабар институту, через меня. Я держу его на свободе: когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет.

— Контакты с Барбриджем?

— Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.

— Очень хорошо, — сказал господин Лемхен. — А что слышно о Рыжем Шухарте?

— Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался эмигрировать, но у него... — Нунан помолчал. — Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до Зоны.

— Все?

— Все.

— Немного, — сказал господин Лемхен. — А как обстоят дела у Счастливого Картера?

— Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от «этаков». Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.

Лемхен покивал.

— Ну кого из стариков я еще забыл? — добродушно осведомился он.

— Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина...

— Да-да, что Гуталин?

— Гуталин все тот же, — сказал Нунан. — У него группа из трех человек. Неделями пропадают в Зоне. Все, что находят, уничтожают на месте. А его общество Воинствующих Ангелов распалось.

— Почему?

— Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в Зону. Дьяволову дьяволу. Теперь скупать стало нечего, а кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.

— Понимаю, — сказал господин Лемхен. — Ну а молодые?

— Что же, молодые... приходят и уходят, есть человек пять-шесть с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю... Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей Зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.

— Да-да, я слышал об этом, — сказал господин Лемхен. — Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь?

— Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать.

— Как скоро?

— Лет через пять-шесть...

Господин Лемхен снова покивал.

— Между прочим, вы, наверное, еще не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.

— В моей Зоне? — повторил Нунан, насторожившись.

— И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиное ущелье, на Черное озеро, к подножию пика Болдер...

— Так ведь это же периферия, — сказал Нунан недоверчиво. — Там пусто, что они там могут найти?

— Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это я для справки, это вас не касается... Резюмируем. Сталкеро-профессионалов в Хармонте почти не осталось. Те, что остались, к Зоне больше отношения не имеют. Молодежь растерянна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из хармонтской Зоны уже три месяца как прекратилась. Так?

Нунан молчал. Сейчас, думал он. Сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видно, пробоина. Ну, давай, давай, старая морковка!.. Не тяни душу...

— Не слышу ответа, — произнес господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.

— Ладно, шеф, — мрачно сказал Нунан. — Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили, подавайте на стол.

Господин Лемхен неопределенно хмыкнул.

— Вам даже нечего мне сказать, — проговорил он с неожиданной горечью. — Ушами вот хлопаete перед начальством, а каково же было мне, когда позавчера... — Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу. — Короче говоря, за последние два месяца, только по имеющимся сведениям, комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных Зон. — Он остановился около сейфа, погладил его по крашеному боку и резко повернулся к Нунану. — Не тешьте себя иллюзиями! — заорал он. — Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки паль-

цев Мальтийца! Отпечатки пальцев Носатого Бен-Галеви, о котором вы даже не сочли нужным упомянуть! Отпечатки пальцев Гундосого Гереша и Карлика Цмыга! Так-то вы приручаете вашу молодежь! «Браслеты»! «Иголки»! «Белые вертячки»! И мало того, какие-то «рачы глаза», какие-то «сучьи погремущки», «гремучие салфетки», черт бы их подрал! — Он снова оборвал себя, вернулся в кресло, опять соединил пальцы и вежливо спросил: — Что вы об этом думаете, Ричард?

Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.

— Ничего не думаю, — просипел он честно. — Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться... Барбридж! Барбридж не имеет никакого отношения к Зоне! Я знаю каждый его шаг! Он устраивает попойки и пикники на озерах, он зашибает хорошие деньги, и ему просто не нужно... Простите, я чепуху, конечно, говорю, но уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы...

— Я вас больше не задерживаю, — сказал господин Лемхен. — Даю неделю сроку. Представьте соображения, каким образом материалы из вашей Зоны попадают в руки Барбриджа... и всех прочих. До свидания!

Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхена и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приемную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана — глаза у него были пустые, обращенные внутрь.

Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошел вон. Такого со мной, пожалуй, еще не бывало, — беспорядочно думал он. Надо же, Носатый Бен-Галеви! Кличку уже успел заработать... Когда? Этаким мальчишка, соплей перешибить можно... Нет, все это не то... Ах ты, животное безрогая, Стервятник! Как же ты меня уел! Без

штанов ведь пустил, как маленького... Как же это могло случиться? Этого же просто не могло случиться! Прямо как тогда, в Сингапуре, — мордой об стол, затылком об стену...

Он сел в автомобиль и некоторое время, ничего не сообщая, шарил по щитку в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени, он снял ее и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану представлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане «этак». Вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, чтоб ты треснул, и вставить в приемное гнездо, и тогда можно будет по крайней мере куда-нибудь поехать — подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква...

Рука Нунана с «этаком» замерла на полпути. Так. С кого начать, я по крайней мере знаю. Вот с него и начну. Ох, как я с него начну! Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием! Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти никого не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь. Ничего. Пусть как в Сингапуре. В конце концов в Сингапуре ведь все кончилось благополучно... Подумаешь, разок мордой об стол! Могло быть и хуже. Могло быть не мордой и не об стол, а об что-нибудь с гвоздями... Ладно, не будем отвлекаться. Где тут мое заведение? Не видно ни черта... Ага, вот оно.

Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой «Метрополь». Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, еще без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед

ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась Мадам и, пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле еще даже не убрали после вчерашнего. Когда Нунан вошел, Мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.

— Хо! — пробасила она. — Никак сам господин Нунан! По девочкам соскучились?

Бенни продолжал жрать, он был глух как пень.

— Привет, старушка! — отозвался Нунан, подходя. — Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?

Бенни наконец заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.

— Здравствуйте, хозяин! — прохрипел он. — Обсудить-ся зашли?

Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не любил разговаривать с Бенни: все время приходилось орать.

— Где мой управляющий, ребята? — спросил он.

— У себя, — ответила Мадам. — Завтра налоги платить.

— Ох уж эти налоги! — сказал Нунан. — Ладно. Мадам, попрошу приготовить мое любимое, я скоро вернусь.

Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору мимо задернутых портьерами стойл, на стенке возле каждого стойла красовалось изображение какого-нибудь цветка, — свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь.

Мосол Катюша восседал за столом и рассматривал в зеркальце зловещую болячку на носу. Плевать ему было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка с ртутной мазью и стакан с прозрачной жидкостью. Мосол Катюша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова,

Нунан опустился в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал:

— Закрой-ка дверь на ключ, голубчик.

Мосол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щелкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой вышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан все рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Мосла Катюши — Рафаэль. Мослом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные и голые, торчащие из густой шерсти, покрывавшей его руки, словно из манжет. Катюшей же он называл себя сам в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.

— Как дела? — спросил он ласково.

— В полном порядке, босс, — поспешно отвечал Рафаэль-Мосол.

— Тот скандал уладил в комендатуре?

— Сто пятьдесят монет выложил. Все довольны.

— Сто пятьдесят с тебя, — сказал Нунан. — Твоя вина, голубчик. Надо было следить.

Мосол сделал несчастное лицо и с покорностью развел огромные ладони.

— Паркет в холле надо бы перестелить, — сказал Нунан.

— Будет сделано.

Нунан помолчал, топорща губы.

— Хабар? — спросил он, понизив голос.

— Есть немножко, — тоже понизив голос, произнес Мосол.

— Покажи.

Мосол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем по-

копался в кучке «черных брызг», взял «браслет», оглядел его со всех сторон и положил обратно.

— Это все? — спросил он.

— Не несут, — виновато сказал Мосол.

— Не несут... — повторил Нунан.

Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Мослу в голень. Мосол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, отшвырнул кресло, схватил Мосла за воротник сорочки и пошел на него, лягаясь, вращая глазами и шепча ругательства. Мосол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.

— На две стороны работаешь, стерва? — шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза. — Стервятник в хабаре купается, а ты мне бусики в бумажечке подносишь?.. — Он развернулся и ударил Мосла по лицу, стараясь зацепить нос с болячкой. — В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь... Сухари жрать будешь... Жалеть будешь, что на свет родился! — он снова с размаху ткнул кулаком в Болячку. — Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свинья волосатая? Говори!

Мосол беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.

— Ну? — сказал он.

Мосол с хлюпаньем втянул носом кровь и сказал:

— Ей-богу, босс... Чего вы? Какой у Стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету...

— Ты что, спорить со мной будешь? — ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.

— Да нет, босс... Ей-богу... — заторопился Мосол. — Да провалиться мне! Какое там спорить! И в мыслях этого нету...



— Вышвырну я тебя, — мрачно произнес Нунан. — Работать не умеешь. На кой черт ты мне, такой-сякой, сдался? Я таких, как ты, на четвертак десяток наберу. Мне настоящий человек нужен при деле.

— Погодите, босс, — рассудительно сказал Мосол, размазывая кровь по лицу. — Что это вы сразу, с налету?... Давайте все-таки разберемся... — Он осторожно потрогал болячку кончиком пальца. — Хабара, говорите, много у Барбриджа? Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Ни у кого сейчас хабара нет. В Зону ведь одни сопляки ходят, так они же не возвращаются. Нет, босс, это вам кто-то врет...

Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Мосол действительно ничего не знает. Да ему и невыгодно было лгать, на Стервятнике много не заработаешь.

— Эти пикники — выгодное дело? — спросил он.

— Пикники? Да не так чтобы очень. Лопатой не загребешь... Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось...

— Где эти пикники устраиваются?

— Устраиваются где? Так в разных местах. У Белой горы, на Горячих источниках бывают, на Радужных озерах...

— А какая клиентура?

— Клиентура какая? — Мосол шмыгнул носом, поморгал и сказал доверительно: — Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против Стервятника вам здесь не посветит.

— Это почему же?

— У Стервятника клиентура: голубые каски — раз. — Мосол принялся загибать пальцы. — Офицеры из комендатуры — два, туристы из «Метрополя», из «Белой лилии», из «Пришельца»... это три. Потом у него уже реклама поставлена, местные ребята тоже к нему ходят... Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочек он нам платит, не то чтобы богато...

— Местные тоже к нему ходят?

— Молодежь, в основном.

— Ну и что там, на пикниках, делается?

— Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музыка... Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на Зону смотреть — ежели у Горячих источников, то до Зоны там рукой подать, прямо за Серной расщелиной... Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они и смотрят в бинокли...

— А местные?

— Местные? Местным это, конечно, не интересно... Так, развлекаются, кто как умеет...

— А Барбридж?

— Так а что Барбридж? Как все, так и Барбридж...

— А ты?

— А что я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и... это... ну, там... Ну, как все, в общем.

— И сколько это все продолжается?

— Когда как. Когда трое суток, а когда и всю неделю.

— И сколько это удовольствие стоит? — спросил Нунан, думая совсем о другом.

Мосол ответил что-то, Нунан его не слышал. Вот она, прореха, думал он. Несколько суток... несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью. И все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина... Нет, тут что-то не то...

— Кто из местных ездит постоянно?

— Из местных? Так я ж говорю — больше молодежь. Ну там Галеви, Ражба... Куренок Цапфа... этот Цмыг... Ну, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что, говорят, посетим «воскресную школу»? Они там

в основном насчет пожилых туристок, неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы...

— «Воскресная школа», — повторил Нунан.

Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. Школа. Он поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Бог с ними, с пикниками. Это не для нас. Но чтоб ты знал: у Стервятника есть хабар, а это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Мосол, ищи, а то выгоню я тебя к чертям собачьим. Откуда он берет хабар, кто ему доставляет, — выясни все и давай на двадцать процентов больше, чем он. Понял?

— Понял, босс. — Мосол уже тоже стоял, руки по швам, на измазанной морде — преданность.

— Да поворачивайся! Мозгами шевели, животное! — заорал вдруг Нунан и вышел.

В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с Мадам насчет падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение, и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни: стар становится мужик, слуха нет, реакция уже не та, не поспевает, как раньше... Было уже шесть часов, хотелось есть, а в мозгу все сверлила, все крутилась неожиданная мыслишка, ни с чем не сообразная и в то же время многое объясняющая. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось, исчез с этого дела раздражающий и пугающий налет мистики, осталась только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности, но главное-то было не в этом, главное было в этой мыслишке, которая все крутилась и крутилась и не давала покоя.

Попрощавшись с Мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал напрямик в «Боржч». Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы, думал он. Плевать на годы, мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, что все меняется, нас с детства учат, что все меняется, мы много раз видели своими

глазами, как все меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством, миллиметр за миллиметром, полз на брюхе по Зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт при галстук, инженер, сидит где-нибудь в километре от Зоны, в зубах сигаретка, возле локтя — стакан с бодрящей смесью, сидит себе и смотрит за экранами. Джентльмен на жалованье. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности — «воскресная школа», например.

И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. Боже мой, подумал он, ведь ничего же у нас не получится! Не удержать, не остановить! Никаких сил не хватит удержать в горшке эту квашню, подумал он с ужасом. Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир у нас тут такой. И человек в этом нашем мире такой. Не было бы Посещения — было бы что-нибудь другое. Свинья грязи найдет...

В «Боржче» было много света и очень вкусно пахло. «Боржч» тоже изменился — ни тебе танцев, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует, и Рэдрик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха, допавшая: солидная постоянная клиентура, весь институт сюда ходит обедать, да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Хорошая старая харчевня.

В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел за чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.

— Разрешите соседствовать? — спросил он.

Валентин поднял на него черные окуляры.

— А, — сказал он. — Прошу.

— Сейчас, только руки помою, — сказал Нунан, вспомнив вдруг болячку.

Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояла маленькая жаровня с дымящимся шураско и высокая кружка пива — не холодного и не теплого, как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе.

— Слушайте, Валентин, — сказал Нунан, отрезая кусочек мяса. — Как вы думаете, чем все это кончится?

— Вы о чем?

— Посещение, Зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча... Чем все это может кончиться?

Валентин долго смотрел на него слепыми черными стеклами. Потом он закурил сигарету и сказал:

— Для кого? Конкретизируйте.

— Ну, скажем, для нашей части планеты.

— Это зависит от того, повезет нам или нет, — сказал Валентин. — Мы теперь знаем, что для нашей части планеты Посещение прошло, в общем, бесследно. Конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь не только у нас, но и на всей планете станет просто невозможной. Это будет невезенье. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. — Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся. — Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом — слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.

— Вы так думаете? — разочарованно произнес Нунан. — Что ж, может быть, и так...

— Скажите по чести, Ричард, — явно развлекаясь, сказал Валентин. — Вот для вас, дельца, что изменилось с Посеще-

нием? Вот вы узнали, что во Вселенной есть еще по крайней мере один разум помимо человеческого. Ну и что?

— Да как вам сказать? — проямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чем здесь было разговаривать. — Что для меня изменилось?.. Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то. Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова и им взбредет в голову остаться? Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос: кто они, как они живут, что им нужно?.. В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? — он оживился. — А если мы все окажемся ненужными? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они, что им было нужно, вернуться или нет?..

— Ответы существуют, — сказал Валентин, усмехаясь. — Их даже очень много, выбирайте любой.

— А сами вы что считаете?

— Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьезно. Для меня Посещение — это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущее технологии. Н-ну, как если бы в лабораторию к Исааку Ньютону попал современный квантовый генератор...

— Ньютон бы ничего не понял.

— Напрасно вы так думаете! Ньютон был очень проницательный человек.

— Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы все-таки толкуете Посещение? Пусть даже несерьезно...

— Хорошо, я вам скажу. Только я должен предупредить вас, Ричард, что ваш вопрос находится в компетенции

псевдонауки под названием ксенология. Ксенология — это некая неестественная помесь научной фантастики с формальной логикой. Основой ее метода является порочный прием — навязывание инопланетному разуму человеческой психологии.

— Почему порочный? — сказал Нунан.

— А потому, что биологи в свое время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Земных животных, заметьте.

— Позвольте, — сказал Нунан. — Это совсем другое дело. Ведь мы говорим о психологии РАЗУМНЫХ существ...

— Да. И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум.

— А разве мы не знаем? — удивился Нунан.

— Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения: разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например: разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки.

— Да, это про нас, про меня, про таких, как я, — горестно согласился Нунан.

— К сожалению. Или, скажем, определение-гипотеза. Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится,

мы благополучно вымрем, — опять же именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть пробовать разные, не предусмотренные жесткой программой варианты.

— Как-то это все у вас получается... унизительно.

— Пожалуйста, тогда еще одно определение, очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира.

Нунан сморщился и замотал головой.

— Нет, — сказал он. — Это не про нас... Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал.

— Я тоже, — сказал Валентин. — Но вся беда в том, что человек, во всяком случае, массовый человек, тот, которого вы имеете в виду, когда говорите «про нас» или «не про нас», — с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая... Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл.

— Погодите, — сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол. — Не отвлекайтесь. Давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?

— Представления не имею, — сказал Валентин веселась. — Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот, если они разумны, они способны к контакту.

И вообще: если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно. Вот так.

— Вот тебе и на, — сказал Нунан. — А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам...

— Разложить по полочкам и обезьяна может, — заметил Валентин.

— Нет, погодите, — сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. — Но если вы таких простых вещей не знаете... Ладно, бог с ним, с разумом. Видно, здесь сам черт ногу сломит. Но насчет Посещения? Что вы все-таки думаете насчет Посещения?

— Пожалуйста, — сказал Валентин. — Представьте себе пикник...

Нунан вздрогнул.

— Как вы сказали?

— Пикник. Представьте себе: лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина, из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фото- и киноаппараты... Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте... ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые, драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян...

— Я понял, — сказал Нунан. — Пикник на обочине.

— Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете: вернутся они или нет?



— Дайте-ка мне закурить, — сказал Нунан. — Черт бы побрал вашу псевдонауку! Как-то я все это не так себе представлял.

— Это ваше право, — заметил Валентин.

— Значит, что же, они нас даже и не заметили?

— Почему?

— Ну, во всяком случае, не обратили на нас внимания...

— Знаете, я бы на вашем месте не огорчился, — посоветовал Валентин.

Нунан затаился, закашлялся, бросил сигарету.

— Все равно, — сказал он упрямо. — Не может быть... Черт бы вас, ученых, подрал! Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его все время стремитесь принизить?..

— Подождите, — сказал Валентин. — Послушайте. «Вы спросите меня: чем велик человек? — процитировал он. — Тем, что создал вторую природу? Что привел в движение силы, почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее».

Наступило молчание. Нунан думал.

— Может быть... — сказал он неуверенно. — Конечно, если с этой точки зрения...

— Да вы не огорчайтесь, — благодушно сказал Валентин. — Пикник — это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картинка... Так называемые серьезные ксенологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого Посещения не было, что Посещение еще только будет. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это?



— Это уже значительно лучше, — сказал Нунан. — Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.

— Или вот. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в Зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к «жестоким чудесам грядущего».

— Вот это я понимаю! — сказал Нунан. — По крайней мере тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Между прочим, ваш пикник эту возню не объясняет.

— Почему же не объясняет? — возразил Валентин. — Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка...

— Ну, это вы бросьте, — решительно сказал Нунан. — Ничего себе медвежонок: земля трясется... Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия! Два пива господам ксенологам!.. А все-таки приятно с вами побеседовать, — сказал он Валентину. — Этакое прочищение мозгов, словно английской соли насыпали под черепушку. А то вот работаешь-работаешь, а зачем, для чего, что будет, что случится, чем сердце успокоится?..

Принесли пива. Нунан отхлебнул, глядя поверх пены, как Валентин с выражением брезгливого сомнения рассматривает свою кружку.

— Что, не нравится? — спросил он, облизывая губы.

— Да я, собственно, не пью, — нерешительно сказал Валентин.

— Ну да? — поразился Нунан.

— Черт возьми! — сказал Валентин и решительно отодвинул кружку. — Закажите мне лучше коньяку, раз так, — сказал он.

— Розалия! — немедленно рявкнул вконец развеселившийся Нунан.

Когда принесли коньяк, он сказал:

— И все-таки так нельзя. Я уж не говорю про ваш пикник — это вообще свинство, — но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Я понимаю: «браслеты», «пустышки»... Но «ведьмин студень» зачем? «Комариные плеши», пух этот отвратительный...

— Простите, — сказал Валентин, выбирая ломтик лимона. — Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?

Нунан засмеялся.

— Это фольклор, — пояснил он. — Рабочий жаргон сталкеров. «Комариные плеши» — это области повышенной гравитации.

— А, гравиконцентраты... Направленная гравитация. Вот об этом я бы поговорил с удовольствием, но вы ничего не поймете.

— Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер...

— Потому что я сам не понимаю, — сказал Валентин. — У меня есть системы уравнений, но как их истолковать — я представления не имею... А «ведьмин студень» — это, вероятно, коллоидный газ?

— Он самый. Слыхали о катастрофе в Карригановских лабораториях?

— Слыхал кое-что, — неохотно отозвался Валентин.

— Эти идиоты поместили фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную... То есть это они думали, что камера предельно изолирована... А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень прошел через металл и пластик, как вода через промокашку, вырвался наружу, и все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло тридцать пять человек, больше ста изувечено, а все здание лаборатории приведено в полную

негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Великолепное сооружение! А теперь студень стек в подвалы и нижние этажи... Вот вам и прелюдия к контакту.

Валентин весь сморщился.

— Да, я знаю все это, — сказал он. — Однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании у нас военно-промышленных комплексов?

— А следовало бы знать! — назидательно ответил Нунан.

— Они сказали бы вам на это: следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.

— И то верно, — согласился Нунан. — Вот бы они и занялись, раз такие могучие.

— То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?

— Гм, — сказал Нунан. — Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну вот, например, вы, ученые. Надеетесь вы получить из Зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни?..

Валентин пожал плечами.

— Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Если исходить из того, что мы уже получили, впереди целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.

— Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?

— Как это ни забавно, довольно мало. Мы обнаружили много чудес. В некоторых случаях мы научились даже использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним... Обезьяна нажимает красную кнопку — получает банан, нажимает белую — апельсин, но, как раздобыть бананы

и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Возьмем, скажем, «этаки». Мы научились ими пользоваться. Мы открыли даже условия, при которых они размножаются делением. Но мы до сих пор не сумели сделать ни одного этака, не понимаем, как они устроены, и, судя по всему, разберемся во всем этом не скоро... Я бы сказал так. Есть объекты, которым мы нашли применение. Мы используем их, хотя почти наверняка не так, как их используют пришельцы. Я совершенно уверен, что в подавляющем большинстве случаев мы забиваем микроскопами гвозди. Но все-таки кое-что мы применяем: «этаки», «браслеты», стимулирующие жизненные процессы... Различные типы квазибиологических масс, которые произвели такой переворот в медицине... Мы получили новые транквилизаторы, новые типы минеральных удобрений, переворот в агрономии... В общем, что я вам перечисляю! Вы знаете все это не хуже меня — браслетик, я вижу, сами носите... Назовем эту группу объектов полезными. Можно сказать, что в какой-то степени человечество ими облагодетельствовано, хотя никогда не следует забывать, что в нашем евклидовом мире всякая палка имеет два конца...

— Нежелательные применения? — вставил Нунан.

— Вот именно. Скажем, применение этаков в военной промышленности... Я не об этом. Действие каждого полезного объекта нами более или менее изучено, более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через пятьдесят мы сами научимся изготавливать эти королевские печати и тогда вволю будем колоть ими орехи. Сложнее обстоит дело с другой группой объектов, сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Например, магнитные ловушки разных типов. Мы понимаем, что это магнитная ловушка, Панов это очень

остроумно доказал. Но мы не понимаем, где источник такого мощного магнитного поля, в чем причина его сверхстойчивости... ничего не понимаем. Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или К-23... Как вы их называете, эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?

— «Черные брызги», — сказал Нунан.

— Вот-вот, «черные брызги»... Хорошее название... Ну, вы знаете про их свойства. Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой, причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего... Что это такое? Почему? Есть безумная идея, будто эти ваши «черные брызги» — суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наше, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства... — Валентин вытащил сигарету и закурил. — Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. Это свалившиеся с неба ответы на вопросы, которые мы еще не умеем задать. Упомянутый выше сэр Исаак, может быть, и не разобрался бы в лазере, но он, во всяком случае, понял бы, что такая вещь возможна, и это очень сильно повлияло бы на его научное мировоззрение. Я не буду вдаваться в подробности, но существование таких объектов, как магнитные ловушки, К-23, «белое кольцо», разом зачеркнуло целое поле недавно процветавших теорий и вызвало к жизни совершенно новые идеи. А ведь есть еще третья группа...

— Да, — сказал Нунан, — «ведьмин студень» и прочие прелести...

— Нет-нет. Все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. Я имею в виду объекты, о которых мы ничего не знаем или знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. То, что уволокли у нас из-под носа сталкеры, — продали неизвестно кому, припрятали. То, о чем они молчат. Легенды и полулегенды: «машина желаний», «бродяга Дик», «веселые призраки»...

— Минуточку, минуточку, — сказал Нунан. — Это еще что такое? «Машина желаний» — понимаю...

Валентин засмеялся.

— Видите, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. «Бродяга Дик» — это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А «веселые призраки» — это некая опасная турбулентция, имеющая место в некоторых районах Зоны.

— Первый раз слышу, — сказал Нунан.

— Вы понимаете, Ричард, — сказал Валентин, — мы ковыряемся в Зоне два десятка лет, но мы не знаем и тысячной доли того, что она содержит. А если уж говорить о воздействии Зоны на человека... Вот, кстати, тут нам придется ввести в классификацию еще одну, четвертую группу. Уже не объектов, а воздействий. Эта группа изучена безобразно плохо, хотя фактов накопилось, на мой взгляд, более чем достаточно. И вы знаете, Ричард, меня иногда мороз продирает по коже, когда я думаю об этих фактах.

— Живые покойники... — пробормотал Нунан.

— Что? А... Нет, это загадочно, но не более того. Как бы это сказать... Это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, внебиологические явления...

— А, вы имеете в виду эмигрантов...

— Вот именно. Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайными

величинами. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная...

Валентин, по-видимому, слегка охмелел. Он стал говорить громче, щеки его порозовели, а брови над черными окулярами высоко задрались, сминая лоб в гармошку.

— Люблю непьющих, — с иронией сказал Нунан.

— Не отвлекайтесь! — сказал Валентин строго. — Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. — Он поднял рюмку, разом отхлебнул половину и продолжал: — Мы не знаем, что произошло с бедными хармонтцами в самый момент Посещения. Но вот один из них решил эмигрировать. Какой-нибудь обыкновеннейший обыватель. Парикмахер. Сын парикмахера и внук парикмахера. Он переезжает, скажем, в Детройт. Открывает парикмахерскую, и начинается чертов бред. Более девяноста процентов его клиентуры погибает на протяжении года: гибнут в автомобильных катастрофах, вываливаются из окон, вырезаются гангстерами и хулиганами, тонут на мелких местах, и так далее, и так далее. Возрастает количество стихийных бедствий в Детройте и его окрестностях. Откуда-то берутся смерчи и тайфуны, которых в этих местах не видывали с тысяча семьсот забытого года. Ну и все в таком же роде. И такие катаклизмы происходят в любом городе, в любой местности, где селится эмигрант из района Посещения, и количество этих катаклизмов прямо пропорционально числу эмигрантов, поселившихся в данном месте. И заметьте, подобное действие оказывают только те эмигранты, которые пережили само Посещение. Родившиеся после Посещения на статистику несчастных случаев никакого влияния не оказывают. Вы прожили здесь десять лет, но вы приехали после Посещения, и вас без опаски можно селить хоть в Ватикане. Как объяснить такое? От чего нужно отказаться — от статистики? Или от здравого смысла? — Валентин схватил рюмку и залпом допил ее.



Ричард Нунан почесал за ухом.

— М-да, — сказал он. — Я вообще-то наслышан о таких вещах, но я, честно говоря, всегда полагал, что все это, мягко выражаясь, несколько преувеличено... Действительно, с точки зрения нашей могучей позитивистской науки...

— Или, скажем, мутагенное воздействие Зоны, — прервал его Валентин. Он снял очки и уставился на Нунана черными подслеповатыми глазами. — Все люди, которые достаточно долго общаются с Зоной, подвергаются изменениям как фенотипическим, так и генотипическим. Вы знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. Почему? Где мутагенный фактор? Радиации в Зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в Зоне хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. Что же, мне в таких условиях в колдовство начать верить? В дурной глаз?

— Я вам сочувствую в ваших метаниях, — ответил Нунан. — Но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники действуют на нервы гораздо сильнее, чем данные статистики. Тем более что данных статистики я никогда не видел, а покойников и видел, и обонял предостаточно...

Валентин легкомысленно махнул рукой.

— А, покойники ваши... — сказал он. — Слушайте, Ричард, вам не стыдно? Вы же все-таки человек с образованием... Во-первых, никакие они не покойники. Это же муляжи... реконструкции по скелету... чучела... А потом, уверяю вас: с точки зрения фундаментальных принципов эти ваши муляжи не более и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы. Просто «этаки» нарушают первый принцип термодинамики, а муляжи — второй, вот и вся разница. Все мы в каком-то смысле пещерные люди, ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А между тем нарушение принципа причинности — гораздо более страшная

вещь, чем целые стада привидений... И всяких там чудовищ Рубинштейна... или Валленштейна?

— Франкенштейна.

— Да, конечно, Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта. Или дочь. — Он вдруг засмеялся. — У этих ваших муляжей есть одно любопытное свойство: автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать какую-то часть, и она будет жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов... Так вот, недавно доставили в институт одного такого... Это мне лаборант Бойда рассказывал... — Валентин захохотал.

— А не пора ли нам по домам, Валентин? — сказал Нунан, глядя на часы. — У меня есть еще одно важное дело.

— Пойдемте, — сказал Валентин, тщетно пытаясь попасть лицом в оправу очков и, наконец, взяв очки в обе руки и старательно водрузив их на место. — У вас машина?

— Да, я вас завезу.

Они расплатились и направились к выходу. Валентин то и дело с размаху прикладывал палец к виску, приветствуя знакомых лаборантов, которые с любопытством наблюдали за светилom мировой физики. У самого выхода, приветствуя расплывшегося в улыбке швейцара, он сшиб с себя очки, и все трое кинулись их ловить.

— У меня завтра эксперимент. Вы знаете, любопытная вещь... — приговаривал Валентин, влезая в «Пежо».

И он принялся рассказывать о завтрашнем эксперименте. Нунан отвез его в научный городок.

А ведь они тоже боятся, думал он, снова усаживаясь в «Пежо». Боятся, высоколобые... Да так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы, простые обыватели, вместе взятые. Ведь мы просто ничего не понимаем, а они по крайней мере понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно



им туда спускаться, — сердце заходится, но спускаться надо, а как спускаться, что там на дне и, главное, можно ли будет потом выбраться?.. А мы, грешные, смотрим, так сказать, в другую сторону. Слушай, а может быть, так и надо? Пусть оно идет все своим чередом, а мы уж проживем как-нибудь. Правильно он сказал: самый героический поступок человечества — это то, что оно выжило и намерено выжить дальше... А все-таки черт бы вас подрал, сказал он пришельцам. Не могли устроить свой пикник в другом месте. На Луне, например... Или на Марсе. Такая же вы равнодушная дрянь, как и все, хоть и научились свертывать пространство. Пикник, видите ли, устроили. Пикник...

«Как же мне получше обойтись с моими пикниками?» — думал он, медленно ведя «Пежо» по ярко освещенным мокрым улицам. Как бы половчее все это проверить? По принципу наименьшего действия. Как в механике. На кой черт мне такой-сякой инженерный диплом, если я не могу придумать, как мне половчее ущучить этого безногого мерзавца...

Он остановил машину перед домом, где жил Рэдрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Потом он вынул «этак», вылез из машины и только тут обратил внимание, что дом выглядит нежилым. Почти все окна были темные, в скверике никого не было, и даже фонари там не горели. Это напомнило ему, что он сейчас увидит, и он зябко поежился. Ему даже пришло в голову, что, может быть, имеет смысл вызвать Рэдрика по телефону и побеседовать с ним в машине или в какой-нибудь тихой пивнушке, но он отогнал эту мысль. По целому ряду причин. И, кроме всего прочего, сказал он себе, давай-ка не будем уподобляться всем этим жалким типам, которые разбежались отсюда, как тараканы, ошпаренные кипятком.

Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно не метенной лестнице. Вокруг стояла нежилая тишина, многие двери, выходящие на лестничные площадки, были приотворены или даже распахнуты настежь — из темных прихожих

тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Он остановился перед дверью квартиры Рэдрика, пригладил волосы за ушами, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Некоторое время за дверью было тихо, потом там скрипнули половицы, щелкнул замок, и дверь тихо приоткрылась. Шагов он так и не услышал.

На пороге стояла Мартышка, дочь Рэдрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет, и в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев, но потом она отступила в глубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло.

— Здравствуй, Мария, — сказал он, стараясь говорить как можно ласковее. — Как поживаешь, Мартышка?

Она не ответила. Она молчала и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него исподлобья. Похоже, она не узнавала его. Да и он, честно говоря, не узнавал ее. Зона, подумал он. Дрянь...

— Кто там? — спросила Гута, выглядывая из кухни. — Господи, Дик! Где вы пропадали? Вы знаете, Рэдрик вернулся!

Она поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем, переброшенным через плечо, — все такая же красивая, энергичная, сильная, только вот подтянуло ее как-то: лицо осунулось, и глаза были какие-то... лихорадочные, что ли?

Он поцеловал ее в щеку, отдал ей плащ и шляпу и сказал:

— Наслышаны, наслышаны... Все времени никак не мог выбрать забежать. Дома он?

— Дома, — сказала Гута. — У него там один... Скоро уйдет, наверное, они давно уже сидят. Проходите, Дик...

Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Муляж. Неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый свет от абажура падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого

дерева, ввалившийся безгубый рот, остановившиеся, без блеска, глаза. И сейчас же Нунан почувствовал запах. Он знал, что это игра воображения, запах бывал только первые дни, а потом исчезал напрочь, но Ричард Нунан чувствовал его как бы памятью — душный, тяжелый запах разрытой земли.

— А то пойдете на кухню, — поспешно сказала Гута. — Я там ужин готовлю, заодно поболтаем.

— Да, конечно, — сказал Нунан бодро. — Столько не виделись!.. Вы еще не забыли, что я люблю выпить перед ужином?

Они прошли на кухню, Гута сразу же открыла холодильник, а Нунан уселся за стол и огляделся. Как всегда, здесь все было чисто, все блестело, над кастрюльками поднимался пар. Плита была новая, полуавтомат, значит, деньги в доме были.

— Ну как он? — спросил Нунан.

— Да все такой же, — ответила Гута. — Похудел в тюрьме, но сейчас уже отъелся.

— Рыжий?

— Еще бы!

— Злой?

— А как же! Это у него уж до смерти.

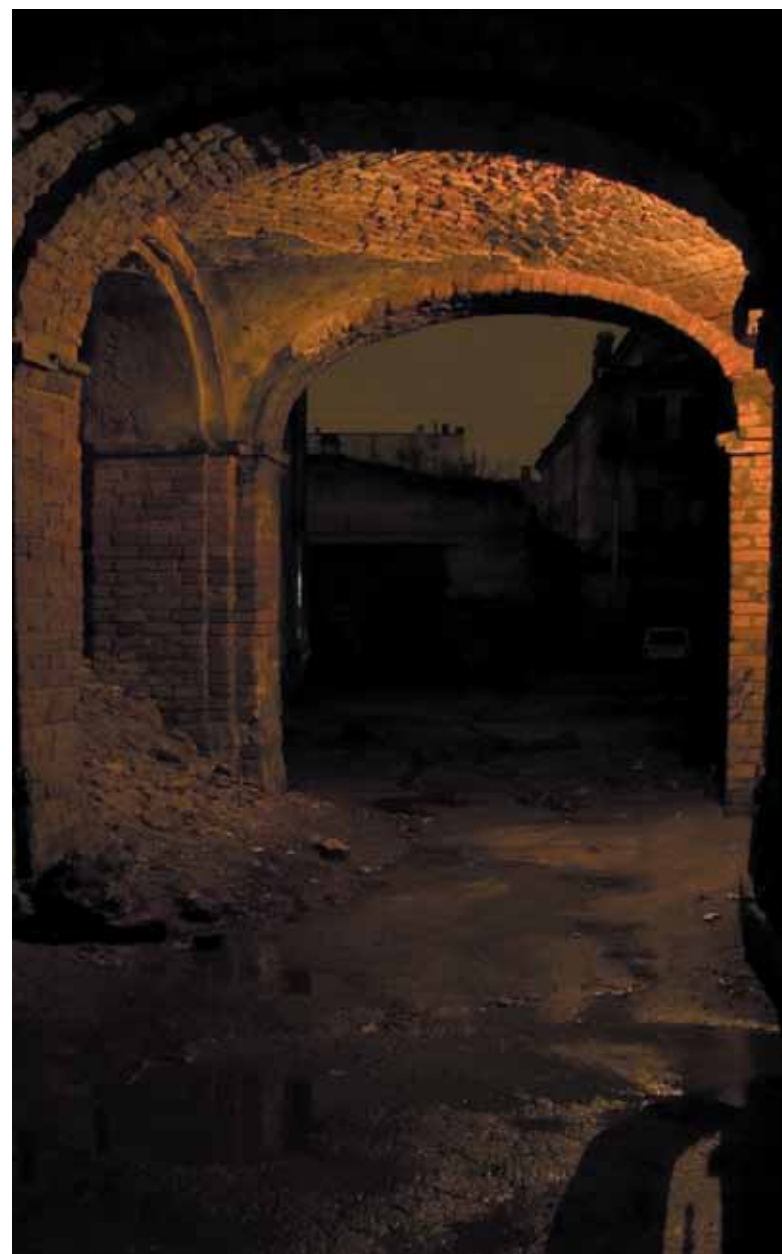
Гута поставила перед ним стакан «Кровавой Мэри» — прозрачный слой русской водки словно бы висел над слоем томатного сока.

— Немного? — спросила она.

— В самый раз. — Нунан влил в себя смесь. Он вспомнил, что, по сути дела, за весь день впервые выпил нечто существенное. — Вот это другое дело, — сказал он.

— У вас все хорошо? — спросила Гута. — Что вы так долго не заходили?

— Проклятые дела, — сказал Нунан. — Каждую неделю собирался зайти или хотя бы позвонить, но сначала пришлось ехать в Рексополис, потом скандал один начался, потом мне говорят: «Рэдрик вернулся», — ладно, думаю, зачем мешать...



В общем, завертелся я, Гута. Я иногда спрашиваю себя: какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?..

Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить, и снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы, как тогда, когда Рэдрика только что осудили и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег, — первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался — откуда, но он продолжал приходить, приносил Мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Рэдрика, а потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал, наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь Рыжий вернется, он вам все кости переломает...» — ничего не помогало.

— А как поживает ваша девушка? — спросила Гута.

— Которая?

— Ну, с которой вы заходили тогда... беленькая такая...

— Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Вышла замуж и уволилась.

— Жениться вам надо, Дик, — сказала Гута. — Хотите, невесту найду?

Нунан хотел было ответить, как обычно: «Мартышка вот подрастет...», но вовремя остановился. Сейчас это бы уже не прозвучало.

— Стенографистка мне нужна, а не жена, — проворчал он. — Бросайте вы своего рыжего дьявола и идите ко мне в стенографистки. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает.

— Еще бы, — сказала она. — Всю руку тогда об него отбила.

— Ах, даже так? — Нунан сделал вид, что удивлен. — Ай да Гаррис!

— Господи! — сказала Гута. — Да он мне проходу не давал! Я только одного боялась, как бы Рэд не узнал.

Бесшумно вошла Мартышка — возникла в дверях, посмотрела на кастрюли, на Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.

— Ну что, Мартышка, — сказал бодро Ричард Нунан. — Шоколадку хочешь?

Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетике и протянул девочке. Она не пошевелилась. Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У нее вдруг побелели губы.

— Да, Гута, — бодро сказал Нунан. — А я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от института все-таки далеко...

— Она уже почти ничего не понимает, — тихо сказала Гута, и он оборвал себя, взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах. — Вы вот не спрашиваете, как мы живем, — продолжала она, — и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик, нам от вас скрывать ничего. Да и не скроешь!

— У врача были? — спросил Нунан, не поднимая глаз.

— Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал... — она замолчала.

Он тоже молчал. Не о чем тут было говорить и не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль: это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту — вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела наших детей и изменяют их по своему образу и подобию. Ему стало зябко, но он тут же вспомнил, что уже читал о чем-то

подобном, какой-то покетбук в яркой глянцевой обложке, и от этого воспоминания ему полегчало. Придумать можно все что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают.

— А один сказал, что она уже не человек, — проговорила Гута.

— Вздор, — глухо сказал Нунан. — Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам прием...

— Это к Мяснику? — она нервно засмеялась. — Не надо, Дик, спасибо. Это он и сказал. Видно, судьба.

Когда Нунан снова осмелился поднять глаза, Мартышки уже не было, а Гута сидела неподвижно, рот у нее был приоткрыт, глаза пустые, и на сигарете в ее пальцах вырос длинный кривой столбик серого пепла. Тогда он толкнул к ней по столу стакан и проговорил:

— Сделай-ка мне еще одну порцию, детка... и себе сделай. И выпьем.

Она уронила пепел, поискала глазами, куда бросить окурок, и бросила в мойку.

— За что? — проговорила она. — Вот я чего не понимаю! Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе...

Нунан подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала, открыла холодильник, достала водку и сок и сняла с полки второй стакан.

— Вы все-таки не отчаивайтесь, — сказал Нунан. — Нет на свете ничего такого, что нельзя исправить. И вы мне поверьте, Гута, у меня очень большие связи. Все, что смогу, я сделаю...

Сейчас он сам верил в то, что говорил, и уже перебирал в уме имена, связи и города, и ему уже казалось, будто о подобных случаях он что-то где-то слышал, и вроде бы все кончилось благополучно, надо только сообразить, где это было и кто

лечил, но тут он вспомнил, зачем он сюда пришел, и вспомнил господина Лемхена, и вспомнил, для чего он подружился с Гуттой, и ему больше не захотелось думать ни о чем, и он отогнал от себя все связные мысли, сел поудобнее, расслабился и стал ждать, пока ему поднесут выпивку.

В это время в прихожей послышались шаркающие шаги, постукивание, и отвратительный, особенно сейчас, голос Стервятника Барбриджа прогундосил:

— Э, Рыжий! А к твоей Гуте, видать, кто-то заглянул, шляпа... Я б на твоём месте это дело так не оставил...

И голос Рэдрика:

— Береги протезы, Стервятник. Прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора.

И Барбридж:

— Тьфу ты, господи, пошутить уже нельзя!

И Рэдрик:

— Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай, мотай, не задерживай!

Щелкнул замок, и голоса стали тише — очевидно, оба вышли на лестничную площадку. Барбридж что-то сказал вполголоса, и Рэдрик ему ответил: «Все, все, поговорили!» Снова ворчание Барбриджа и резкий голос Рэдрика: «Сказал — все!» Ахнула дверь, простучали быстрые шаги в прихожей, и на пороге кухни появился Рэдрик Шухарт. Нунан поднялся ему навстречу, и они крепко пожали друг другу руки.

— Я так и знал, что это ты, — сказал Рэдрик, оглядывая Нунана быстрыми зеленоватыми глазами. — У-у, растолстел, толстяк! Все загрибок в барах нагуливаешь... Эге! Да вы тут, я вижу, весело время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять...

— Да мы еще и не начали, — сказал Нунан. — Мы только собирались. От тебя разве убежишь!

Рэдрик резко засмеялся, ткнул Нунана кулаком в плечо.

— А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит! Пошли, пошли, что мы здесь на кухне! Гута, тащи ужин...

Он нырнул в холодильник и снова выпрямился, держа в руке бутылку с цветной наклейкой.

— Пировать будем! — объявил он. — Надо как следует угостить лучшего друга Ричарда Нунана, который не покидает своих в беде! Хотя пользы ему от этого никакой. Эх, Гута-лина нет, жалко...

— А ты позвони ему, — предложил Нунан.

Рэдрик помотал ярко-рыжей головой.

— Туда еще телефон не провели, куда ему сейчас звонить. Ну пошли, пошли...

Он первым вошел в гостиную и грохнул бутылку на стол.

— Пировать будем, папаня! — сказал он неподвижному старику. — Это вот Ричард Нунан, наш друг! Дик, а это папаня мой, Шухарт-старший...

Ричард Нунан, собравшись мысленно в непроницаемый комок, раздвинул рот до ушей, потряс в воздухе ладонью и сказал в сторону муляжа:

— Очень рад, мистер Шухарт. Как поживаете?.. Мы ведь знакомы, Рэд, — сказал он Шухарту-младшему, который копался в баре. — Мы один раз уже виделись, мельком, правда...

— Садись, — сказал ему Рэдрик, кивая на стул напротив старика. — Ты, если будешь с ним говорить, говори громче: он не слышит ничего.

Он расставил бокалы, быстро откупорил бутылки и сказал Нунану:

— Разливай. Папане немного, на самое донышко...

Нунан неторопливо принялся разливать. Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. А Нунан уже переключился

на новую ситуацию. Это была игра, страшная и жалкая. Игру разыгрывал Рэдрик, и он включился в эту игру, как всю жизнь включался в чужие игры, и страшные, и жалкие, и стыдные, и дикие, и гораздо более опасные, чем эта. Рэдрик, подняв свой бокал, произнес: «Ну что, понеслись?» — и Нунан совершенно естественным образом взглянул на старика, а Рэдрик нетерпеливо позвякал своим бокалом о бокал Нунана и сказал: «Понеслись, понеслись...», и тогда Нунан тоже совершенно естественно кивнул, и они выпили.

Рэдрик, блестя глазами, заговорил все в том же возбужденном, немного искусственном тоне:

— Все, браток! Больше меня тюрьма не увидит. Если бы ты знал, милый мой, до чего же дома хорошо! Деньги есть, я себе хороший коттедж присмотрел, с садом будем, не хуже, чем у Стервятника... Ты знаешь, я ведь эмигрировать хотел, еще в тюрьме решил. Ради чего такого я в этом вшивом городишке сижу? Да провались, думаю, все пропадом. Возвращаюсь — привет, запретили эмиграцию! Да что мы, чумные какие-нибудь сделали за эти два года?..

Он говорил и говорил, а Нунан кивал, прихлебывая виски, вставлял сочувственные ругательства, риторические вопросы, потом принялся расспрашивать про коттедж: что за коттедж, где, за какую цену? — и они с Рэдриком поспорили. Нунан доказывал, что коттедж дорогой и в неудобном месте, он вытащил записную книжку, принялся листать ее и называть адреса заброшенных коттеджей, которые отдадут за бесценок, а ремонт обойдется всего ничего, если подать заявление об эмиграции, получить от властей отказ и потребовать компенсацию.

— Ты, я вижу, уже и недвижимостью занялся, — сказал Рэдрик.

— А я всем понемножку занимаюсь, — ответил Нунан и подмигнул.

— Знаю, знаю, слышан о твоих аферах!

Нунан сделал большие глаза, приложил палец к губам и кивнул в сторону кухни.

— Да ладно, все это знают, — сказал Рэдрик. — Деньги не пахнут. Теперь-то я это точно понял... Но Мосла ты себе подобрал в управляющие, — я животики надорвал, когда услышал! Пустил, понимаешь, козла в огород... Он же псих, я его с детства знаю!

Тут старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом, сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу. Рэдрик замолчал и посмотрел на него. В лице его что-то дрогнуло, и Нунан с изумлением увидел на этой конопатой хищной физиономии самую настоящую, самую неподдельную любовь и нежность.

— Пейте, папаша, пейте, — ласково сказал Рэдрик. — Немножко можно, пейте на здоровье... Ничего, — вполголоса сказал он Нунану, заговорщически подмигивая. — Он до этого стаканчика доберется, будь покоен...

Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бойда явились сюда за этим муляжом. Лаборантов было двое, оба крепкие современные парни, спортсмены и все такое, и еще был врач из городской больницы и при нем двое санитаров, людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Потом один из лаборантов рассказывал, что «этот рыжий» сначала вроде не понял, о чем идет речь, впустил в квартиру, дал осмотреть отца, и, наверное, старика так бы и увезли, потому что Рэдрик, похоже, вообразил, будто папаню кладут в больницу на профилактику. Но эти болваны-санитары, которые в ходе предварительных переговоров торчали в прихожей и подглядывали за Гутой, как она моет в кухне окна, взялись, когда их позвали,

за старика как за бревно — поволокли, уронили на пол. Рэдрик взбесился, и тут вылез вперед болван-врач и стал обстоятельно разъяснять, что, куда, и зачем. Рэдрик послушал его минуту или две, а потом вдруг без всякого предупреждения взорвался, как водородная бомба. Рассказывавший все это лаборант и сам не помнит, как он очутился на улице. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых, причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспмятстве, а остальных троих Рэдрик гнал по улице четыре квартала, после чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стекла — шофера в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении...

— ...Мне тут в одном баре новый коктейль показали, — говорил Рэдрик, разливая виски. — «Ведьмин студень» называется, я тебе потом сделаю, когда поедем. Это, брат, такая вещь, что на пустое брюхо принимать опасно для жизни: руки-ноги отнимаются с одной порции... Ты как хочешь, Дик, а я тебя сегодня угощу на славу, право же, угощу. Старые добрые времена вспомним, «Боржч» вспомним... Бедняга-то Эрн до сих пор сидит, знаешь? — Он выпил, вытер губы тыльной стороной ладони и спросил небрежно: — А что там, в институте, за «ведьмин студень» еще не взялись? Я, знаешь ли, от науки слегка поотстал...

Нунан сразу понял, почему Рэдрик заводит разговор на эту тему. Он всплеснул руками и сказал:

— Что ты, дружище! С этим «студнем» знаешь какая штука случилась? Про Карригановские лаборатории слышал? Есть такая частная лавочка... Так вот, раздобыли они порцию «студня»...

Он рассказал про катастрофу, про скандал, что концов так и не нашли, откуда взялся «студень» — так и не выяснили,

а Рэдрик слушал вроде бы рассеянно, цокал языком, качал головой, а потом решительно плеснул еще виски в бокалы и сказал:

— Так им и надо, паразитам, чтоб они сдохли...

Они выпили, Рэдрик посмотрел на папаню, снова в его лице дрогнуло, он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам, и пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко.

— Вот так оно дело быстрее пойдет, — сказал Рэдрик. — Гута! — заорал он. — Долго ты нас будешь голодом морить?.. Это она для тебя старается, — объяснил он Нунану. — Обязательно твой любимый салат готовит, с моллюсками, она их давно припасла, я видел... Ну а как вообще в институте дела? Нашли что-нибудь новенькое? У вас там, говорят, теперь всю автоматы работают, да мало вырабатывают.

Нунан принялся рассказывать про институтские дела, и пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла Мартышка, постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к муляжу и положила голову ему на плечо. И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения Зоны: господи, да что же еще? Что же еще нужно с нами сделать, чтобы нас наконец проняло? Неужели этого вот мало?.. Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать, а если и узнают, то поужасаются десять минут и снова вернутся на круги своя. Надо уходить, подумал он с остервенением. К черту Барбриджа, к черту Лемхена... семью эту, богом проклятую, к черту.

— Ты чего на них уставился? — негромко спросил Рэдрик. — Ты не беспокойся, это ей не вредно. Даже наоборот — говорят, от них здоровье исходит.

— Да, я знаю, — сказал Нунан и залпом осушил бокал.

Вошла Гута, деловито приказала Рэдрику расставлять тарелки и поставила на стол большую серебряную миску с любимым салатом Нунана. И тут старик, словно кто-то спохватился и дернул за ниточки, одним движением вскинул бокал к открывшемуся рту.

— Ну, ребята, — сказал Рэдрик восхищенным голосом, — теперь у нас пойдет пирушка на славу!

*4. Рэдрик Шухарт,
31 год*

За НОЧЬ долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Рэдрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, которые они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток «зеленки», обтекавшей холм и исчезающей в овраге.

По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана, но Рэдрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, что, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди — состав вагонеток, и вот тогда начнется самое дело.



Рэдрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. Тяжелый, гад, как я с ним поползу? Полтора километра на карачках... Ладно, не гунди, сталкер, знал, на что идешь. Пятьсот тысяч монет дожидаются в конце дороги, можно и попотеть. Пятьсот тысяч, лакомый ломоть, а? Черта я им отдам меньше чем за пятьсот тысяч. И черта я дам Стервятнику больше тридцати. А сопляку... а сопляку — ничего. Если старый гад хоть полправды сказал, то сопляку — ничего.

Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время прищурясь смотрел, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобедрый, и длинные воронье, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. Сам напросился, угрюмо подумал Рэдрик. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прямо дрожал весь, слезы на глазах... «Возьмите меня, мистер Шухарт! Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами, они ведь все никуда не годятся! Отец... но ведь он теперь не может!» Рэдрик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно, и, может быть, поэтому он стал думать о сестре Артура. Просто уму непостижимо: такая роскошная женщина, а на самом деле — пустышка, обман, кукла неживая, а не женщина. Как, помнится, пуговицы на кофте у матери — янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости, и он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании, даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти, стоило ему их снова увидеть.

А может быть, папахен его ко мне подослал, подумал он об Артуре. Вон у него какая пушка в заднем кармане... Нет, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной

шутки плохи. И знает, какой я в Зоне. Нет, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил, другие и на колени становились... А пушки они все с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень! Вот ведь что получается, Стервятник, по последнему. Да, папахен, узнал бы ты про эту его затею, так бы его костылями отделал, сыночка своего, в Зоне вымоленного... Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть — недалеко уже, метрах в тридцати-сорока.

— Стой, — сказал он Артуру.

Парень послушно замер на месте. Реакция у него была хорошая — он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил ее на землю. Рэдрик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное. Безопасное. Рэдрик осторожно потянул ноздрями воздух. Да. Безопасное.

— Вперед, — сказал он негромко, подождал, пока Артур сделает шаг, и двинулся за ним.

Краем глаза он видел лицо Артура, точеный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками.

Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.

— Все, — сказал Рэдрик и стал стягивать рюкзак. — Садись, где стоишь. Перекур.

Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс, Рэдрик отстегнул один из клапанов, достал сверток с едой и термос с кофе и, пока Артур разворачивал сверток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков.

— Глотнешь? — предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. — Для храбрости...

Артур обиженно помотал головой.

— Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт, — сказал он. — Я лучше кофе, если разрешите. Сыро здесь очень, правда?

— Сыро, — согласился Рэдрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. — Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было — страшное дело...

Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой, сладкий. Пить его сейчас было даже приятнее, чем спиртное. От него пахло домом, Гуттой. И не просто Гуттой, а Гуттой в халатике, прямо со сна, с еще сохранившимся рубцом от подушки на щеке. Зря я в это дело впутался, подумал он. Пятьсот тысяч... А на кой мне эти пятьсот тысяч? Бар я на них покупать собираюсь, что ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать. Это правильно. Это Дик верно сказал. Дом есть, сад есть, без работы в Хармонте не останешься... Завел меня Стервятник, завел, как молоденького...

— Мистер Шухарт, — сказал вдруг Артур, глядя в сторону. — А вы серьезно верите, что эта штука исполняет желания?

— Чепуха! — рассеянно произнес Рэдрик и замер с поднесенным ко рту стаканчиком. — А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?

Артур смущенно засмеялся, запустил пятерню в вороные волосы, подергал и сказал:

— Да вот догадался!.. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль... Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот Золотой шар, а последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам, а я ведь знаю, никакие вы не друзья, что бы там отец ни говорил... Потом, он странный



какой-то стал в последнее время... — Артур снова засмеялся и покрутил головой, что-то вспоминая. — А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижабль... — Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свернутая оболочка воздушного шара. — Честно говоря, я вас тогда выследил, и когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в Зоне, кроме Золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. — Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорил с набитым ртом: — Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять, он же, наверное, гладкий...

Рэдрик все смотрел на него поверх стаканчика и думал, до чего же они не похожи друг на друга: отец и сын. Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У Стервятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то, но когда он об этом говорил, то говорил здорово. Нельзя его было не слушать. «Рыжий, — говорил он тогда, перегнувшись через стол. — Нас ведь двое осталось всего, да на двоих две ноги, и обе твои... Кому же, как не тебе? Это же, может, самое ценное, что в Зоне есть! Кому ж достанется, а? Неужто этим чистоплюям достанется, с ихними машинами? Ведь я его нашел, я! Сколько там наших по дороге полегло! А нашел я! Себе берег. И сейчас никому бы не отдал, да руки, видишь, коротки стали... Кроме тебя — некому. Сколько я разных молкососов натаскивал, целую школу, понимаешь, для них открыл, — не могут, кость не та... Ну ладно, ты не веришь. Не веришь — не надо. Тебе — деньги. Дашь мне, сколько сам захочешь, я знаю, ты не обидишь... А я, может, ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты? Зона ведь ноги у меня отобрала, так, может, Зона и отдаст?..»

— Что? — спросил Рэдрик, очнувшись.

— Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Кури, кури... Я тоже закурю.

Он залпом допил остаток кофе, вытащил сигарету и, разминая ее, уставился в редяющий туман. Псих, подумал он. Сумасшедший же. Ноги ему... стервецу...

От всех этих разговоров копился в душе какой-то осадок, непонятно какой. И он не растворялся со временем, а, наоборот, все копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало, словно он чем-то заразился от Стервятника, но не гадостью какой-нибудь, а наоборот... Силой, что ли? Нет, не силой. А чем же тогда? Ну ладно, сказал он себе. Давай так: предположим, не дошел я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-то случилось... Сцапали меня, например. Плохо было бы? Определенно плохо. Почему плохо? Деньги пропали? Да нет, не в деньгах дело... Что добро этим гадам достанется, Хрипатым да Костлявым? Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что? Все равно в конце концов все им достанется...

— Бр-р-р... — Артур передернул плечами. — До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок?

Рэдрик молча достал флягу и протянул ему. А ведь я не сразу согласился, подумал он вдруг. Двадцать раз я посылал Стервятника подальше, а на двадцать первый все-таки согласился. Как-то мне неважно стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. «Здорово, Рыжий. Я вот карту принес. Может, все-таки посмотришь?» А я посмотрел ему в глаза, а глаза у него как нарывы — желтые с черной точкой, и я сказал: «Давай». И все. Помню, что пьяный был тогда, целую неделю пил. На душе было гадостно... А ч-черт, не все ли равно! Пошел и пошел. Что я в этом копаюсь, как психованный! Боюсь я, что ли?..

Он вздрогнул. Длинный, тоскливый скрип донесся вдруг из тумана. Рэдрик вскочил, как подброшенный, и сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо,

только шуршала, струясь по насыпи у них из-под ног, мелкая галька.

— Это, наверное, порода просела, — неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. — Вагонетки с породой... стоят давно...

Рэдрик смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это было ночью. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала Мартышка, сидя на своей постели у окна. Гута проснулась тоже и взяла Рэдрика за руку, он чувствовал ее мгновенно покрывшееся испариной плечо, и так они лежали и слушали, а, когда Мартышка замолчала и улеглась, он подождал еще немного, потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он запил.

— Порода, — говорил Артур. — Она, знаете, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких таких причин...

Рэдрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев, он закурил новую. Артур постоял еще немного, опасливо вертя головой, потом тоже сел и сказал негромко:

— Я знаю, рассказывают, что в Зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто Посещение застигло их тут, и они мутировались... приспособились к новым условиям. Вы слышали об этом, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

...Вот он чем меня заразил, думал он. Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо... Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью,

сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял: единственное на всем свете, что у него еще осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затапывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда — уже не надежда, а уверенность в чуде — заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке... Он засмеялся и толкнул Артура в плечо.

— Что, сталкер, — сказал он, — еще поживем, как ты считаешь, а?

Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Рэдрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем.

— Ну хорошо, — сказал он. — А предположим, например, что этот самый Золотой шар действительно... Что б ты тогда пожелал?

— Значит, вы все-таки верите? — быстро спросил Артур.

— Это неважно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.

Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у Золотого шара такой вот парень, молоко-сос еще, вчерашний школьник, и он с веселым любопытством

следил, как Артур хмурится, тревожит усики, вскидывает на него и снова прячет глаза.

— Ну, конечно, ноги отцу... — проговорил Артур наконец. — Чтобы дома было все хорошо...

— Врешь, врешь, — добродушно сказал Рэдрик. — Ты, браток, учти: Золотой шар только сокровенные желания выполняет, только такие, что если не исполнятся, то хоть в петлю!

Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Рэдрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской, даже слезы выступили. Рэдрик ухмыльнулся, глядя на него.

— Все понятно, — сказал он почти ласково. — Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе... — И тут он вдруг вспомнил про пистолет и подумал, что, пока есть время, надо учесть все, что можно учесть. — Что это у тебя в заднем кармане? — спросил он небрежно.

— Пистолет, — буркнул Артур и закусил губу.

— Зачем он тебе?

— Стрелять! — сказал Артур с вызовом.

— Брось, брось, — строго проговорил Рэдрик и сел прямо. — Давай его сюда. В Зоне стрелять не в кого. Давай.

Артур хотел что-то сказать, но промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Рэдрику, держа за ствол. Рэдрик взял пистолет за теплую рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил:

— Платок у тебя есть какой-нибудь? Давай, я заверну...

Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнущий одеколоном, завернул пистолет и положил сверток на шпалу.

— Пусть пока здесь полежит, — объяснил он. — Даст бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется... Хотя от патрульных отстреливаться, браток...

Артур решительно помотал головой.



— Да мне не для того, — сказал он с досадой. — Там только один патрон. Чтобы... если как с отцом...

— Во-он что... — протянул Рэдрик, рассматривая его в упор. — Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю... Гляди, рас-свело!

Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала, сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморенным лозняком, а на горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур оглянулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Рэдрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево — зеленая заря Зоны. Рэдрик поднялся, зашел за вагонетку, присел на насыпи и, побряхтывая, смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и сразу от холмов потянулись лиловатые тени, все стало резким, рельефным, все стало видно как на ладони, и прямо перед собой, метрах в двухстах, Рэдрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр «комариной плешки», и весь фюзеляж его расплющило в жестяной блин, только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогалиной между холмами, и стабилизирующий винт остался цел — отчетливо поскрипывал, покачиваясь на легком ветерке. «Плешь», видимо, попала мощная, даже пожара настоящего не получилось, и на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красносиняя эмблема Королевских военно-воздушных сил, которую Рэдрик вот уже сколько лет и в глаза не видел и вроде бы даже позабыл, как она выглядит.

Потом Рэдрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся грудке породы в вагонетке. Самого карьера видно отсюда не было — его заслонил холм с почерневшим, обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по ложине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону.

Все ориентиры совпадали, но Рэдрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, — прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. Ладно, подумал Рэдрик, это мы еще посмотрим. На месте будет виднее. Тропа до этой ложины вела по болоту, по открытому, ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но, приглядевшись, Рэдрик различил между сухими кочками какое-то темно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано: «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но, кто такой этот Хлюст, как он выглядел и когда он был, Рэдрик вспомнить не мог. Вспомнилось ему почему-то только: дымный зал в «Боржче», огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти — фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшихся на водопой, одно из самых ярких воспоминаний детства — первое посещение «Боржча». Что я тогда принес? «Пустышку», кажется. Прямо из Зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь, выдержал грохочущий залп издевательств, дождался, пока Эрнест — тогда еще молодой, всегда при галстук-бабочке — отсчитал сколько-то там зелененьких... нет, тогда были еще не зелененькие, тогда были квадратные, королевские, с какой-то полуголой бабой в плаще

и в венке... дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти... Рэдрик ухмыльнулся и подумал: может, это и был Хлюст?

— Разве между холмами можно, господин Шухарт? — вполголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту.

— Там посмотрим, — сказал Рэдрик. Он все смотрел на карту. На карте было еще два крестика: один — на склоне холма с деревом, другой — на каменной осыпи. Пудель и Очкарик. Тропа проходила понизу между ними. — Там посмотрим, — повторил он, сложил карту и сунул ее в карман.

Он оглядел Артура.

— Поддай мне на спину рюкзак... Пойдем, как раньше, — сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. — Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти, грязи не вздумай бояться, если прикажу, мордой в грязь без разговоров... Да курточку свою застегни. Готов?

— Готов, — сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало.

— Первое направление — вот. — Рэдрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма в сотне шагов от насыпи. — Ясно? Пошел.

Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним.

— Легче, легче, — сказал Рэдрик. — Спешить некуда.

Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжелого рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. Боится парень, думал он. Правильно боится. Предчувствует, наверное. Если у него чутье, как у папаши, то должен предчувствовать... Знал бы ты, Стервят-

ник, как обернулось дело. Знал бы ты, Стервятник, что я тебя на этот раз послушаюсь. «А вот здесь, Рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь не хочешь, а придется тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих отдать, кого не жалко...» Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. Ну ничего, подумал он. Может быть, все-таки обойдется, все-таки я не Стервятник, может быть, словчим что-нибудь...

— Стоп! — приказал он Артуру.

Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Рэдрик спускался, трясина затянула его по колено.

— Камень видишь? — спросил Рэдрик. — Вон, под холмом лежит. Давай на него.

Артур двинулся вперед. Рэдрик отпустил его на десять шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала. Это была мертвая трясина — ни мошкеры, ни лягушек, даже лозняк здесь высох и сгнил. Рэдрик привычно посматривал по сторонам, но пока все было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался, наполз на низкое еще солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Рэдрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем, на ней стоял поезд из десятка вагонеток, часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку, насыпь под ними была покрыта рыжими потеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда, воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Рэдрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти всухую и отвернулся.

— Дальше, — сказал он, и Артур повернул к нему напряженное лицо. — Вон тряпье, видишь? Да не туда смотришь! Вон там, правее...

— Да, — сказал Артур.

— Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы



показывать умным людям дорогу. Возьми два пальца влево от этого Хлюста... Взял? Засек точку? Ну примерно там, где лозняк чуть погуще... Двигай туда. Пошел!

Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось все меньше, и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. А на карте здесь везде сплошное болото, подумал Рэдрик. Устарела карта, давненько Барбридж здесь не бывал, вот она и устарела. Плохо. Оно, конечно, по сухому идти легче, но лучше уж чтобы здесь было это болото... Ишь вышагивает, подумал он про Артура. Как по Центральному проспекту.

Артур, видимо, приободрился и шел теперь полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру прямо в затылок. Парень ахнул, обхватил голову руками и, скорчившись, рухнул на сухую траву. Рэдрик остановился над ним.

— Вот так оно здесь и бывает, Арчи, — сказал он наизда-тельно. — Это тебе не бульвар, ты здесь со мной не на шпацир вышел.

Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое.

— Все понятно? — спросил Рэдрик.

Артур глотнул и покивал.

— Вот и хорошо. А в следующий раз надаю по зубам. Если жив останешься. Пошел!

А из паренька мог бы получиться сталкер, думал Рэдрик. Звали бы его, наверное, Красавчик Арчи. У нас был уже один красавчик, звали его Диксон, а теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в «мясорубку» и все-таки выжил. Повезло. Он-то, чудак, до сих пор думает, что это его Барбридж из «мясорубки» вытащил. Черта с два! Из

«мясорубки» не вытащишь... Из Зоны он его выволок, это верно. Совершил Барбридж такой геройский поступок! Только попробовал бы он не выволочь! Эти его штучки тогда уже всем надоели, и ребята ему сказали в тот раз прямо: один лучше не возвращайся. А ведь как раз тогда Барбриджа и прозвали Стервятником, до этого он у нас в Битюгах ходил...

Рэдрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и сейчас же, еще не успев ни о чем подумать, крикнул:

— Стой!

Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась «комариная плешь», а может быть, она шла и по самой насыпи, не зря же свалились вагонетки. Артур стоял как вкопанный, он даже не обернулся.

— Возьми правее, — приказал Рэдрик. — Пошел.

Да, неплохой был бы сталкер... Кой черт, жалею я его, что ли? Этого еще не хватало. А меня кто-нибудь когда-нибудь жалел?.. Вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько к Гуте прислоняется, но, может быть, и жалеет, одно другому не помеха у порядочных людей... Только мне вот жалеть никого не приходится. У меня выбор: или-или... Он впервые с полной отчетливостью представил себе этот выбор: или этот паренек, или моя Мартышка. Тут и выбирать нечего, все ясно. Если только чудо возможно, — сказал какой-то голос изнутри, и он с ужасом и ожесточением задавил в себе этот голос.

Они миновали груды серого тряпья. От Хлюста ничего не осталось, только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка — миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, покупали втихаря у армейских интендантов, надеялись на эти штуки, как на самого Господа Бога, а потом два сталкера подряд за несколько дней

погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало... Кто же все-таки был этот Хлюст? Стервятник его сюда привел или он сам сюда пришел? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слышал?... Дьявол, припекает-то как! И это с утра, а что будет потом?

Артур, который шел шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Рэдрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы поскрипывает, как картофельная мука, и она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая, — она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоты. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!»

Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивая все тело, как простыня, смоченная кипятком, глаза залило потом, и Рэдрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись! Терпи!» И стал терпеть сам.

И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо-благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли не расслышал, что ему крикнули, то ли перепугался сверх всякой меры, а может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Рэдрика, — во всяком случае управлять собой он перестал и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнало его бессмысленный инстинкт — назад, как раз туда, куда бежать уж никак нельзя было. Рэдрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, лягнул Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задергался, но Рэдрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом



к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю, обеими руками держа за длинные волосы дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, жаба, лежи, убью...» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда, и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь, кожа на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил...

Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава — мертвая, сухая, колючая, но настоящая, — она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожженное лицо то и дело обдавало остатками жара, пот лил прямо в глаза — наверное, потому, что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой; горели обваренные руки, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Рэдрик с ужасом подумал, что совсем обварился и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, только бы доползти, ну еще немного, давай, Рэд, давай, Рыжий, вот так, вот так, ну еще немного...

Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду, с наслаждением вдыхая провонявшую гнилью

прохладу. Век бы так лежал, но он заставил себя подняться, стоя на коленях, сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который все еще неподвижно лежал в шагах тридцати от болота, и перевернул его на спину. Н-да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась черносерой маской из смеси запекшейся крови и пепла, и несколько секунд Рэдрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске — следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде. Артур хрипло дышал, время от времени постанывая. Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он ничего не соображал и жадно хватал ртом воздух, отплевываясь и кашляя. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Рэдрике.

— Ф-фу-у... — сказал он и помотал лицом, разбрызгивая грязную воду. — Что это было, мистер Шухарт?

— Смерть это была, — невнятно произнес Рэдрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость.

Артур тоже осторожно трогал пальцами свое лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась, тоже противу ожиданий, почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу, рассечена нижняя губа, а так, в общем, ничего.

— Никогда о таком не слышал, — проговорил Артур и посмотрел назад.

Рэдрик тоже оглянулся. На сероватой испепеленной траве осталось много следов, и Рэдрик поразился, как, оказывается, короток был тот страшный, бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь метров двадцать-

тридцать, не больше, было всего от края до края выжженной проплешины, но он сослепу и от страха полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскаленной сковороде, и спасибо еще, что полз, в общем, туда, куда надо, а ведь мог бы заползти на «комариную плешь» слева, а мог бы и вообще повернуть обратно... Нет, не мог бы, подумал он с ожесточением. Это молокосос какой-нибудь мог бы, а я тебе не молокосос, и если бы не этот дурак, то вообще ничего бы не случилось, обварил бы себе ноги, вот и все неприятности.

Он посмотрел на Артура. Артур с фырканием умывался, покряхтывал, задевая больные места. Рэдрик поднялся и, морщась от прикосновений задубевшей от жары одежды к обожженной коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели, пузырьки в аптечке все полопались от жара к чертовой матери, и от жухлого пятна несло невыносимой медициной. Рэдрик отстегнул клапан, принялся выгребать осколки стекла и пластика, и тут Артур у него за спиной сказал:

— Спасибо вам, мистер Шухарт! Вытащили вы меня.

Рэдрик промолчал. Какой еще черт, спасибо! Сдался ты мне — спасать тебя.

— Я сам виноват, — сказал Артур. — Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать, но я здорово перепугался, а когда припекло — совсем голову потерял. Я очень боли боюсь, мистер Шухарт...

— Давай, вставай, — сказал Рэдрик, не оборачиваясь. — Это все были цветочки... Вставай, чего разлегся!

Зашипев от боли в обожженных плечах, он вскинул на спину рюкзак, продел руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожженных местах съежилась и покрылась болезненными морщинами. Боли он боится... С чумой тебя пополам вместе с твоей болью!.. Он огляделся. Ничего, с тропы не сошли. Теперь эти холмики с покойниками. Поганые холмики —

стоят, гниды, торчат как чертовы макушки, и эта лощинка между ними... Он невольно потянул носом воздух. Ах, поганенькая лощинка, вот она-то самая погань и есть. Жаба.

— Лощинку между холмами видишь? — спросил он Артура.

— Вижу.

— Прямо на нее. Марш!

Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше, — согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. Вот и еще одного я вытащил, подумал Рэдрик. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается: зачем? Что он мне, родной? Поручился я за него? Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся... Теперь-то, на ясную голову, я знаю: правильно я его тащил, мне без него не обойтись, он у меня как заложник за Мартышку. Я не человека вытащил, я миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить, хотя про все забыл — и про отмычку забыл, и про Мартышку забыл... Что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень. Это мне и Гута твердит, и Кирилл-покойник внушал, и Ричард все время насчет этого долдонит... Тоже мне, нашли добряка! Ты это брось, сказал он себе. Тебе здесь эта доброта ни к чему! Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз, понятно? Добряк... Мне его надо сберечь для «мясорубки», холодно и ясно подумал он. Здесь все можно пройти, кроме «мясорубки».

— Стой! — сказал он Артуру.

Лощина была перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Рэдрика. Дно лощины было покрыто гнойно-зеленой, жирно отсвечивающей на солнце жижей. Над поверхностью



ее курился легкий парок, между холмами он становился гуще, и в тридцати шагах уже ничего не было видно. И смрад. «Запашок там будет, Рыжий, так ты не того... не дрейфь».

Артур издал горловой звук и попятился. Тогда Рэдрик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана сверток с ватой, пропитанной дезодоратором, заткнул ноздри тампоном и протянул вату Артуру.

— Спасибо, мистер Шухарт, — слабым голосом сказал Артур. — А как-нибудь верхом нельзя?..

Рэдрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи.

— Это был Очкарик, — сказал он. — А на левом холме, отсюда не видно, лежит Пудель. В том же виде. Понял? Вперед.

Жижа была теплая, липкая. Сначала они шли в рост, погружившись по пояс, дно под ногами, к счастью, было каменистое и довольно ровное, но вскоре Рэдрик услышал знакомое жужжание с обеих сторон. На левом холме, освещенном солнцем, ничего не было видно, а на склоне справа, в тени, запрыгали бледные лиловатые огоньки.

— Пригнись! — скомандовал он сквозь зубы и пригнулся сам. — Ниже, дурак! — крикнул он.

Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвленная молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Рэдрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же ударила вторая молния.

— Вперед! Вперед! — заорал он, не слыша себя.

Теперь они двигались на корточках, гусиным шагом, выставив наружу только головы, и при каждом разряде Рэдрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголок вонзаются в кожу лица. «Впе-

ред! — монотонно повторял он. — Вперед!» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на него, и белые прыгающие губы, и замазанную зеленую потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что им пришлось окунуться с головой. Зеленая слизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая ртом воздух, Рэдрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим, пронзительным запахом озона, а пар вокруг становился все гуще или, может быть, это потемнело в глазах, и уже не видно было холмов, ни справа, ни слева ничего не было видно, кроме облепленной зеленой грязью головы Артура и желтого клубящегося пара вокруг.

Пройду, пройду, думал Рэдрик. Не в первый раз, всю жизнь так, сам в дряни, а над головой молнии, иначе никогда и не было... И откуда здесь эта дрянь? Сколько дряни... с ума сойти, сколько дряни в одном месте! Это Стервятник, подумал он яростно. Это Стервятник здесь прошел, это за ним осталось... Очкарик лег справа, Пудель лег слева, и все для того, чтобы Стервятник прошел между ними и оставил за собой всю свою мерзость... Так тебе и надо, сказал он себе. Кто идет следом за Стервятником, тот всегда по горло в грязи. Ты что, этого раньше не знал? Их слишком много, Стервятников, почему и не осталось здесь ни одного чистого места... Нунап дурак: ты, мол, Рыжий, нарушитель равновесия, разрушитель порядка, тебе, мол, Рыжий, при любом порядке плохо, и при плохом плохо, и при хорошем плохо, — из-за таких, как ты, никогда не будет Царствия Небесного на земле... Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Где это ты у нас видел хороший порядок? Когда это ты видел меня при хорошем порядке?..

Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом пере-

кошенное, с вытарашенными глазами лицо Артура и вдруг на мгновение похолодел: ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направления. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит черная верхушка камня, понял, хотя, кроме этой верхушки, ничего не было видно в желтом тумане.

— Стой! — заорал он. — Правее держи! Правее камня.

Он опять не услышал своего голоса и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой: держи правее камня, голову вниз. Вы мне за это заплатите, подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в черную верхушку, только раскаленные крошки полетели. Вы мне за это заплатите, повторял он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. Я из вас всю душу вытрясу за это! Он мимолетно подумал: о ком это я? Не знаю. Но кто-то за это должен заплатить, кто-то мне за это заплатит! Подождите, дайте только добраться до шара, до шара мне дайте добраться, я вам не Стервятник, я с вас спрошу по-своему...

Когда они выбрались на сухое место, на уже раскаленное солнцем каменное крошево, оглушенные, вывернутые наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Рэдрик увидел облупленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно отдышаться в тени. Они забрались в тень. Артур лег на спину и принялся вялыми пальцами расстегивать на себе куртку, а Рэдрик привалился рюкзаком к стенке фургона, кое-как вытер ладони о щебень и полез за пазуху.

— И мне... — проговорил Артур. — И мне, мистер Шухарт!

Рэдрик поразился, какой у этого мальчишки громкий голос, хлебнул, закрыл глаза и протянул флягу Артуру. Все, подумал

он вяло. Прошли. И это прошли. Теперь сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я все помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили, не утопили? Кол вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец, понятно? Я ничего этого не оставляю. Теперь я решаю. Я, Рэдрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти буду решать все и за всех. А вы, все прочие, Стервятники, жабы, прищельцы, костлявые, Квотерблады, паразиты, зелененькие, Хрипатые, в галстучках, в мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работодательством, с вечными аккумуляторами, с вечными двигателями, с «комариными плешами», с лживыми обещаниями — хватит, повели меня за нос, через всю мою жизнь волокли меня за нос, я все, дурак, хвастался, что, мол, как хочу, так и сделаю, а вы только поддакивали, а сами, гады, перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили, через тюрьмы, через кабаки... Хватит!

Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу.

— Никогда я не думал, — говорил Артур с кротким недоумением в голосе, — даже представить себе не мог... Я, конечно, знал — смерть, огонь... но вот такое!.. Как же мы с вами обратно-то пойдем?

Рэдрик не слушал его. То, что говорит этот человек, теперь не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он все-таки был человеком. А теперь это... так, говорящая отмычка. Пусть говорит.

— Помыться бы... — Артур озабоченно озирался. — Хоть бы лицо сполоснуть.

Рэдрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалявшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев, и всего его, покрытого коркой потрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. Говорящая отмычка. Он отвернулся. Впереди растялосось унылое, как заброшенная строительная площадка,

пространство, засыпанное острой щебенкой, запорошенное белой пылью, залитое слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, злое, мертвое. Дальний край карьера был уже виден отсюда — тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным, а ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора; это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везенье.

Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку.

— Взгляните-ка, мистер Шухарт, — сказал он, оживившись. — Ведь это, наверное, отец оставил... Там и еще есть.

Рэдрик не ответил. Это ты зря, подумал он равнодушно. Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать, лучше бы тебе сейчас помалкивать. А впрочем, все равно... Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожженной коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел и закричал и страдальчески посмотрел на Рэдрика — видно было, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом:

— А нельзя мне сейчас еще разок глотнуть, мистер Шухарт?

Рэдрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал:

— Красное видишь между камнями?

— Вижу, — сказал Артур и судорожно перевел дух.

— Прямо на него. Пошел.

Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, проговорил:

— Помыться бы хоть немножко... Приклеилось все.

Рэдрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился.

— Рюкзак, — сказал он. — Рюкзак забыли, мистер Шухарт.

— Марш! — приказал Рэдрик.

Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и ни к чему все это было. И так пойдет. Деваться ему некуда. Пойдет. И Артур пошел. Побрел, ссутулившись, волоча ноги, пытаясь отдрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котенок. Рэдрик двинулся следом, и как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило его, и, он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил темные очки.

От каждого шага взлетало облачко белой пыли, пыль садилась на ботинки, она издавала нестерпимый запах, вернее, это от Артура несло, идти за ним следом было невозможно, и не сразу Рэдрик понял, что запах-то исходит больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый — это он наполнял город в те дни, когда северный ветер нес по улицам дым от завода. И от отца так же пахло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными бешеными глазами, и Рэдрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает с себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлепает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревет на весь дом: «Мария! Заснула?» Нужно было дожидаться, пока он отмоется, сядет за стол, где уже стоит бутылочка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом, дожидаться, пока он дохлебает суп и примется за мясо с бобами, и вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать,



какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле...

Все вокруг было раскалено добела, и его мутило от сухой жестокой жары, от усталости, и неистово саднила обожженная, полопавшаяся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затертые до незнакомости воспоминания громоздились в отеком мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полужакрытыми глазами, и все они были горькими, и все они вызвали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости, он выдавливал из глубин памяти свежее смеющееся личико Гуты, еще девчонки, желанной и неприкосновенной, и оно появлялось было, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку Мартышки; он силился вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые, уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые и прекрасные места и времена, и Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла, а уставляются в лицо Рэдрику немигающие ангельские глазки Хрипатого Хью, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер... Какие-то темные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то небольшое хорошее, что еще хранила его память, и уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыла, рыла, рыла...

И все это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой

старых досок стоит «веселый призрак» — спокойный, выдохшийся, и плевать на него; а справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, «комариная плешь», многохвостая, будто морская звезда, — далеко, не страшно, — а в центре ее — расплющенная в тень птица, редкая штука, птицы над Зоной почти не летают; а вон рядом с тропой две брошенных «пустышки» — видно, Стервятник бросил на обратном пути, страх сильнее жадности... Он все это видел, все учитывал, и стоило скрюченному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Рэдрика сам собой раскрывался, и хриплый предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. Машину, думал он. Машину вы из меня сделали... А каменные обломки на краю карьера все приближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора.

Дурак ты, Барбридж, думал Рэдрик. Хитер, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с таких вот пор знаешь, ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать, всю жизнь с дураками дело имел... И тут он представил себе, какое рыло сделалось у Стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка... что в Зону с Рыжим за его, Стервятниковыми, ногами ушел не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость... И, представив себе это рыло, Рэдрик захохотал, а, когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой: марш, марш! И опять поползли по сознанию, как по экрану, рыла... Надо было менять все. Не одну жизнь и не две жизни, не одну судьбу и не две судьбы, каждый винтик этого подлого здешнего смрадного мира надо было менять...

Артур остановился перед крутым съездом в карьер, остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Рэдрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.



Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога, еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор, ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно, только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось, даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание Стервятника. Вон та — это Стервятник живым и невредимым вернулся из подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше, — это Стервятник без помех вытащил из Зоны «шевелиющийся магнит». А вон та сосулька — это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца Дина Барбридж. А вот это пятно — не похожий ни на мать, ни на отца Артур Барбридж, Арчи, красавчик, гордость...

— Дошли! — иступленно прохрипел Артур. — Мистер Шухарт, дошли ведь все-таки, а?

Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался смешно и нелепо, летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Рэдрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно. С опаской. С затаенным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким, разочарует, вызовет сомнение, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, захлебываясь в дряни...

Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он

лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжело придавил он свое ложе.

В нем не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнение, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый и что на ощупь он должен быть очень горячим: солнце раскалило. Он явно не светился своим светом и он явно был не способен взлететь на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нем. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов; он не был установлен здесь, он валялся, валялся точно так же, как все эти «пустышки», «браслеты», «батарейки» и прочий мусор, оставшийся от Посещения.

Но в то же время что-то в нем все-таки было, и чем дольше Рэдрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а еще лучше прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть, и просто подремать отдыхая...

Артур вскочил, раздернул все молнии на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выдвигая ногами замысловатые па, вприпрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Рэдрика, он забыл о Рэдрике, он забыл обо всем, он шел выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло

спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе — министра, а в самой далекой перспективе, сами понимаете, — президента... Рэдрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой.

А мальчишка все спускался, приплясывая по крутому спуску, отбивая немислимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблучков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко, и очень весело, и очень торжественно, — как песню или как заклинание, — и Рэдрик подумал, что впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так, словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нем, и он услышал:

— Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!.. Даром!.. Счастье! Даром!..

А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Рэдрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно, с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Рэдрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге — без обычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими

скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связные мысли. Ну вот и все, думал он нехотя. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать еще немножко. «Мясорубки» бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать, вот в чем беда. Что такое «думать»? Думать — это значит извернуться, сфинтить, сбефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится...

Ну ладно. Мартышка, отец... Расплатиться за все, душу из гадов вынуть, пусть дряни пожрут, как я жрал... Не то, не то это, Рыжий... То есть то, конечно, но что все это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, свирепо приказал себе: ты вот что, Рыжий, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела, сдохнешь здесь рядом с этим шариком, сжаришься, сгниешь, но не уйдешь...

Господи, да где же слова-то, мысли мои где? Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было! Подожди, Кирилл, ведь что-то говорил такое... Кирилл! Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полужнакомые, но все это было не то, потому что не слова остались от Кирилла, остались какие-то смутные картины, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные...

Подлость, подлость... И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады... Шпана... Как был шпаной, так шпаной и состарился... Вот этого не должно быть! Ты, слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить (вот он, Кирилл, наконец-то!..). Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю,

и для чего человек рожден — не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это — мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо — Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо — Очкарику плохо, Хрипатому хорошо — всем плохо, и самому Хрипатому плохо, только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя извернуться... Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с Хрипатым воевал и от меня, обалдуя, только одного лишь хотел — чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Работать идти? А не хочу я на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Я так полагаю: если среди вас человек работает, он всегда на кого-то из вас работает, раб он и больше ничего, а я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску вашу и скуку...

Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то, он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но он опять видел только рыла, рыла, рыла... зелененькие... бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр... Он знал, что все это надо уничтожить, и он хотел это уничтожить, но он догадывался, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего — только ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову, он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер.

Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя,



чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всеильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю, там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, — ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!»



Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.

Стишок
очень маленького
мальчика

1 июня 78-го года

Сотрудник КОМКОНа-2 Максим Каммерер

В 13.17 Экселенц вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками, — это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Однако не моими делами, впрочем.

— Садись.

Я сел.

— Надо найти одного человека, — сказал он и вдруг замолчал. Надолго. Собрал кожу на лбу в сердитые складки. Фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли форма, то ли содержание. Экселенц обожает абсолютную точность формулировок.

— Кого именно? — спросил я, чтобы вывести его из филологического ступора.

— Льва Вячеславовича Абалкина. Прогрессора. Отбыл позавчера на Землю с полярной станции Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти.

Он снова замолчал и тут впервые поднял на меня свои круглые, неестественно зеленые глаза. Он был в явном затруднении, и я понял, что дело серьезное.

Прогрессор, не посчитавший нужным зарегистрироваться по возвращении на Землю, хотя и является, строго говоря,

нарушителем порядка, но заинтересовать своей особой нашу комиссию, да еще самого Экселенца, конечно же, никак не может. А между тем Экселенц был в столь явном затруднении, что у меня появилось ощущение, будто он вот-вот откинется на спинку кресла, вздохнет с каким-то даже облегчением и проворчит: «Ладно, извини. Я сам этим займусь». Такие случаи бывали. Редко, но бывали.

— Есть основания предполагать, — сказал Экселенц, — что Абалкин скрывается.

Лет пятнадцать назад я бы жадно спросил: «От кого?» — однако с тех пор прошло пятнадцать лет, и времена жадных вопросов давно миновали.

— Ты его найдешь и сообщишь мне, — продолжал Экселенц. — Никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне. Не больше и не меньше.

Я попытался отделаться солидным понимающим кивком, но он смотрел на меня так пристально, что я счел необходимым нарочито неторопливо и вдумчиво повторить приказ.

— Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Ни в коем случае не пытаться его задержать, не попадаться ему на глаза и тем более не вступать в разговоры.

— Так, — сказал Экселенц. — Теперь следующее.

Он полез в боковой ящик стола, где всякий нормальный сотрудник держит справочную кристаллотеку, и извлек оттуда некий громоздкий предмет, название которого я поначалу вспомнил на хонтийском: «заккурапия», что в точном переводе означает — «вместилище документов». И только когда он водрузил это вместилище на стол перед собой и сложил на нем длинные узловатые пальцы, у меня вырвалось:

— Папка для бумаг!

— Не отвлекайся, — строго сказал Экселенц. — Слушай внимательно. Никто в комиссии не знает, что я интересуюсь



этим человеком. И ни в коем случае не должен знать. Следовательно, работать ты будешь один. Никаких помощников. Всю свою группу переподчинишь Клавдию, а отчитываться будешь передо мной. Никаких исключений.

Надо признаться, это меня ошеломило. Просто такого еще никогда не было. На Земле я с таким уровнем секретности никогда еще не встречался. И, честно говоря, представить себе не мог, что такое возможно. Поэтому я позволил себе довольно глупый вопрос:

— Что значит — никаких исключений?

— Никаких — в данном случае означает просто «никаких». Есть еще несколько человек, которые в курсе этого дела, но поскольку ты с ними никогда не встретишься, то практически о нем знаем только мы двое. Разумеется, в ходе поисков тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной.

— Да, Экселенц, — сказал я смиренно.

— Далее, — продолжал он, — видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь, — он постучал пальцем по папке. — Не слишком много, но есть с чего начать. Возьми.

Я принял папку. С таким я тоже на земле еще не встречался. Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытеснено кармином: «ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБАЛКИН». А ниже почему-то — «07».

— Слушайте, Экселенц, — сказал я, — почему в таком виде?

— Потому что в другом виде этих материалов нет, — холодно ответил он, — кстати, кристаллокопирование не решаю. Других вопросов у тебя нет?

Разумеется, это не было приглашением задавать вопросы. Просто небольшая порция яда. На этом этапе вопросов было

множество, и без предварительного ознакомления с папкой их не имело смысла задавать. Однако я все же позволил себе два.

— Сроки?

— Пять суток. Не больше.

Ни за что не успеть, подумал я.

— Могу я быть уверен, что он — на Земле?

— Можешь.

Я встал, чтобы уйти, но он еще не отпустил меня. Он смотрел на меня снизу вверх пристальными зелеными глазами, и зрачки у него сужались и расширялись, как у кота. Конечно же, он ясно видел, что я недоволен заданием, что задание представляется мне не только странным, но и, мягко выражаясь, нелепым. Однако по каким-то причинам он не мог сказать мне больше, чем уже сказал. И не хотел отпустить меня без того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Помнишь, — проговорил он, — на планете по имени Саракш некто Сикорски по прозвищу Странник гонялся за шустрым молокососом по имени Мак...

Я помнил.

— Так вот, — сказал Странник (он же Экселенц). — Сикорски тогда не поспел. А мы с тобой должны поспеть. Потому что планета теперь называется не Саракш, а Земля. А Лев Абалкин — не молокосос.

— Загадками изволите говорить, шеф? — сказал я, чтобы скрыть охватившее меня беспокойство.

— Иди работай, — сказал он.

1 июня 78-го года

Кое-что о Льве Абалкине, прогрессоре

Андрей и Сандро все еще дожидались меня и были потрясены, когда я переподчинил их Клавдию. Они даже заарта-

чились было, но беспокойство мое не проходило, я рывкнул на них, и они удалились, обиженно ворча и бросая на папку недоверчиво-встревоженные взгляды. Эти взгляды возбудили во мне новую и совершенно неожиданную заботу: где мне теперь держать это чудовищное «вместилище документов»?

Я уселся за стол, положил папку перед собой и машинально взглянул на регистратор. Семь сообщений за четверть часа, которые я провел у Экселенца. Признаюсь, не без удовольствия я переключил всю свою рабочую связь на Клавдия. Затем я занялся папкой.

Как я и ожидал, в папке не было ничего, кроме бумаги. Двести семьдесят три пронумерованных листка разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Я не имел дела с бумагой добрых два десятка лет, и первым моим побуждением было засунуть всю эту грудку в транслятор, но я, разумеется, вовремя спохватился. Бумага так бумага. Пусть будет бумага.

Все листки были очень неудобно, но прочно схвачены хитроумным металлическим устройством на магнитных защелках, и я не сразу заметил самую обыкновенную радиокартонку, подsunутую под верхний зажим. Эту радиогамму Экселенц получил сегодня, за шестнадцать минут до того, как вызвал меня к себе. Вот что в ней было:

«01.06.—13.01. Слон — Страннику.

На ваш запрос о Тристане от 01.06.—07.11. сообщаю:

31.05.—19.34. Здесь получена информация командира базы Саракш-2. Цитирую: провал Гурона (Абалкин, шифровальщик штаба группы флотов «Ц» Островной Империи). 28.05. Тристан (Лоффенфельд, выездной врач базы) вылетел для регулярного медосмотра Гурона. Сегодня 29.05.—17.13. На его боте прибыл на базу Гурон. По его словам, Тристан при неизвестных обстоятельствах был схвачен и убит контрразведкой штаба «Ц». Пытаясь спасти тело Тристана и доставить

его на базу, Гурон раскрыл себя. Спасти тело ему не удалось. При прорыве Гурон физически не пострадал, но находится на грани психического спазма. По его настоятельной просьбе направляется на Землю рейсовым 611. Цитата окончена.

Справка: 611 прибыл на землю 30.05.—22.32. Абалкин на связь с КОМКОНОм не выходил, на Земле к моменту сегодня 12.53 не зарегистрирован. На остановках по маршруту 611 (Пандора, курорт) на тот же момент не зарегистрирован также. Слон».

Прогрессоры. Так. Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю прогрессоров, хотя сам был, по-видимому, одним из первых прогрессоров еще в те времена, когда это понятие употреблялось только в теоретических выкладках. Впрочем, надо сказать, что в своем отношении к прогрессорам я не оригинален. Это неудивительно: подавляющее большинство землян органически не способно понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Либо они меня, либо я их, и некогда разбираться, кто в своем праве. Для нормального землянина это звучит дико, и я его понимаю, я ведь сам был таким, пока не попал на Саракш. Я прекрасно помню это видение мира, когда любой носитель разума априорно воспринимается как существо, этически равное тебе, когда невозможна сама постановка вопроса, хуже он тебя или лучше, даже если его этика и мораль отличаются от твоей...

И тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования — надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошных воспоминаний, чтобы понять наконец, и даже не просто понять, а влить в мировоззрение эту, некогда тривиальнейшую мысль: да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был... И вот только тогда ты обретаешь способность делить

на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а потом разбираться.

По-моему, в этом сама суть прогрессора: умение решительно разделить на своих и чужих. Именно за это умение дома к ним относятся с опасливым восторгом, с восторженной опаской, а сплошь и рядом — с несколько брезгливой настороженностью. И тут ничего не поделаешь. Приходится терпеть — и нам, и им. Потому что либо прогрессоры, либо нечего земле соваться во внеземные дела... Впрочем, к счастью, нам в КОМКОНе-2 достаточно редко приходится иметь дело с прогрессорами.

Я прочитал радиogramму и внимательно перечитал ее еще раз. Странно. Выходит, Экселенц интересуется главным образом неким Тристаном, он же Лоффенфельд. Ради того, чтобы узнать нечто об этом Тристане, он поднялся сегодня в несусветную рань сам и не постеснялся поднять из постели нашего слона, который, как всем известно, ложится спать с петухами...

Еще одна странность: можно подумать, что он заранее знал, какой будет ответ. Ему понадобилось всего четверть часа, чтобы принять решение о розыске Абалкина и приготовить для меня папку с его бумагами. Можно подумать, что эта папка была у него уже под рукой...

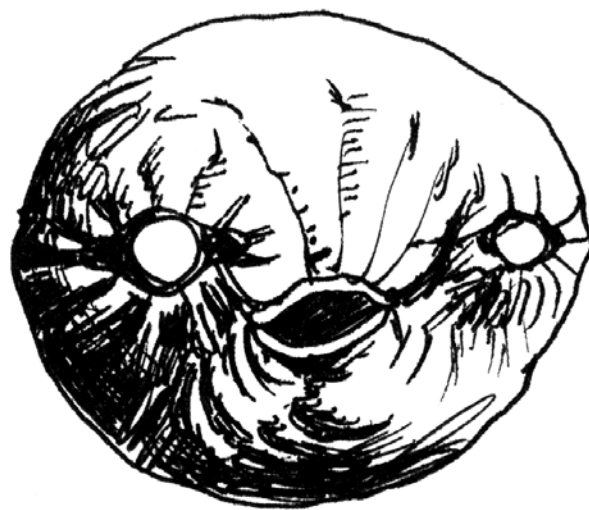
И самое странное: конечно, Абалкин — последний человек, который видел хотя бы труп Тристана, но если Экселенцу Абалкин понадобился только как свидетель по делу Тристана, то к чему была эта зловещая притча о некоем Страннике и некоем молокососе?

О, разумеется у меня были версии. Двадцать версий. И среди них ослепительным алмазом сверкнула, например, такая: Гурон-Абалкин перевербован имперской разведкой, он убивает Тристана-Лоффенфельда и скрывается на Земле, имея целью внедрить себя в Мировой совет...

Я еще раз перечитал радиogramму и отложил ее в сторону. Ладно. Лист №1. Абалкин Лев Вячеславович. Кодовый номер такой-то. Генетический код такой-то. Родился 6 октября 38-го года. Воспитание: школа-интернат 241, Сыктывкар. Учитель: Федосеев Сергей Павлович. Образование: школа прогрессоров №3 (Европа). Наставник: Горн Эрнст-Юлий. Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология. Работа: февраль 58-го — сентябрь 58-го, дипломная практика, планета Саракш, опыт контакта с расой голованов в естественной обстановке...

Тут я остановился. Вот так-так! А ведь я же его, пожалуй, помню! Правильно, это было в 58-м. Явилась целая компания — Комов, Раулингсон, Марта... И этот угрюмоватый парнишка-практикант. Экселенц (в те времена — Странник) приказал мне бросить все дела и переправить их через Голубую Змею в Крепость под видом экспедиции Департамента науки... Мосластый такой парень с очень бледным лицом и длинными прямыми черными волосами, как у американского индейца. Правильно! Они все звали его (кроме Комова, конечно) Левушка-ревушка или просто Ревушка, но не потому, разумеется, что он был плакса, а потому, что голос у него был зычный, взрывающийся, как у тахорга... Тесен мир! Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше.

Март 60-го — июль 62-го, планета Саракш, руководитель-исполнитель операции «Человек и голованы». Июль 62-го — июнь 63-го, планета Пандора, руководитель-исполнитель операции «Голован в Космосе». Июнь 63-го — сентябрь 63-го, планета Надежда, участие совместно с голованом Щекном в операции «Мертвый мир». Сентябрь 63-го — август 64-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Август 64-го — ноябрь 66-го, планета Гиганда, первый опыт самостоятельного внедрения — младший бухгалтер службы охотничьего



собаководства, псарь маршала Нагон-Гига, егермейстер герцога Алайского (см. лист №66)...

Я посмотрел лист №66. Это оказался клочок бумаги, небрежно откуда-то выданный и сохранивший складки от помятостей. На нем размашистым почерком было написано: «Руди! Чтобы ты не беспокоился. Божьим попущением на Гиганде встретились двое наших близнецов. Уверю тебя — совершенная случайность и без последствий. Если не веришь, загляни в 07 и 11. Меры уже приняты». Неразборчивая вычурная подпись. Слово «совершенная» подчеркнуто трижды. На обороте бумажки — какой-то печатный текст арабской вязью.

Я поймал себя на том, что чешу в затылке, и вернулся к листу №1.

Ноябрь 66-го — сентябрь 67-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Сентябрь 67-го — декабрь 70-го, планета Саракш, внедрение в республику Хонти — унионист-подпольщик, выход на связь с агентурой островной империи (первый этап операции «Штаб»). Декабрь 70-го, планета Саракш, Островная Империя — заключенный концентрационного лагеря (до марта 71-го без связи), переводчик комендатуры концентрационного лагеря, солдат строительных частей, старший солдат в Береговой Охране, переводчик штаба отряда Береговой Охраны, переводчик-шифровальщик флагмана 2-го подводного флота группы «Ц», шифровальщик штаба группы флотов «Ц». Наблюдающий врач: с 38-го по 53-й — Леканова Ядвига Михайловна; с 53-го по 60-й — Крэсеску Ромуальд; с 60-го — Лоффенфельд Курт.

Все. Больше на листе №1 ничего не было. Впрочем, на обороте, крупно, во всю страницу было изображено размытыми коричневыми полосами (словно бы гуашью) что-то вроде стилизованной буквы «ж».

Ну что ж, Лев Абалкин, Левушка-ревушка, теперь я о тебе кое-что знаю. Теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю,

кто твой учитель. Я знаю, кто твой наставник. Я знаю твоих наблюдающих врачей... А вот чего я не знаю, так это — зачем и кому нужен этот лист №1? Ведь если бы человеку понадобилось узнать, кто есть Лев Абалкин, он мог бы вызвать информаторий (я вызвал БВИ), набрал бы имя или кодовый номер (я набрал кодовый номер) и спустя... Раз-и-два-и-три-и... Четыре секунды получил бы возможность узнать все, что один человек имеет право знать о другом, постороннем ему человеке.

Пожалуйста: Абалкин Лев и так далее, кодовый номер, генетический код, родился тогда-то, родители (кстати, почему в листе №1 не указаны родители?): Абалкина Стелла Владимировна и Цюрупа Вячеслав Борисович, школа-интернат в Сыктывкаре, учитель, школа прогрессоров, наставник... Все совпадает. Так. Прогрессор, работает с 60-го: планета Саракш. Гм. Немного. Только официальные данные. По-видимому, в дальнейшем решил не утруждать себя сообщением новых сведений службе БВИ... А это что? «Адрес на Земле не зарегистрирован».

Я набрал новый запрос: «По каким адресам регистрировался на Земле кодовый номер такой-то?» Через две секунды последовал ответ: «Последний адрес Абалкина на Земле — школа прогрессоров №3 (Европа)» — тоже любопытная деталь. Либо Абалкин за последние восемнадцать лет на Земле не был ни разу, либо человек он крайне нелюдимый, не регистрируется никогда и никаких сведений о себе подавать не желает. И то и другое представить себе, конечно, можно, однако выглядит это в достаточной мере непривычно...

Как известно, в БВИ содержатся только те сведения, которые человек хочет сообщить о себе сам. А что содержится в листе №1? Я решительно не вижу в этом листе ничего такого, что Абалкину стоило бы скрывать. Все там изложено гораздо подробнее, но ведь за такого рода подробностями никому и в голову не пришло бы обращаться в БВИ. Обратись в

КОМКОН-1, и там тебе все это изложат. А чего не знают в КОМКОНе, легко выяснить, потолкавшись на Пандоре среди прогрессоров, проходящих там рекондиционирование или просто валяющихся на Алмазном Пляже у подножия величайших в обитаемом космосе песчаных дюн...

Ладно, господь с ним, с этим листом №1. Хотя в скобках отметим, что мы так и не поняли, зачем он нужен вообще, да еще такой подробный... А если уж он такой подробный, то почему в нем нет ни слова о родителях?

Стоп. Это скорее всего меня не касается. А вот почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался в КОМКОНе? Это можно объяснить: психический спазм. Отвращение к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере восемь лет. Куда он пойдет? По-моему, к маме идти в таком состоянии непристойно. Абалкин не похож на сопляка, точнее, — не должен быть похож. Учитель? Или наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку. Это я по себе знаю. Причем скорее учитель, чем наставник. Ведь наставник в каком-то смысле все-таки коллега, а у нас — отвращение к делу... Стоп. Да стоп же! Что это со мной? Я посмотрел на часы. На два документа у меня ушло тридцать четыре минуты. Причем я ведь даже пока еще не изучал их, я только ознакомился с ними.

Я заставил себя сосредоточиться и вдруг понял, что дело плохо. Я вдруг осознал, что мне совсем не интересно думать о том, КАК найти Абалкина. Мне гораздо интереснее понять, ПОЧЕМУ его так нужно найти. Разумеется, я немедленно разозлился на Экселенца, хотя простая логика подсказывала мне, что, если бы это помогло мне в поисках, шеф непременно представил бы все необходимые объяснения. А раз он не объяснил мне, ПОЧЕМУ надо искать и найти Абалкина, значит, это ПОЧЕМУ не имеет никакого отношения к вопросу КАК.



И тут же я понял еще одну вещь. Вернее, не понял, а почувствовал. А еще точнее — заподозрил. Вся эта громоздкая папка, все это обилие бумаги, вся эта пожелтевшая писанина ничего не дадут мне, кроме, может быть, еще нескольких имен и огромного количества новых вопросов, опять-таки не имеющих никакого отношения к вопросу КАК.

1 июня 78-го года

Вкратце о содержимом папки

К 14.23 я закончил опись содержимого.

Большую часть бумаг составляли документы, написанные, как я понял, рукой самого Абалкина.

Во-первых, это был его отчет об участии в операции «Мертвый мир» на планете Надежда — семьдесят шесть страниц, исписанных отчетливым крупным почерком почти без помарок. Я бегло проглядел эти страницы. Абалкин рассказывал, как он с голованом Щекном в поисках какого-то объекта (я не уловил, какого именно) пересек покинутый город и одним из первых вступил в контакт с остатками несчастных аборигенов.

Полтора десятка лет назад Надежда и ее дикая судьба были на Земле притчей во языцех, да они и оставались до сих пор притчей во языцех, как грозное предупреждение всем обитаемым мирам во Вселенной и как свидетельство самого недавнего по времени и самого масштабного вмешательства Странников в судьбы других цивилизаций. Теперь считается твердо установленным, что за свое последнее столетие обитатели Надежды потеряли контроль над развитием технологий и практически необратимо нарушили экологическое равновесие. Природа была уничтожена. Отходы промышленности, отходы безумных и отчаянных экспериментов

в попытках исправить положение загладили планету до такой степени, что местное человечество, пораженное целым комплексом генетических заболеваний, обречено было на полное одичание и неизбежное вымирание. Генные структуры взбесились на Надежде. Собственно, насколько я знаю, до сих пор никто у нас так и не понял механику этого бешенства. Во всяком случае, модель этого процесса до сих пор не удалось воспроизвести ни одному нашему биологу. Бешенство генных структур. Внешне это выглядело как стремительное, нелинейное по времени ускорение темпов развития всякого мало-мальски сложного организма. Если говорить о человеке, то до двенадцати лет он развивался в общем нормально, а затем начинал стремительно взрослеть и еще более стремительно стареть. В шестнадцать лет он выглядел тридцатипятилетним, а в девятнадцать, как правило, умирал от старости.

Разумеется, такая цивилизация не имела никакой исторической перспективы, но тут пришли Странники. Впервые, насколько нам известно, они активно вмешались в события чужого мира. Теперь можно считать установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти. (Куда были выведены эти миллиарды несчастных больных людей, где они сейчас и что с ними случилось, — мы, конечно, не знаем и, похоже, узнаем не скоро.)

Абалкин принимал участие лишь в самом начале операции «Мертвый мир», и роль, которая ему в ней отводилась, была достаточно скромной. Хотя, если взглянуть на это с принципиальной стороны, он был первым (и пока единственным) прогрессором-землянином, которому довелось работать в паре с представителем разумной негуманоидной расы.

Проглядывая этот отчет, я обнаружил, что Абалкин упоминает там довольно много имен, но у меня сложилось

впечатление, что для дела следует взять на заметку одного только Щекна. Мне было известно, что сейчас на Земле пребывает целая миссия голованов, и, пожалуй, имело смысл выяснить, нет ли среди них этого Щекна. Абалкин писал о нем с такой теплотой, что я не исключал возможности встречи его с давним приятелем. К этому моменту я уже отметил для себя, что у Абалкина особое отношение к «меньшим братьям»: на голованов он потратил несколько лет жизни, на Гиганде стал псарем... И вообще.

И был в папке еще один отчет Абалкина — о его операции на Гиганде. Операция, впрочем, была, на мой взгляд, пустяковая: егермейстер его высочества герцога Алайского пристраивал курьером в банк своего бедного родственника. Егермейстером был Лев Абалкин, а бедным родственником — некий Корней Яшмаа. Как мне показалось, материал этот был для меня совершенно бесполезен. Кроме Корнея Яшмаа, насколько я мог заметить при беглом просмотре, в нем не содержалось ни одного земного имени. Мелькали какие-то зогги, нагонгиги, шталмейстеры, сиятельства, бронемастеры, конференц-директора, гофдамы... Я взял на заметку этого Корнея, хотя и было ясно, что он вряд ли мне понадобится. Всего во втором отчете содержалось двадцать четыре страницы, и больше отчетов Льва Абалкина о своей работе в папке не оказалось. Это показалось мне странным, и я положил себе подумать как-нибудь в дальнейшем: почему из всех многочисленных отчетов профессионального прогрессора в папку «07» попали только два, и именно эти два.

Оба отчета были выполнены в манере «лаборант» и, на мой взгляд, сильно смахивали на школьные сочинения в жанре «Как я провел каникулы у дедушки». Писать такие отчеты — одно удовольствие, читать их, как правило, — сущее мучение. Психологи (засевшие в штабах) требуют, чтобы отчеты содержали не столько объективные данные о событиях

и фактах, сколько сугубо субъективные ощущения, личные впечатления и поток сознания автора. При этом манеру отчета («лаборант», «генерал», «артист») автор не выбирает — ему ее предписывают, руководствуясь какими-то таинственными психологическими соображениями. Воистину, есть ложь, беспардонная ложь и статистика, но не будем, друзья, забывать и о психологии!

Я не психолог, во всяком случае не профессионал, но я подумал, что, может быть, и мне удастся извлечь из этих отчетов что-нибудь полезное о личности Льва Абалкина.

Просматривая содержимое папки, я то и дело обнаруживал однообразные, я бы сказал, просто одинаковые и совершенно мне непонятные документы: синеватые листы плотной бумаги с зеленым обрезом и выдавленной в верхнем левом углу монограммой, изображающей то ли китайского дракона, то ли птеродактиля. На каждом таком листе уже знакомым мне размашистым почерком иногда стилем, иногда фломастером, а пару раз почему-то лабораторным электродным карандашом было написано: «Тристан 777». Ниже стояли дата и все та же замысловатая подпись. Насколько можно было судить по датам, такие листки закладывались в папку с 60-го года примерно раз в три месяца, так что папка на четверть состояла из них.

И еще двадцать две страницы занимала переписка Абалкина с его руководством. Переписка эта навела меня на некоторые размышления.

В октябре 63-го года Абалкин направляет в КОМКОН-1 рапорт, в котором выражает пока еще кроткое недоумение по поводу того, что операция «Голован в космосе» свернута без консультации с ним, хотя операция эта развивалась вполне успешно и обещала богатую перспективу.

Неизвестно, какой ответ получил Абалкин на этот свой рапорт, но в ноябре того же года он пишет совершенно

отчаянное письмо Комову с просьбой возобновить операцию «Голован в космосе» и одновременно очень резкое письмо в КОМКОН, в котором протестует против направления его, Абалкина, на курсы переподготовки. (Заметим, что все это он почему-то делает в письменной форме, а не обычным порядком.)

Как явствует из дальнейших событий, переписка эта никакого действия не возымела, и Абалкин отправляется работать на Гиганду. Три года спустя, в ноябре 66-го, он снова пишет в КОМКОН с Пандоры и просит направить его на Саракш для продолжения работы с голованами. На этот раз его просьбу удовлетворяют, но только отчасти: его посылают на Саракш, но не на Голубую Змею, а в Хонти унионистом-подпольщиком.

С курсов переподготовки в феврале и августе 67-го года он еще дважды пишет в КОМКОН (Бадеру, а потом и самому Горбовскому), указывая на нецелесообразность использования его, хорошего специалиста по голованам, в качестве резидента. Тон его писем становится все резче, письмо Горбовскому, например, я иначе как оскорбительным, не назвал бы. Любопытно мне было бы узнать, что ответил душка Леонид Андреевич на этот взрыв ярости и презрительного негодования.

И, уже будучи резидентом в Хонти, в октябре 67-го года Абалкин посылает Комову свое последнее письмо: развернутый план форсирования контактов с голованами, включающий обмен постоянными миссиями, привлечение голованов к зоопсихологическим работам, проводящимся на Земле, и т. д. и т. п. Я никогда специально не следил за работой в этой области, но у меня сложилось такое впечатление, что этот план сейчас принят и осуществляется. А если это так, то положение парадоксальное: план осуществляется, а инициатор его торчит резидентом то в Хонти, то в Островной Империи.

В общем, эта переписка оставила у меня какое-то тягостное впечатление. Ну ладно, пусть в проблеме голованов я не специалист, мне трудно судить, вполне возможно, что план Абалкина совершенно тривиален, и употреблять такие громкие слова, как инициатор, не имеет смысла. Но дело не только и не столько в этом! Парень, видимо, прирожденный зоопсихолог. «Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика... Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология...» И тем не менее из парня делают прогрессора. Не спорю, существует целый класс прогрессоров, для которых зоопсихология — хлеб насущный. Например, те, кто работает с леонидьями или с теми же голованами. Так нет же, парню приходится работать с гуманоидами, работать резидентом, боевиком, хотя он пять лет кричит на весь КОМКОН: «Что вы со мной делаете?» А потом они удивляются, что у него психический спазм!

Конечно, прогрессор — это такая профессия, где железная, я бы сказал, военная дисциплина совершенно неизбежна. Прогрессор сплошь и рядом вынужден делать не то, что ему хочется, а то что приказывает КОМКОН. На то он и прогрессор. И, наверное, резидент Абалкин много ценнее для КОМКОНа, нежели зоопсихолог Абалкин. Но все-таки есть в этой истории какое-то нарушение меры, и недурно было бы поговорить на эту тему с Горбовским или с Комовым... И что бы там не натворил этот Абалкин (а он явно что-то натворил), я, ей-богу, на его стороне.

Впрочем, все это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет.

Еще я заметил, что не хватает трех пронумерованных страниц после первого отчета Абалкина, двух страниц — после его второго отчета и двух страниц — после последнего письма Абалкина Комову. Я решил не придавать этому значения.

1 июня 78-го года

Почти все о возможных связях Льва Абалкина

Я составил предварительный список возможных связей Льва Абалкина на Земле, и оказалось у меня в этом списке всего восемнадцать имен. Практически для меня представляли интерес только шесть человек, и я расставил их в порядке убывания вероятности (по моим представлениям, конечно) того, что Лев Абалкин посетит их. Выглядело это так:

Учитель — Сергей Павлович Федосеев

Мать — Стелла Владимировна Абалкина

Отец — Вячеслав Борисович Цюрупа

Наставник — Эрнст-Юлий Горн

Наблюдающий врач школы прогрессоров — Ромуальд

Крэсеску

Наблюдающий врач школы-интерната — Ядвига Михайловна Леканова

Во втором эшелоне у меня оставались Корней Яшмаа, голован Щекн, Яков Вандерхузе и еще человек пять, как правило, прогрессоров. Что же касается таких персон, как Горбовский, Бадер, Комов, то я выписал их скорее для проформы. Обращаться к ним нельзя было уже хотя бы потому, что их никакими легендами не проймешь, а разговаривать напрямую я не имел права, даже если бы они сами обратились ко мне по этому делу.

В течение десяти минут информаторий выдал мне следующие малоутешительные сведения.

Родители Льва Абалкина не существовали, по крайней мере в обычном смысле этого слова. Возможно, они не существовали вообще. Дело в том, что сорок с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы «Йормала» на уникальном звездолете «Тьма» совершили

погружение в черную дыру ЕН-200056. Связи с ними не было, да и не могло быть по современным представлениям. Лев Абалкин, оказывается, был их посмертным ребенком. Конечно, слово «посмертный» в этом контексте не совсем точно: вполне можно было допустить, что родители его еще живы и будут жить еще миллионы лет в нашем времяисчислении, но, с точки землянина, они, конечно, все равно что мертвы. У них не было детей, и, уходя навсегда из нашей Вселенной, они, как и многие супружеские пары до них и после них в подобной ситуации, оставили в Институте жизни материнскую яйцеклетку, оплодотворенную отцовским семенем. Когда стало ясно, что погружение удалось, что они более не вернутся, клетку активировали, и вот на свет появился Лев Абалкин — посмертный сын живых родителей. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему в листе №1 родители Абалкина не упоминались вовсе.

Эрнста-Юлия Горна, наставника Абалкина по школе прогрессоров, уже не было в живых. В 72-м году он погиб на Венере при восхождении на пик Строгова.

Врач Ромуальд Крэсеску пребывал на некоей планете Лу, совершенно, по-видимому, вне пределов досягаемости. Я никогда даже не слышал о такой планете, но, поскольку Крэсеску является прогрессором, следовало предположить, что планета эта обитаема. Любопытно, однако, что старикан (сто шестнадцать лет!) оставил в БВИ свой последний домашний адрес, сопроводив его таким характерным посланием: «Моя внучка и ее муж всегда будут рады принять по этому адресу любого из моих питомцев». Надо полагать, питомцы любили своего старикана и частенько навещали его. Мне следовало иметь в виду это обстоятельство.

С остальными двумя мне повезло.

Сергей Павлович Федосеев, учитель Абалкина, жил и здравствовал на берегу Аятского озера в усадьбе с предосте-

регающим названием «Комарики». Ему тоже уже было за сто, и был он, по-видимому, человек либо чрезвычайно скромный, либо замкнутый, потому что не сообщал о себе ничего, кроме адреса. Все остальные данные были официальные: окончил то-то и то-то, археолог, учитель. Все. Как говорится, яблочко от яблони... Весь в своего ученика Льва Абалкина. А между тем, когда я послал в БВИ соответствующий дополнительный запрос, выяснилось, что Сергей Павлович — автор более тридцати статей по археологии, участник восьми археологических экспедиций (Северо-Западная Азия) и трех евразийских конференций учителей. Кроме того, он у себя в «Комариках» организовал регионального значения личный музей по палеолиту Северного Урала. Такой вот человек. Я решил с ним связаться в ближайшее же время.

А вот с Ядвигой Михайловной Лекановой меня ожидал небольшой сюрприз. Врачи-педиатры редко меняют свою профессию, и я как-то уже представлял себе такую старушку — божий одуванчик, согнувшуюся под невообразимым грузом специфического и, по сути, самого ценного в мире опыта, бодренько семенящую все по той же территории сыктывкарской школы. Черта с два — семенящую! Некоторое время она действительно педиатрствовала, и именно в Сыктывкаре, но потом она переквалифицировалась в этнолога, и мало того — она занималась последовательно: ксенологией, патоксенологией, сравнительной психологией и левелометрией, и во всех этих не так уж тесно связанных между собой науках она явно преуспела, если судить по количеству опубликованных ею работ и по ответственности постов, ею занимаемых. За последние четверть века ей довелось работать в шести различных организациях и институтах, а сейчас она работала в седьмом — в передвижном Институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса у нее не было, желающим предлагалось устанавливать с нею

связь через стационар института в Манаосе. Что ж, и на том спасибо, хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился к ней в эти все еще первобытные дебри.

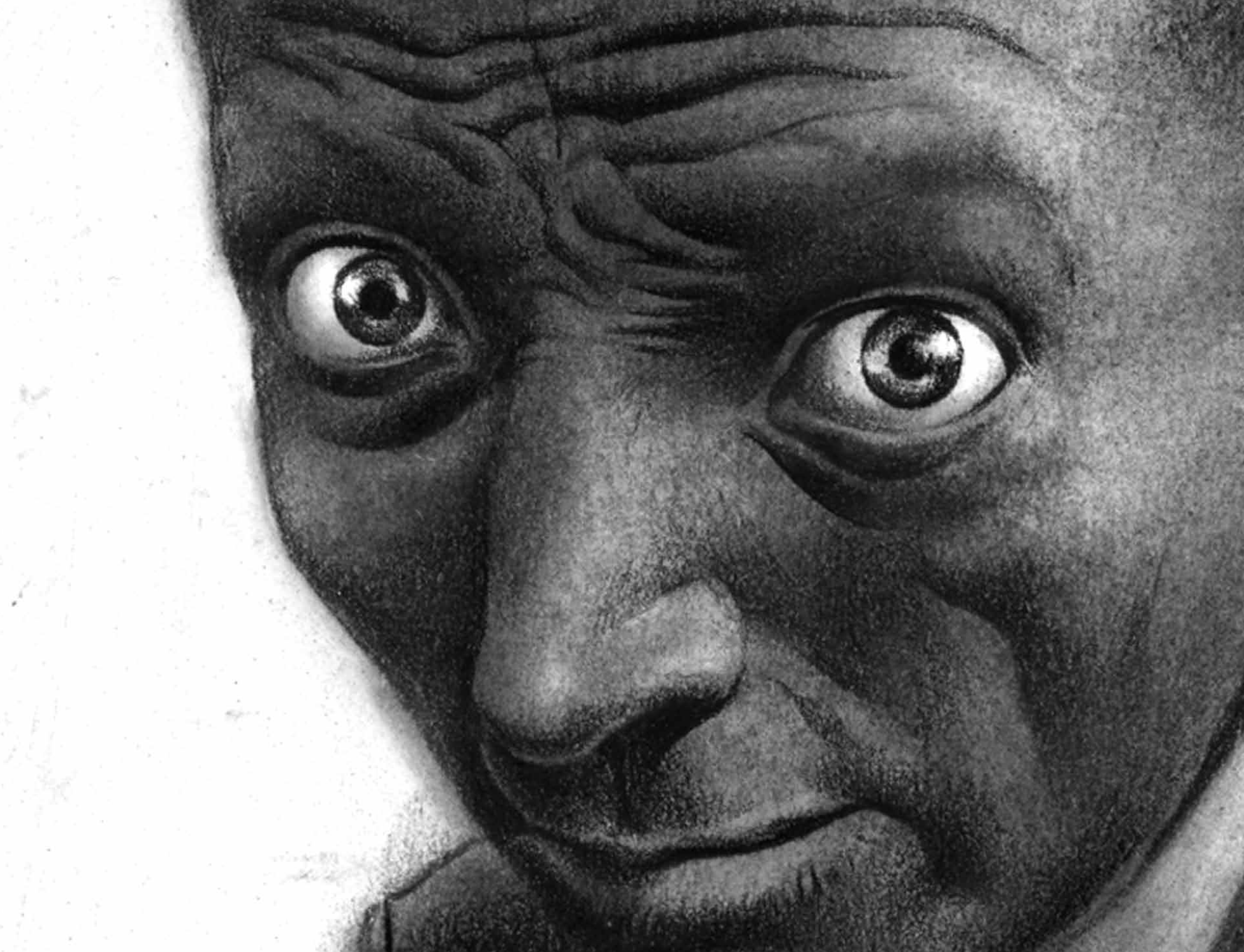
Было совершенно очевидно, что начинать следует с учителя. Я взял папку под мышку, сел в машину и вылетел на Аятское озеро.

*1 июня 78-го года
Учитель Льва Абалкина*

Вопреки моим опасениям усадьба «Комарики» стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам, и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде в плетеных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов.

Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как, впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои сто с лишним лет сохраняют полную ясность мысли и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперед, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была черная как смоль, а левая — совершенно белая, именно белая, а не седая.

Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист, по профессии — зоопсихолог, и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с головами.



Вы наверняка знаете, сказал я, что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно, с тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, но в КОМКОНе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на Земле, а когда он вернется — совершенно неизвестно. Между тем мне хотелось бы узнать как можно больше о его детстве, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе, движение психологии исследователя — вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, наставника его уже нет в живых, друзей его я не знаю, но зато я имею возможность побеседовать с вами, его учителем. Я лично убежден, что все в человеке начинается с детства, причем с самого раннего детства...

Признаться, у меня все время теплилась некоторая надежда, что в самом начале моего вранья я буду прерван возгласом: «Позвольте, позвольте! Но ведь Лев был у меня буквально вчера!» — однако меня не прервали, и мне пришлось договорить все до конца — изложить с самым умным видом все свои скороспелые суждения о том, что творческая личность формируется в детстве, именно в детстве, а не в отрочестве, не в юности и уж, конечно, не в зрелом возрасте, именно формируется, а не то чтобы просто закладывается или там зарождается... Мало того, когда я, наконец, выдохся совсем, старик молчал еще целую минуту, а потом вдруг спросил, кто такие эти голованы.

Я удивился самым искренним образом. Получалось, что Лев Абалкин не удосужился похвалиться успехами перед своим учителем! Знаете ли, надо быть в высшей степени нелюдимым и замкнутым человеком, чтобы не похвалиться перед своим учителем своими успехами.

Я с готовностью объяснил, что голованы — это разумная, киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций.

— Киноиды? Собаки?

— Да. Разумные собакообразные. У них огромные головы, отсюда — голованы.

— Значит, Лева занимается собакообразными... Добился своего...

Я возразил, что совсем не знаю, чем занимается Лева сейчас, однако двадцать лет назад он голованами занимался, и с большим успехом.

— Он всегда любил животных, — сказал Сергей Павлович, я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда комиссия по распределению направила его в школу прогрессоров, я протестовал как мог, но меня не послушались... Впрочем, там было все сложнее, может быть, если бы я не стал протестовать...

Он замолчал и налил мне в стакан молока. Очень, очень сдержанный человек. Никаких возгласов, никаких: «Лева! Как же! Это был такой замечательный мальчишка!» Конечно, вполне может быть, что Лева не был замечательным мальчишкой...

— Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно? — спросил Сергей Павлович.

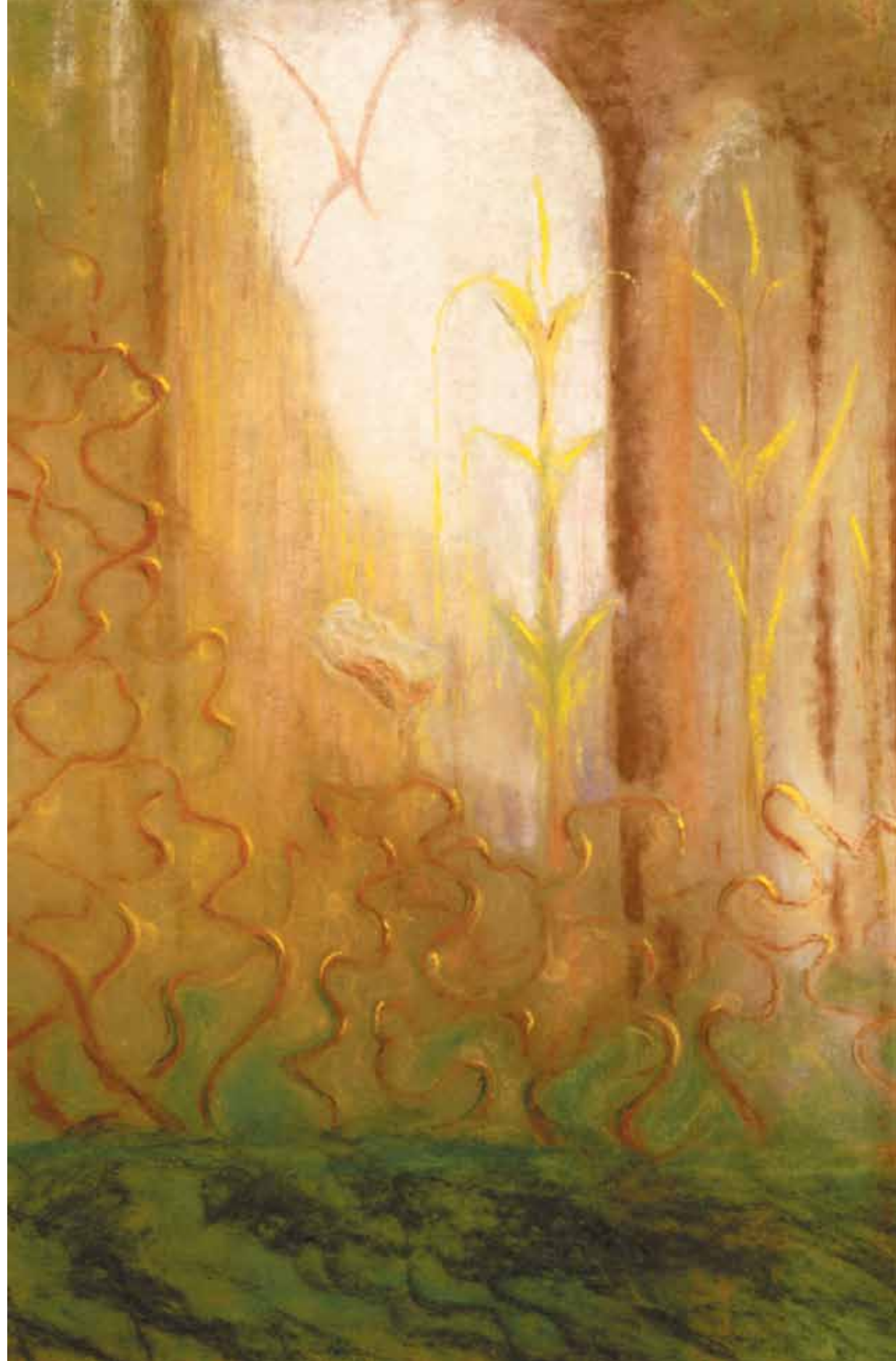
— Все! — ответил я быстро. — Каким он был. Чем увлекался. С кем дружил. Чем славился в школе. Все, что вам запомнилось.

— Хорошо, — сказал Сергей Павлович без всякого энтузиазма. — Попробую.

Лев Абалкин был мальчик замкнутый. С самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем, замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. Это была, скорее, замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят

своим собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг — за исключением людей. Это не такое уж редкое явление среди ребятишек, просто он был талантлив в этом, а удивляло в нем как раз другое: при всей своей ранней замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре, особенно в театре. Но, правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел с большим вдохновением, с необычным для него блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился самим собой — уклончивым, молчаливым, неприступным. И таким он был не только с учителем, но и с ребятами, и так и не удалось разобраться, в чем же тут причина. Можно предполагать только, что его талант в общении с живой природой настолько преобладал над всеми остальными движениями его души, что окружающие ребята — да и вообще все люди — были ему просто неинтересны. На самом деле, конечно, все это было гораздо сложнее — эта его замкнутость, эта погруженность в собственный мир явились тысячью микрособытий, которые остались вне поля зрения учителя. Учитель вспомнил такую сценку: после проливного дождя Лев ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал обратно в траву. Ребятam это показалось смешным, и были среди них такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать. Учитель, не говоря ни слова, присоединился к Леве и стал собирать выползков вместе с ним...

— Но, боюсь, он мне не поверил. Вряд ли мне удалось убедить его, что судьба червяков меня интересует на самом деле. А у него было еще одно заметное качество: абсолютная честность. Я не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от вранья чистое, бескорыстное удовольствие. А он не врал. И более



того, он презирал тех, кто врет. Даже если ввали бескорыстно, для интереса. Я подозреваю, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. Этот момент я тоже пропустил... Впрочем, вряд ли это вам нужно. Вам ведь гораздо интереснее узнать, как проклевывался в нем будущий зоопсихолог...

И Сергей Павлович принялся рассказывать, как зоопсихолог проклевывался в Леде Абалкине.

Назвался груздем — полезай в кузов. Я слушал с самым внимательным видом, в надлежащих местах вставлял: «Ах, вот как?», а один раз даже позволил себе вульгарное восклицание: «Черт возьми, это как раз то, что мне нужно!». Иногда я очень не люблю свою профессию.

Потом я спросил:

— А друзей у него, значит, было немного?

— Друзей у него не было совсем, — сказал Сергей Павлович. — Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклоняется от встреч.

И вдруг его прорвало.

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не могу считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! С самого первого дня и десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в десять раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло...

— Сергей Павлович! — сказал я. — Что вы говорите? Абалкин — великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним...

— И как вы его нашли?

— Замечательный мальчишка, энтузиаст... Это как раз была первая экспедиция к головам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды... И они оправдались, эти надежды, заметьте!

— У меня прекрасная малина, — сказал он. — Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас...

Я осекся и принял блюдо с малиной.

— Голованы... — проговорил он с горечью. — Возможно, возможно. Но, видите ли, я и сам знаю, что он талантлив. Только моей-то заслуги никакой в этом нет...

Некоторое время мы молча поедали малину с молоком. Я почувствовал, что он вот сейчас, с минуты на минуту переведет разговор на меня. Он явно не собирался больше говорить о Леде Абалкине, и простая вежливость требовала теперь поговорить обо мне. Я быстро сказал:

— Очень вам благодарен, Сергей Павлович. Вы дали мне массу интересного материала. Единственно только жаль, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал найти какого-нибудь его друга.

— Я могу, если хотите, назвать вам имена его одноклассников... — он замолчал и вдруг сказал: — Вот что. Попробуйте найти Майю Глумову.

Выражение лица его меня поразило. Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него в связи с этим именем, но можно было поручиться наверняка, что самые неприятные. Он даже весь пошел бурыми пятнами.

— Школьная подруга? — спросил я, чтобы скрыть неловкость.

— Нет, — сказал он. — то есть она, конечно, училась в нашей школе. Майя Глумова. По-моему, она стала потом историком.

1 июня 78-го года

Маленький инцидент с Ядвигой Михайловной

В 19.23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и пяти минут, как информационная карточка лежала передо мной.

Майя Тойвовна Глумова была на три года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при КОМКОНе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась вначале по ранней эпохе первой НТР, после чего занялась историей первых космических исследований. У нее был сын Тойво Глумов одиннадцати лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время — о чудо! — она работала сотрудником спецфонда Музея внеземных культур, который располагался в трех кварталах от нас, на Площади Звезды. И жила она совсем неподалеку — на аллее Канадских Елей.

Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойво Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался.

Так. Придется ждать до утра, а утром она будет долго вспоминать, кто же это такой, Лев Абалкин, и затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхала о нем вот уже двадцать пять лет.

Ладно. У меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особых надежд я возлагать не осмеливался. В конце концов, после четверть-

вековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто — со своим учителем, нередко — со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал, специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более если учесть, что этот школьный врач пребывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже второй день работает неуверенно из-за флуктуаций нейтринного поля.

Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаосе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас.

Мне повезло. Ядвига Михайловна Леканова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с нею немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Ядвиги Михайловны полное, до блеска загорелое лицо с пышным темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким бархатым голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И, по всему видно, кружила.

Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови.

— Лев Абалкин?... Лева Абалкин... Простите, как вас зовут?

— Максим Каммерер.

— Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?

— Да как вам сказать... Я договорился с издательством, они заинтересовались...

— Но вы сами — просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой профессии — журналист...

Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.

— Видите ли, Ядвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать... Основная профессия у меня... Н-ну, пожалуй, прогрессор... Хотя, когда я начинал работать, такой профессии еще не существовало. В недалеком прошлом я — сотрудник КОМКОНа... Да и сейчас связан с ним в известном смысле...

— Ушли на вольные хлеба? — сказала Ядвига Михайловна.

Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного. И в то же время — весьма и весьма обычного.

— Вы знаете, Максим, — сказала она, — я с удовольствием с вами поговорю о Леве Абалкине, но с вашего позволения — через некоторое время. Давайте, я вам позвоню... Через час-полтора.

Она все еще улыбалась, и я понял, чего не хватает теперь в ее улыбке, — самой обыкновенной доброжелательности.

— Ну, разумеется, — сказал я, — как вам будет удобно...

— Извините меня, пожалуйста.

— Нет, это вы должны меня извинить...

Она записала номер моего канала, и мы расстались. Станный какой-то получился разговор. Словно она узнала откуда-то, что я вру. Я пощупал уши. Уши у меня горели. Пр-р-роклтая профессия... «И началась самая увлекательная из охот — охота на человека...» О тэмпора, о морэс! Как они часто все-таки ошибались, эти классики... Ладно, подождем. И ведь придется, наверное, лететь в этот Манаос. Я запросил сводку. Нуль-связь была попрежнему неустойчивой. Тогда я заказал стратолет, раскрыл папку и принялся читать отчет Льва Абалкина об операции «Мертвый мир».

Я успел прочитать страниц пять, не больше. В дверь стукнули, и через порог шагнул Экселенц. Я поднялся.

Нам редко приходилось видеть Экселенца иначе, как за его столом, и всегда как-то забываешь, какая это костлявая громадина. Безупречно белая полотняная пара болталась на нем, как на вешалке, и вообще было в нем что-то от циркача на ходулях, хотя движения его вовсе не были угловатыми.

— Сядь, — сказал он, сложился пополам и опустился в кресло передо мной.

Я тоже поспешно сел.

— Докладывай, — приказал он.

Я доложил.

— Это все? — спросил он с неприятным выражением.

— Пока все.

— Плохо, — сказал он.

— Так уж и плохо, Экселенц... — сказал я.

— Плохо! Наставник умер. А школьные друзья? Я вижу, они у тебя даже не запланированы! А его одноклассники по школе прогрессоров?

— К сожалению, Экселенц, у него, по-видимому, не было друзей. В интернате, во всяком случае, а что касается прогрессоров...

— Уволь меня от этих рассуждений. Проверь все. И не отвлекайся. При чем здесь детский врач, например?

— Я стараюсь проверить все, — сказал я, начиная злиться.

— У тебя нет времени мотаться на стратолетах. Занимайся архивами, а не полетами.

— Архивами я тоже займусь. Я собираюсь заняться даже этим голованом. Щекном. Но у меня намечен определенный порядок... Я вовсе не считаю, что детский врач — это совсем уж пустая трата времени...

— Помолчи-ка, — сказал он, — дай мне твой список.

Он взял список и долго изучал его, время от времени пошевеливая костлявым носом. Я голову готов был дать на отсечение, что он уставился на какую-то одну строчку

и смотрит на нее, не отрывая глаз. Потом он вернул мне листок и сказал:

— Щекн — это неплохо. И легенда твоя мне нравится. А все остальное — плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя в папке ты не найдешь об этом ничего. Ищи. И эту... Глумову... Это тоже хорошо. Если у них там была любовь, то это шанс. А Леканову оставь. Это тебе не нужно.

— Но она же все равно позвонит!

— Не позвонит, — сказал он.

Я посмотрел на него. Круглые зеленые глаза не мигали, и я понял, что да, Леканова не позвонит.

— Послушайте, Экселенц, — сказал я, — вам не кажется, что я работал бы втрое успешнее, если бы знал, в чем тут дело?

Я был уверен, что он отрежет: «Не кажется». Вопрос мой был чисто риторическим... Я просто хотел продемонстрировать ему, что атмосфера таинственности, окружавшая Льва Абалкина, не осталась мною незамеченной и мешает мне.

Но он сказал другое.

— Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать. Да и не хочу.

— Тайна личности? — спросил я.

— Да, — сказал он, — тайна личности.

Из отчета Льва Абалкина

...К десяти часам порядок движения устанавливается окончательно. Идем посередине улицы: впереди по оси маршрута — Щекн, за ним и левее — я. От принятого порядка движения — прижимаясь к стенам — пришлось отказаться, потому что тротуары завалены осыпавшейся штукатуркой, битыми



кирпичами, осколками оконного стекла, проржавевшей кровельной жестью, и уже дважды обломки карнизов без всякой видимой причины обрушивались чуть ли не нам на головы.

Погода не меняется, небо по-прежнему в тучах, налетает порывами влажный теплый ветер, гонит по разбитой мостовой неопределенный мусор, рябит вонючую воду в черных застойных лужах. Налетают, рассеиваются и снова налетают полчища комаров. Штурмовые волны комаров. Целые комариные смерчи. Очень много крыс. Непонятно, чем они питаются в этой каменной пустыне. Разве что змеями. Змей тоже очень много, особенно вблизи канализационных люков, где они собираются в спутанные шевелящиеся клубки. Чем питаются здесь змеи — тоже непонятно. Разве что крысами.

Город безусловно и давно покинут. Тот человек, которого мы встретили на окраине, был, конечно, сумасшедший и забрел сюда случайно.

Сообщение от группы Рэма Желтухина. Он пока вообще никого не встретил. Он в восторге от своей свалки и клянется в ближайшее время определить индекс здешней цивилизации с точностью до второго знака. Я пытаюсь представить себе эту свалку — гигантскую, без начала и без конца, завалившую полмира. У меня портится настроение, и я перестаю об этом думать.

Мимикридный комбинезон работает неудовлетворительно. Защитная окраска, соответствующая фону, проявляется на мимикриде с задержкой на пять минут, а иногда и вовсе не проявляется, а вместо нее возникают удивительной красоты и яркости пятна самых чистых спектральных цветов. Надо думать, здесь в атмосфере есть что-то такое, что сбивает с толку отрегулированный химизм этого вещества. Эксперты комиссии по камуфляжной технике отказались от надежды отладить работу комбинезона дистанционно. Они дают мне рекомендации, как произвести регулировку на месте.



Я следую этим рекомендациям, в результате чего комбинезон мой теперь разрегулирован окончательно.

Сообщение от группы Эспады. Судя по всему, при высадке в тумане они промахнулись на несколько километров: ни возделанных полей, ни поселений, замеченных с орбиты, они не наблюдают. Наблюдают океан и побережье, покрытое километровой ширины полосой черной коросты — похоже, застывшим мазутом. У меня снова портится настроение.

Эксперты категорически протестуют против решения Эспады полностью отключить камуфляж. Маленький, но шумный скандальчик в эфире. Щекн ворчливо замечает:

— Пресловутая человеческая техника! Смешно.

На нем нет никакого комбинезона, и нет на нем тяжелого шлема с преобразователями, хотя все это было для него специально приготовлено. Он отказался от всего этого, как обычно, без объяснения причин.

Он бежит по полустертой осевой линии проспекта вразвалку, слегка занося задние ноги, как это делают иногда наши собаки, толстый, мохнатый, с огромной круглой головой, как всегда повернутой влево, так что правым глазом он смотрит строго вперед, а левым словно бы косится на меня. На змей он не обращает внимания вовсе, как и на комаров, а вот крысы его интересуют, но только с гастрономической точки зрения. Впрочем, сейчас он сыт.

Мне кажется, он уже сделал для себя кое-какие выводы и по поводу города, и, возможно, по поводу всей этой планеты. Он равнодушно уклонился от осмотра на диво сохранившегося особняка в седьмом квартале, совершенно неуместного своей красотой и элегантностью среди ободранных временем слепых, заросших диким ползуном зданий. Он только брезгливо обнюхал двухметровые колеса военной бронированной машины, пронзительно и свежо воняющей бензином, полупогребенной под развалинами рухнувшей стены, и он без

всякого любопытства наблюдал за сумасшедшей пляской дивного бедняги-аборигена, который выскочил на нас, звеня бубенчиками, гримасничая, весь в развевающихся разноцветных то ли лохмотьях, то ли лентах. Все эти странности Щекну безразличны, он почему-то не желал выделить их из общего фона катастрофы, хотя поначалу, на первых километрах пути, он был явно возбужден, искал что-то, поминутно нарушая порядок движения, что-то вынюхивал, фыркая и отплевываясь, бормоча неразборчиво на своем языке...

— А вот что-то новенькое, — говорю я.

Это что-то вроде кабины ионного душа — цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Овальная дверца во всю его высоту распахнута. Похоже, что когда-то эта кабина стояла вертикально, а потом подложили под нее сбоку заряд взрывчатки, и теперь ее сильно накренило, так что край ее днища приподнялся вместе с приросшим к нему пластом асфальта и глинистой земли. В остальном она не пострадала, да там в ней и нечему было страдать — внутри она была пустая, как пустой стакан.

— Стакан, — говорит Вандерхузе, — но с дверцей.

— Ионный душ, — говорю я. — Но без оборудования. Или, например, кабина регулировщика. Я видел очень похожие на Саракше, только там они из жести и стекла. Кстати, на тамошнем сленге они так и называются: «стакан».

— А что он регулирует? — с любопытством осведомился Вандерхузе.

— Уличное движение на перекрестках, — говорю я.

Диктую ему донесение. Приняв донесение, он осведомляется:

— А вопросы?

— Два естественных вопроса: зачем эту штуку здесь поставили и кому она помешала? Обращаю внимание: никаких проводов и кабелей нет. Щекн, у тебя есть вопросы?

Щекн более чем равнодушен — он чешется, повернувшись к кабине задом.

— Мой народ не знает таких предметов, — сообщает он высокомерно, — моему народу это неинтересно, — и он снова принимается чесаться с самым откровенным вызовом.

— У меня все, — говорю я Вандерхузе, и Щекн тут же поднимается и трогается дальше.

Его народу это, видите ли, неинтересно, думаю я, шагая следом и левее. Мне хочется улыбнуться, но улыбаться ни в коем случае нельзя. Щекн не терпит такого рода улыбок, чуткость его к малейшим оттенкам человеческой мимики поразительна. Странно, откуда у голованов эта чуткость? Ведь физиономии их (или морды?) почти совсем лишены мимики — по крайней мере на человеческий глаз. У обыкновенной дворняги мимика значительно богаче. А вот в человеческих улыбках он разбирается великолепно. Вообще, голованы разбираются в людях в сто раз лучше, чем люди в голованах. И я знаю почему. Мы стесняемся. Они разумны, и нам неловко их исследовать. А вот они подобной неловкости не ощущают. Когда мы жили у них в крепости, когда они укрывали нас, кормили, поили, оберегали, сколько раз я вдруг обнаруживал, что надо мной произвели очередной эксперимент! И Марта жаловалась Комову на то же, и Раулингсон, и только Комов никогда не жаловался — я думаю, просто потому, что он слишком самолюбив для этого. А тарасконец в конце концов просто сбежал. Уехал на Пандору, занимается своими чудовищными тахоргами и счастлив... Почему Щекна так заинтересовала Пандора? Он всеми правдами и неправдами оттягивал отлет. Надо будет потом проверить, точно ли, что группа голованов попросила транспорт для переселения на Пандору.

— Щекн, — говорю я, — тебе хотелось бы жить на Пандоре?

— Нет, мне нужно быть с тобой.

Ему нужно быть. Вся беда в том, что в их языке всегда одна модальность. Никакой разницы между «нужно», «должно», «хочется», «может» не существует. И когда Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы наугад. Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Может быть, он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему плохо без меня, что ему нравится быть только со мной. А может быть, что это его обязанность — быть со мной, что ему поручено быть со мной и что он намерен честно выполнить свой долг, хотя больше всего на свете ему хочется пробираться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох, наслаждаясь каждым запахом, которых на Пандоре хоть отбавляй...

Через улицу узорчатой металлической лентой заструилась огромная змея, свернувшись спиралью перед Щекном и угрожающе подняла ромбическую голову. Щекн даже не останавливается — небрежно и коротко взмахивает передней лапой, ромбическая голова отлетает на тротуар, а он уже трусит дальше, оставив позади извивающееся клубком обезглавленное тело.

Эти чудаки боялись отпустить меня вдвоем с Щекном! Первоклассный боец, умница, с невероятным чутьем на опасность, абсолютно бесстрашен — не по-человечески бесстрашен... Но. Разумеется, не обходится и без некоторого «но». Если придется, я буду драться за Щекна как за землянина, как за самого себя. А Щекн? Не знаю. Конечно, на Саракше они дрались, и убивали, и гибли, прикрывая меня, но всегда мне казалось почему-то, что не за меня они дрались, не за друга своего, а за некий отвлеченный, хотя и очень дорогой для них принцип... Я дружу с Щекном уже пять лет, у него еще перепонки между пальцами не отпали, когда мы с ним познакомились, я учил его языку и как пользоваться линией доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями, в которых наши врачи так и не сумели ничего понять. Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными

высказываниями, прощал ему то, что не прощаю никому в мире. И до сих пор я не знаю, кто я для него...

Вызов с корабля. Вандерхузе сообщает, что Рэм Желтухин нашел на своей свалке ружье. Информация пустяковая. Просто Вандерхузе хочется, чтобы я не молчал. Он очень беспокоится, добрая душа, когда я долго молчу. Мы говорим о пустяках.

Каждый раз, когда я нахожусь на связи, Щекн принимается вести себя, как собака, — то кормится, то чешется, то ищется. Он прекрасно знает, что я этого не люблю, и устраивает демонстрации, словно мстит мне за то, что я отвлекаюсь от нашего одиночества вдвоем.

Начинается мелкий морозящий дождь. Проспект впереди заволакивает серая зыбкая мгла. Мы минуем семнадцатый квартал (поперечная улица вымощена булыжником), проходим мимо проржавевшего автофургона на спущенных баллонах, мимо неплохо сохранившегося, облицованного гранитом здания с фигурными решетками на окнах первого этажа, и слева от нас начинается парк, отделенный от проспекта низкой каменной оградой.

В тот момент, когда мы проходим мимо покосившейся арки ворот, из мокрых, буйно разросшихся кустов с шумом и бубенчиковым звоном выскакивает на ограду пестрый нелепый длинный человек.

Он худой, как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и остекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны, ходуном ходят разболтанные и словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги непрерывно дергаются и приплясывают на месте, так что из-под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка.

Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку: красную, желтую, синюю и зеленую, и

беспрестанно звенят бубенчики, нашитые в беспорядке на его рукавах и штанинах, и дробно и звонко щелкают в замысловатом ритме узловатые пальцы. Паяц. Арлекин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе под серым сеющим дождем на фоне одичалого парка, превратившегося в лес. Это, без всякого сомнения, безумец. Еще один безумец.

В первое мгновение мне кажется, что это тот же самый, с окраины. Но тот был в разноцветных ленточках и в дурацком колпаке с колокольчиком, и был гораздо ниже ростом, и не казался таким изможденным. Просто оба они были пестрые, и оба сумасшедшие, и представляется совершенно невероятным, чтобы первые два аборигена, встреченные на этой планете, оказались сумасшедшими клоунами.

— Это не опасно, — говорит Щекн.

— Мы обязаны ему помочь, — говорю я.

— Как хочешь. Он будет нам мешать.

Я и сам знаю, что он будет нам мешать, но делать нечего, и я начинаю придвигаться к пляшущему паяцу, готовя в перчатке присоску с транквилизатором.

— Опасно сзади! — говорит вдруг Щекн.

Я круто оборачиваюсь. Но на той стороне улицы ничего особенного: двухэтажный особняк с остатками ядовито-фиолетовой покраски, фальшивые колонны, ни одного целого стекла, дверной пролом в полтора этажа зияет тьмой. Дом как дом, однако Щекн глядит именно на него в позе самого напряженного внимания. Он присел на напружиненных лапах, низко пригнул голову и настропалил маленькие треугольные уши. У меня холодок проливается между лопаток: с самого начала маршрута Щекн еще ни разу не становился в эту редкую позу. Позади отчаянно дребезжат колокольчики, и вдруг становится тихо. Только шорох дождя.

— В каком окне? — спрашиваю я.

— Не знаю, — Щекн медленно поводит тяжелой головой справа налево. — Ни в каком окне. Хочешь — посмотрим? Но уже меньше... — Тяжелая голова медленно поднимается. — Все. Как всегда.

— Что?

— Как сначала.

— Опасно?

— С самого начала опасно. Слабо. А сейчас было сильно. И опять, как сначала.

— Люди? Зверь?

— Очень большая злоба. Непонятно.

Я оглядываюсь на парк. Сумасшедшего паяца больше нет, и ничего нельзя различить в мокрой, плотной зелени.

Вандерхузе страшно обеспокоен. Я диктую донесение. Вандерхузе боится, что это была засада и что паяц должен был меня отвлекать. Никак ему не понять, что в этом случае засада бы удалась, потому что паяц меня действительно отвлек так, что я ничего не видел и не слышал, кроме него. Вандерхузе предлагает выслать к нам группу поддержки, но я отказываюсь. Задание у нас пустяковое, и скорее всего нас самих скоро снимут с маршрута и перебросят в поддержку хотя бы тому же Эспаде.

Сообщение от группы Эспады: его обстреляли. Трассирующими пулями. Похоже, предупредительный обстрел. Эспада продолжает движение. Мы — тоже. Вандерхузе взволнован до последней крайности, голос у него совсем жалобный.

Пожалуй, с капитаном нам не повезло. У Эспады капитан — прогрессор. У Желтухина капитан — прогрессор. А у нас — Вандерхузе. Все это оправданно, разумеется: Эспада — это группа контакта, Рэм — основной поставщик информации, а мы с Щекном — просто пешие разведчики в пустом безопасном районе. Вспомогательная группа. Но когда что-нибудь случится, а ведь всегда что-нибудь случается, то рассчитывать нам придется только на себя. В конце концов старый милый

Вандерхузе — это всего-навсего звездолетчик, опытный космический волк. В плоть и кровь впиталась у него инструкция 06/3: «При обнаружении на планете признаков разумной жизни НЕМЕДЛЕННО стартовать, уничтожив по возможности все следы своего пребывания...» А здесь — предупредительный обстрел, очевиднейшее нежелание вступать в контакт, и никто не только не собирается стартовать немедленно, а наоборот, продолжает движение и вообще прет на рожон...

Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезлая, заплесневелая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины с левой стороны. Движение здесь, видимо, было левосторонним. Многие грузовики открытые, в кузовах громоздится домашний скраб. Похоже на следы массовой эвакуации, только непонятно, почему они двигались к центру города. Может быть, в порт?

Щекн вдруг останавливается и выставляет из густой шерсти на макушке треугольные уши. Мы совсем недалеко от перекрестка, перекресток пуст, и проспект за ним тоже пуст, насколько позволяет видеть серая дымка.

— Вонь, — говорит Щекн. И чуть помедлив: — Звери. — И еще помедлив: — Много. Идут сюда. Слева.

Теперь я тоже слышу запах, но это всего лишь запах мокрой ржавчины от грузовиков. И вдруг тысячегной топот и костяное постукивание, взвизги, приглушенное рычание, сопение и фыркание. Тысячи ног. Тысячи глоток. Стая. Я озираюсь, ища подходящий подъезд, чтобы отсиживаться.

— Дрянь, — говорит Щекн, — собаки.

В ту же секунду из переулка слева хлынуло. Собаки. Сотни собак. Тысячи. Плотный серо-желто-черный поток, топочущий, сопящий, остро воняющий мокрой псиной. Голова потока уже втянулась в переулок направо, а поток все льется и льется, но вот несколько тварей отделяются от стаи и круто поворачивают к нам — крупные облезлые животные,

худущие, в клочьях свалявшейся шерсти. Бегающие нечистые глазки, желтые слюнявые клыки. Тоненько, словно бы жалобно потягивая, они приближаются к нам трусцой и не прямо, а по какой-то замысловатой дуге, горбя бугристые туловища и заводя под себя подрагивающие хвосты.

— В дом! — вопит Вандерхузе. — Что же вы стоите? В дом!

Я прошу его не шуметь. Сую руку под клапан комбинезона и беру за рукоятку скорчера. Щекн говорит:

— Не надо. Я сам.

Он медленно, вразвалку направляется навстречу собакам. Он не принимает боевой позы. Он просто идет.

— Щекн, — говорю я, — давай не будем связываться.

— Давай, — отзывается Щекн, не останавливаясь.

Я не понимаю, что он задумал, и, держа скорчер стволом вниз в опущенной руке, иду вдоль колонны грузовиков параллельным курсом. Мне надо увеличить сектор обстрела на тот случай, если грязно-желтый поток разом повернет на нас. Щекн все идет, а собаки остановились. Они пятятся, поворачиваясь к Щекну боком, еще сильнее горбясь и совершенно упрятав хвосты между ногами, и, когда до ближайшей остается десяток шагов, они вдруг с паническим визгом бросаются наутек и мгновенно сливаются со стаей.

А Щекн все идет. Прямо по осевой, неторопливо, вразвалочку, словно перекресток перед ним совершенно пуст. Тогда я стискиваю зубы, поднимаю скорчер наизготовку и перехожу на осевую позади Щекна. Грязно-желтый поток уже совсем рядом.

И тут внезапно над перекрестком поднимается отчаянный визг. Стая разрывается, очищая дорогу. Через несколько секунд в переулке справа не осталось ни одной собаки, а переулок слева забит шевелящейся массой косматых тел, упирающих лап и оскаленных пастей.



Мы пересекаем перекресток, усеянный клочьями грязной шерсти, вопящий ад остается за спиной, и тогда я заставляю себя остановиться и поглядеть назад. Середина перекрестка по-прежнему пуста. Стая повернула. Обтекая колонну грузовых машин, она двигается теперь от нас по проспекту в сторону окраины. Визг и вой понемногу стихают, еще минута — и все становится как прежде: слышится только деловитый тысячелопный топот, костяное постукивание, сопение, фыркание. Я перевожу дух и засовываю скорчер обратно в кобуру. Я здорово перетрусил.

Вандерхузе устраивает нам разнос. Мы получаем выговор. Оба. За наглость и мальчишество. Вообще говоря, Щекн чрезвычайно чувствителен к репримандам, но сейчас он почему-то не протестует. Он только ворчит: «Скажи ему, что никакого риска не было. — И добавляет: — Почти...» Я диктую донесение об инциденте. Я не понял, что произошло на перекрестке, и естественно, что еще меньше понимает Вандерхузе. Я уклоняюсь от его расспросов. Напираю главным образом на то, что сейчас стая движется в направлении корабля.

— Если они дойдут до вас, пугните их огнем, — заключаю я.

Мы проходим до конца двадцать второго квартала, и тут я замечаю, что живность совершенно исчезла с улицы — ни одной крысы, ни одной змеи, и даже лягушек совсем не видно. Попрятались из-за собак, думаю я нерешительно. Я знаю, что это не так. Это Щекн.

На четвертом году нашего знакомства вдруг обнаружилось, что Щекн неплохо владеет английским языком. Примерно тогда же я выяснил, что Щекн сочиняет музыку — ну, не симфоническую, конечно, а песенки, простенькие песенные мелодии, очень милые, вполне приемлемые для слуха землян. А теперь вот еще что-то.

— Как ты догадался про огонь? — осведомляется он.

Я настораживаюсь. Оказывается, я догадался про огонь! Когда же это я успел?

— Смотря про какой огонь, — говорю я наугад.

— Ты не понимаешь, о чем я говорю? Или не хочешь говорить?

Огонь, огонь, торопливо думаю я. Я чувствую, что сейчас мне, может быть, доведется узнать нечто важное. Если не торопиться. Если подавать точные реплики. Когда же это я говорил об огне? Да! «Пугните их огнем».

— Каждый ребенок знает, что животные боятся огня, — говорю я, — поэтому я и догадался. Разве это было так трудно — догадаться?

— По-моему, это было трудно, — ворчит Щекн, — до сих пор ты не догадывался.

Он замолкает и перестает косить глазом. Поговорили. Все-таки он умница. Понимает, что либо я не понял, либо не хочу говорить при посторонних... И в том, и в другом случае разговор лучше закруглить... Итак, я догадался про огонь. На самом деле я ни о чем не догадался. Я просто сказал Вандерхузе: «Пугните их огнем». И Щекн решил, что я о чем-то догадался. Огонь, огонь... У Щекна, естественно, не было никакого огня... Значит, был. Только я его не видел, а собаки видели. Вот так-так, этого только еще не хватало. Ай да Щекн!

— А ты и обжигал их? — спрашиваю я вкрадчиво.

— Огонь обжигает, — отзывается Щекн сухо.

— И это умеет любой голован?

— Только земляне называют нас голованами. Южные выродки называют нас упырями. А в устье Голубой Змеи нас зовут мороками. А на архипелаге — цзеху... В русском языке нет соответствия. Это значит — «подземный житель, умеющий покорять и убивать силой своего духа».

— Понятно, — говорю я.

Всего лишь пять лет понадобилось мне, чтобы узнать: оказывается, мой ближайший друг, от которого я никогда ничего не скрывал, обладает способностью покорять и убивать силой своего духа. Будем надеяться, что только собачек, а вообще-то — кто его знает... Всего-навсего пять лет дружбы. Черт подери, почему меня это так задевает, в конце концов?

Щекн улавливает горечь в моем голосе мгновенно, но истолковывает ее по-своему.

— Не жадничай, — говорит он, — зато у вас есть много такого, чего у нас нет и никогда не будет. Ваши машины и ваша наука...

Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что за углом видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистая, словно бы припавшая к мостовой, — длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий, широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины, толстенькие колеса на резиновом ходу... С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленой и красной окисью, крючья станин распороли асфальт левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие, полураспавшиеся зарядные ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда.

Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные, заросшие плющом пробоины в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробоинами совершенно ни к селу ни к городу стоит небольшой, тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему, прямой наводкой, почти в упор, с пятидесяти метров, а зияющие дыры в стене дома над ним — это промахи, хотя с такого расстояния промахнуться, казалось,

было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и можно только поражаться прочности этого невзрачного желтого сооружения, принявшего на себя столько попаданий и все же не превратившегося в груды мусора.

Расположен павильон нелепо, и поначалу мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и отхватив часть мостовой, что, несомненно, должно было мешать движению транспорта.

Все, что здесь случилось, случилось очень давно, много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилась и давила на душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами.

Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекн, усевшись поодаль, брюзгливо отвесив губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом. «Люди... Какое же тут может быть сомнение... Разумеется, люди... Железо и огонь, развалины, всегда одно и то же...» Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу, и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает свои родные края — леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью...

На этой площади нам делать больше нечего. Разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины одна другой ужаснее. Мы идем дальше, а я думаю, что в эпохи глобальных катастроф цивилизации выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны,

и по ним можно судить, насколько неблагоприятна была данная цивилизация к моменту катаклизма, но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные катаклизмы — будь то глобальная пандемия, или всемирная война, или даже геологическая катастрофа, — выплескивают на поверхность одну и ту же накипь: ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий...

Сообщение от Эспады: он вступил в контакт. Приказ Ковова: всем группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика...

2 июня 78-го года

Майя Глумова, подруга Льва Абалкина

Я не стал предупреждать Майю Тойвовну о своем визите, а прямо в девять утра направился на Площадь Звезды.

На рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея из неотесанного мрамора весь влажно сверкал под солнцем. Еще издали я увидел перед главным входом небольшую пеструю толпу, а подойдя вплотную, услышал недовольные и разочарованные восклицания. Оказывается, музей был закрыт для посетителей по случаю подготовки какой-то новой экспозиции. Толпа состояла главным образом из туристов, но особенно негодовали в ней научные работники, выбравшие именно это утро для того, чтобы поработать с экспонатами. Не было им никакого дела до новых экспозиций. Заранее надо было предупреждать их о такого рода административных маневрах. А теперь вот считайте, что день у них пропал... Сумятицу усугубляли кибернетические уборщики, которых, видимо, забыли перепрограммировать, и теперь

они бессмысленно блуждали в толпе, путаясь у всех под ногами, шарахаясь от раздраженных пинков и поминутно вызывая взрывы злорадного хохота своими бессмысленными попытками пройти сквозь закрытые двери.

Уяснив обстановку, я не стал здесь задерживаться. Мне неоднократно приходилось бывать в этом музее, и я знал, где расположен служебный вход. Я обогнул здание и по тенистой аллейке прошел к широкой низкой дверце, едва заметной за сплошной стеной каких-то вьющихся растений. Эта пластиковая, под мореный дуб дверца тоже была заперта. У порога маялся еще один киберуборщик. Вид у него был безнадежно-унылый: за ночь он, бедняга, основательно разрядился, а теперь здесь, в тени, шансов вновь накопить энергию у него было немного.

Я отодвинул его ногой и сердито постучал. Отозвался замогильный голос:

— Музей внеземных культур временно закрыт для переоборудования центральных помещений под новую экспозицию. Просим прощения, приходите к нам через неделю.

— Массаракш! — произнес я вслух, озираясь в некоторой растерянности.

Никого вокруг, естественно, не было, и только кибер озабоченно стрекотал у меня под ногами. Видимо, его заинтересовали мои туфли.

Я снова отпихнул его и снова стукнул кулаком в дверь.

— Музей внеземных культур... — затянул было замогильный голос и вдруг смолк.

Дверь распахнулась.

— То-то же, — сказал я и вошел.

Кибер остался за порогом.

— Ну? — сказал я ему. — Заходи.

Но он попятился, словно бы не решаясь, и в ту же секунду дверь снова захлопнулась.

В коридорах стоял не очень сильный, но весьма специфический запах. Я уже давно успел заметить, что каждый музей обладает своим запахом. Особенно мощно пахло в зоологических музеях, но и здесь тоже попахивало основательно. Внеземными культурами, надо полагать.

Я заглянул в первое попавшееся помещение и обнаружил там двух совсем молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Я спросил, где мне найти Майю Тойвовну, получил подробные указания и пошел блуждать по переходам и залам спецсектора предметов материальной культуры невыясненного назначения. Здесь я никого не встретил. Широкие массы сотрудников пребывали, по-видимому, в центральных помещениях, где и занимались новой экспозицией, а здесь не было никого и ничего, кроме предметов невыясненного назначения. Но уж зато предметов этих я нагляделся по дороге досыта, и у меня мимоходом сложилось убеждение, что назначение их как было невыясненным, так и останется таковым во веки веков, аминь.

Майю Тойвовну я нашел в ее кабинете-мастерской. Когда я вошел, она подняла мне навстречу лицо — красивая, мало того, очень милая женщина, прекрасные каштановые волосы, большие серые глаза, слегка вздернутый нос, сильные обнаженные руки с длинными пальцами, свободная синяя блузка-безрукавка в вертикальную черно-белую полоску. Прелестная женщина. Над правой бровью у нее была маленькая черная родинка.

Она глядела на меня рассеянно, и даже не на меня, а как бы сквозь меня, глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она положила их перед собой и забыла о них.

— Прошу прощения, — сказал я, — меня зовут Максим Каммерер.



— Да. Слушаю вас.

Голос у нее тоже был рассеянный, и сказала она неправду: не слушала она меня. Не слышала она меня и не видела. И вообще, ей было явно не до меня сегодня. Любой приличный человек на моем месте извинился бы и потихоньку ушел. Но я не мог позволить себе быть приличным человеком. Я был сотрудником КОМКОНа-2 на работе. Поэтому я не стал извиняться, ни тем более уходить, а просто уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на физиономии простодушную приветливость, спросил:

— Что это у вас сегодня с музеем? Никого не пускают...

Кажется, она немножко удивилась.

— Не пускают? Разве?

— Ну я же вам говорю! Еле-еле пропустили через служебный вход.

— А, да... Простите, кто вы такой? У вас ко мне дело?

Я повторил, что я Максим Каммерер, и принялся излагать свою легенду.

И тут произошла удивительная вещь. Едва я произнес имя Льва Абалкина, как она словно бы проснулась. Рассеянность исчезла с ее лица, она вся вспыхнула и буквально впилась в меня своими серыми глазами. Но она не произнесла ни слова и выслушала меня до конца.

Она только медленно подняла со стола свои безвольно лежавшие руки, скрестила длинные пальцы и положила на них подбородок.

— Вы сами его знали? — спросила она.

Я рассказал об экспедиции в устье Голубой Змеи.

— И вы обо всем этом напишете?

— Разумеется, — сказал я, — но этого мало.

— Мало — для чего? — спросила она.

На лице ее появилось странное выражение — словно она с трудом сдерживала смех. У нее даже глаза заблестели.

— Понимаете, — начал я снова, — мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. На стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде...

— Но он же не стал специалистом в своей области, — сказала она, — они же сделали его прогрессором. Они же его... Они...

Нет, не смех она сдерживала, а слезы. И теперь перестала сдерживать. Упала лицом в ладони и разрыдалась. О господи! Женские слезы — это вообще ужасно, а тут я вдобавок ничего не понимал. Она рыдала бурно, самозабвенно, как ребенок, вздрагивая всем телом, а я сидел дурак дураком и не знал, что делать. В таких случаях всегда протягивают стакан воды, но в кабинете-мастерской не было ни стакана, ни воды, ни каких-либо заменителей — только стеллажи, уставленные предметами неизвестного назначения.

А она все плакала, слезы струйками протекали у нее между пальцами и капали на стол, она судорожно вздыхала, всхлипывала и говорила так, будто думала вслух — перебивая самое себя, без всякого порядка и без всякой цели.

...Он лупил ее — ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года — она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку: «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали!» Десять раз, двадцать раз подряд. Ей стало смешно, и вот тогда он выдал ей впервые...

...Это было прекрасно — быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни

и декламировал — для нее. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту — для нее. И нырял на тридцать два метра — для нее. И писал стихи по ночам — тоже для нее. Он очень ценил ее, свою собственную вещь, и все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего об этом не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал его учитель...

...У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными, кроме старого лося по имени Рекс, которого он признал равным себе, но потом с ним поспорил и прогнал его из леса...

...Дура, дура! Сначала все было так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться. Она прямо объявила ему, что не желает больше быть его вещью. Он отлупил ее, но она была упряма, она стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил ее, жестоко и беспощадно, как лупил своих волков, пытавшихся вырваться у него из повиновения. Но она-то была не волк, она была упрямее всех его волков вместе взятых. И тогда он выхватил из-за пояса свой нож, который самолично выточил из кости, найденной в лесу, и с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Он стоял перед ней с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» И он еще не успел повалиться, как она поняла, что он был прав. Был прав всегда, с самого начала. Но она, дура, дура, дура, так и не захотела признать этого...

...А в последний его год, когда она вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то случилось. Наверное, они уже взяли

его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись, идиоты. Проклятые разумные кретины. Он посмотрел сквозь нее и отвернулся. И больше уже не смотрел на нее. Она перестала существовать для него, как и все остальные. Он утратил свою вещь и примирился с потерей. А когда он снова вспомнил о ней, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, в котором он был владыкой, а она — самым ценным, что он имел. Они уже начали превращать его, он был уже почти прогрессор, он уже на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным. Он писал ей, она не отвечала. Он звал ее, она не откликалась. Надо было ему не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, стало бы по-прежнему. Но он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг, и он перестал ей писать...

...Последнее его письмо, как всегда написанное от руки, — он признавал только письма от руки, никаких кристаллов, никаких магнитных записей, только от руки, — последнее его письмо пришло как раз оттуда, из-за Голубой Змеи. «Стояли звери около двери, — писал он, — в них стреляли, они умирали». И больше ничего не было в этом его последнем письме...

Она лихорадочно выговаривалась, всхлипывая и сморкаясь в смятые лабораторные салфетки, и вдруг я понял, и через секунду она сказала это сама: она виделась с ним вчера. Как раз в то самое время, когда я звонил ей и беседовал с конопатым Тойво, и когда я дозванивался до Ядвиги, и когда я разговаривал с Экселенцем, и когда я валялся дома, изучая отчет об операции «Мертвый мир», — все это время она была с ним, смотрела на него, слушала его, и что-то там у них происходило, из-за чего она сейчас плакалась в жилетку незнакомому человеку.

2 июня 78-го года

Майя Глумова и журналист Каммерер

Она замолчала, словно опомнившись, и я тоже опомнился — только на несколько секунд раньше. Ведь я был на работе. Надо было работать. Долг. Чувство долга. Каждый обязан исполнять свой долг. Эти затхлые, шершавые слова. После того что мне довелось услышать. Плюнуть на долг и сделать все возможное, чтобы вытащить эту несчастную женщину из трясины ее непонятного отчаяния. Может быть, это и есть мой настоящий долг?

Но я знал, что это не так. Это не так по многим причинам. Например, потому, что я не умею вытаскивать людей из трясины отчаяния. Просто не знаю, как это делается. Не знаю даже, с чего здесь начинать. И поэтому мне больше всего хотелось сейчас встать, извиниться и уйти. Но и этого я, конечно, не сделаю, потому что мне надо непременно узнать, где они встречались и где он сейчас...

Она вдруг снова спросила:

— Кто вы такой?

Она задала этот вопрос голосом надтреснутым и сухим, и глаза у нее уже были сухие и блестящие, совсем больные глаза.

Пока я не пришел, она сидела здесь одна, хотя вокруг было полным-полно ее коллег и даже, наверное, друзей, все равно она была одна, может быть, даже кто-то и подходил к ней и пытался заговорить с нею, но она все равно оставалась одна, потому что здесь никто ничего не знал и не мог знать о человеке, переполнившем ее душу этим страшным отчаянием, этим жгучим, обессиливающим разочарованием и всем прочим, что скопилось в ней за эту ночь, рвалось наружу и не находило выхода, и вот появился я и назвал имя Льва Абалкина — словно полоснул скальпелем по невыносимому нарыву. И тогда

ее прорвало, и на какое-то время она ощутила огромное облегчение, сумела наконец выкричаться, выплакаться, освободиться от боли, разум ее освободился, и тогда я перестал быть целителем, я стал тем, кем и был на самом деле — совершенно чужим, посторонним и случайным человеком. И сейчас ей становилось ясно, что на самом деле я не могу быть совсем уж случайным человеком, потому что таких случайностей не бывает. Не бывает так, чтобы расстаться с возлюбленным двадцать лет назад, двадцать лет ничего не знать о нем, двадцать лет не слышать его имени, а потом, двадцать лет спустя, снова встретиться с ним и провести с ним ночь, страшную и горькую, страшнее и горше любой разлуки, и чтобы наутро, впервые за двадцать лет, услышать его имя от совершенно случайного, чужого, постороннего человека...

— Кто вы такой? — спросила она надтреснутым и сухим голосом.

— Меня зовут Максим Каммерер, — ответил я в третий раз, всем видом своим изображая крайнюю растерянность, — я в некотором роде журналист... Но ради бога... Я, видимо, попал не вовремя... Понимаете, я собираю материал для книги о Льве Абалкине...

— Что он здесь делает?

Она мне не верила. Может быть, она чувствовала, что я ищу не материал о Льве Абалкине, а самого Льва Абалкина. Мне надо было приспособливаться. И побыстрее. И я, разумеется, приспособился.

— В каком смысле? — спросил журналист Каммерер озадаченно и с некоторой даже тревогой.

— У него здесь задание?

Журналист Каммерер обалдел.

— 3-задание? Н-не совсем понимаю... — журналист Каммерер был жалок. Без всякого сомнения, он был не готов к такой встрече. Он попал в дурацкое положение помимо своей

воли и совершенно не представлял себе, как из этого положения выпутаться. Больше всего на свете журналисту Каммереру хотелось убежать. — Майя Тойвовна, ведь я... Ради бога, вы не подумайте только... Считайте, что я ничего здесь не слышал... Я уже все забыл!.. Меня здесь вообще не было!.. Но если я могу чем-то помочь вам...

Журналист Каммерер лепетал бессвязицу и был багров от смущения. Он уже не сидел. Он в предупредительной и крайне неудобной позе как бы нависал над столом и все пытался ободряюще взять Майю Тойвовну за локоть. Он был, вероятно, довольно противен на вид, но уж наверняка совершенно безвреден и глуповат.

— ...У меня, видите ли, такая манера работы... — бормотал он в жалкой попытке как-то оправдаться. — Вероятно, спорная, не знаю, но раньше мне всегда это удавалось... Я начинаю с периферии: друзья, сотрудники... Учителя, разумеется... Наставники... А потом уже — так сказать, во всеоружии — приступаю к главному объекту исследования... Я справлялся в КОМКОНе, мне сказали, что Абалкин вот-вот должен вернуться на Землю... С учителем я уже поговорил... С врачом... Потом решил — с вами... Но не вовремя... Простите и еще раз простите. Я же не слепой, я вижу, что получилось какое-то крайне неприятное совпадение...

И он-таки успокоил ее, этот неуклюжий и глуповатый журналист Каммерер. Она откинулась в кресле и прикрыла лицо ладонью. Подозрения исчезли, проснулся стыд, и навалилась усталость.

— Да, — сказала она, — это совпадение...

Теперь журналисту Каммереру следовало повернуться и удалиться на цыпочках. Но не такой он был человек, этот журналист. Не мог он вот так, попросту, оставить в одиночестве измученную, расстроенную женщину, без всякого сомнения, нуждающуюся в помощи и поддержке.

— Разумеется, совпадение и не более того... — бормотал он. — И забудем, и ничего не было... Потом, когда-нибудь, когда вам будет удобно... Угодно... Я бы с величайшей благодарностью, разумеется... Конечно, это не в первый раз случается в моей работе, что я сначала беседую с главным объектом, а потом уже... Майя Тойвовна, может быть, позвать кого-нибудь? Я мигом...

Она молчала.

— Ну и не надо, ну и правильно... Зачем? Я посижу здесь с вами на всякий случай...

Она наконец отняла руку от глаз.

— Не надо вам со мной сидеть, — устало сказала она. — Ступайте лучше к своему главному объекту...

— Нет-нет-нет! — запротестовал журналист Каммерер. — Успео. Объект, знаете, объектом, а я бы не хотел оставлять вас одну... Времени у меня сколько угодно... — он посмотрел на часы с некоторой тревогой. — А объект теперь никуда не денется! Теперь я его поймаю... Да его и дома-то сейчас, скорее всего, нет. Знаю я этих прогрессоров в отпуске... Бродит, наверное, по городу и предается сентиментальным воспоминаниям...

— Его нет в городе, — сказала Майя Тойвовна, пока еще сдерживаясь, — вам до него два часа лету...

— Два часа лету? — журналист Каммерер был неприятно поражен. — Позвольте, но у меня определенно сложилось впечатление...

— Он на Валдае! Курорт «Осинушка»! На озере Велье! И имейте в виду, что нуль-Т не работает!

— М-м-м! — очень громко произнес журналист Каммерер. Двухчасовое воздушное путешествие, безусловно, не входило в его план на сегодняшний день. Можно было даже заподозрить, что он вообще противник воздушных путешествий.

— Два часа... — забормотал он, — Так-так-так... Я как-то совсем по-другому это себе представил... Прошу извинить

меня, Майя Тойвовна, но, может быть, с ним можно как-то связаться отсюда?

— Наверное, можно, — сказала Майя Тойвовна совсем уже угасшим голосом, — я не знаю его номера... Послушайте, Каммерер, дайте мне остаться одной. Все равно вам сейчас от меня никакого толку.

И вот только теперь журналист Каммерер осознал всю неловкость своего положения до конца. Он вскочил и бросился к двери. Спихнулся, вернулся к столу. Пробормотал нечленораздельные извинения. Снова бросился к двери, опрокинув по дороге кресло. Продолжая бормотать извинения, поднял кресло и поставил его на место с величайшей осторожностью, словно оно было из хрусталя и фарфора. Попятился, кланяясь, выдавил задом дверь и вывалился в коридор.

Я осторожно прикрыл дверь и некоторое время постоял, растирая тыльной стороной ладони затекшие мускулы лица. От стыда и отвращения к самому себе меня мутило.

2 июня 78-го года

«Осинушка». Доктор Гоаннек

С ВОСТОЧНОГО берега «Осинушка» выглядела как россыпь белых и красных крыш, утопающих в красно-зеленых зарослях рябины. Была там еще узкая полоска пляжа и деревянный на вид причал, к которому приткнулось стадо разноцветных лодок. На всем озаренном солнцем косогоре не видно было ни души, и только на причале восседал, свесив босые ноги, некто в белом — надо полагать, удил рыбу, очень уж был неподвижен.

Я бросил одежду на сиденье и без лишнего шума вошел в воду. Хороша была вода в озере Велье, чистая и сладкая, плыть было одно удовольствие.



Когда я вскарабкался на причал и, вытряхивая воду из уха, запрыгал на одной ноге по горячим от солнца доскам, некто в белом отвлекся наконец от поплавок и, оглядев меня через плечо, осведомился с интересом:

— Так и бредете из Москвы в одних трусах?

Опять это был старикан лет под сто, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а, скорее, коричневый или даже, я бы сказал, почти черный. Возможно, по контрасту со своими незапятнанно-белыми одеждами. Впрочем, глаза у него были молодые — маленькие, синенькие и веселенькие. Ослепительно белая каскетка с исполинским противосолнечным козырьком прикрывала его, несомненно, лысую голову и делала его похожим не то на отставного жокея, не то на марк-теновского школьника, удравшего из воскресной школы.

— Говорят, здесь рыбы необыкновенное количество, — сказал я, опускаясь рядом с ним на корточки.

— Вранье, — сказал он. Кратко сказал. Увесисто.

— Говорят, здесь время можно неплохо провести, — сказал я.

— Смотря кому, — сказал он.

— Модный курорт, говорят, здесь, — сказал я.

— Был, — сказал он.

Я иссяк. Мы помолчали.

— Модный курорт, юноша, — наставительно произнес он, — был здесь три сезона тому назад. Или, как выражается мой правнук Брячеслав, «тому обратно». Теперь, видите ли, юноша, мы не мыслим себе отдыха без ледяной воды, без гнуса, без сыроедения и диких дебрей... «Дикие скалы — вот мой приют», видите ли... Таймыр и Баффинова земля, знаете ли... Космонавт? — спросил он вдруг. — Прогрессор? Этнолог?

— Был, — сказал я не без злорадства.

— А я врач, — сказал он, не моргнув глазом. — Полагаю, вам я не нужен? Последние три сезона я редко кому здесь был

нужен. Впрочем, опыт показывает, что пациент склонен идти косяком. Например, вчера я понадобился. Спрашивается: почему бы и не сегодня? Вы уверены, что я вам не нужен?

— Только как приятный собеседник, — сказал я искренне.

— Ну что ж, и на том спасибо, — отозвался он с готовностью, — тогда пойдемте пить чай.

И мы пошли пить чай.

Доктор Гоаннек обитал в обширной бревенчатой избе при медицинском павильоне. Изба была оборудована всем необходимым, както: крыльцом с балясинами, резными наличниками, коньковым петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двухспальной лежанкой, а также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к линии доставки. На задах, в зарослях могучей крапивы, имела место кабина нуль-Т, искусно выполненная в виде деревянного нужника.

Чай у доктора состоял из ледяного свекольника, пшенной каши с тыквой и шипучего, с изюмом, кваса. Собственно чая, чая как такового, не было: по глубокому убеждению доктора Гоаннека, потребление крепкого чая способствовало камнеобразованию, а жидкий чай представлял собой кулинарный нонсенс.

Доктор Гоаннек был старожилом «Осинушки» — он принял здешнюю практику двенадцать сезонов назад. Он выдвигал «Осинушку» и заурядным курортом, каких тысячи, и в пору совершенно фантастического взлета, когда в курортологии на время возобладала идея, будто только Средняя полоса способна сделать отдыхающего счастливым. Не покинул он ее и теперь, в период ее, казалось бы, безнадежного упадка.

Нынешний сезон, начавшийся, как всегда, в апреле, привел в «Осинушку» всего лишь троих.

В середине мая здесь побывала супружеская чета абсолютно здоровых ассенизаторов, только что прибывших из



Северной Атлантики, где они разгребали огромную кучу радиоактивной дряни. Эта пара — негр банту и малайка — перепутала полушария и явилась сюда покататься, видите ли, на лыжах. Побродив несколько дней по окрестным лесам, они в одну прекрасную ночь скрылись в неизвестном направлении, и только через неделю от них пришла с Фолклендских островов телеграмма с подобающими извинениями.

Да вот еще вчера рано утром объявился неожиданно-негаданно в «Осинушке» некий странный юноша. Почему странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал. Не было при нем ни наземного, ни воздушного транспорта — за это доктор Гоаннек мог поручиться своей бессонницей и чутким слухом. Не явился он сюда и пешком — не был он похож на человека, путешествующего пешком: пеших туристов доктор Гоаннек безошибочно определял по запаху. Оставалась нуль-транспортировка. Но, как известно, последние несколько дней нуль-связь барахлит из-за флуктуаций нейтринного поля, а значит, в «Осинушку» нуль-транспортировкой можно было попасть только по чистой случайности. Однако спрашивается: если этот юноша попал сюда чисто случайно, почему он сразу же набросился на доктора Гоаннека, словно именно в докторе Гоаннеке он нуждался всю свою жизнь?

Этот последний пункт показался путешествующему в трусах туристу Каммереру несколько туманным, и доктор Гоаннек не замедлил дать соответствующие разъяснения. Странному юноше не нужен был именно доктор Гоаннек лично. Ему нужен был любой доктор, но зато чем скорее, тем лучше. Дело в том, что юноша жаловался на нервное истощение и таковое истощение действительно имело место, причем настолько сильное, что такому опытному врачу, как доктор Гоаннек, это было видно невооруженным глазом. Доктор Гоаннек счел необходимым тут же произвести всестороннее и тщательное обследование, которое, к счастью, не обнаружило никакой

патологии. Замечательно, что этот благоприятный диагноз произвел на юношу прямо-таки целительное действие. Он буквально расцвел на глазах и уже через два-три часа как ни в чем не бывало принимал гостей.

Нет-нет, гости прибыли самым обыкновенным образом — на стандартном глайдере... Собственно, не гости, а гостья. И очень правильно: для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. В обширной практике доктора Гоаннека аналогичные случаи имели место достаточно часто. Вот, например... Доктор Гоаннек привел пример номер один. Или, скажем... Доктор Гоаннек привел пример номер два. Соответственно, и для молодых женщин лучшей психотерапией является... И доктор Гоаннек привел примеры за номерами три, четыре и пять.

Чтобы не ударить в грязь лицом, турист Каммерер поспешил ответить примером из своего личного опыта, когда он в бытность свою прогрессором тоже однажды оказался на грани нервного истощения, однако этот жалкий и неудачный пример был отвергнут доктором Гоаннеком с негодованием. С прогрессорами, оказывается, все обстоит совершенно иначе — гораздо сложнее, а в известном смысле, гораздо проще. Во всяком случае, доктор Гоаннек никогда не позволил бы себе без консультации со специалистом применять какие бы то ни было психотерапевтические средства к странному юноше, если бы таковой был прогрессором...

Но странный юноша, разумеется, не был прогрессором. Говоря в скобках, он, пожалуй, никогда и не смог бы стать прогрессором: у него для этого малоприспособный тип нервной организации. Нет, не прогрессором он был, а то ли артистом, то ли художником, которого постигла крупная творческая неудача. И это был далеко не первый и даже не десятый случай в богатой практике доктора Гоаннека. Помнится... И доктор

Гоаннек принялся извергать случаи один другого краше, заменяя при этом, разумеется, подлинные имена всевозможными иксами, бетами и даже альфами...

Турист Каммерер, бывший прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повествование, заявив, что лично он нипочем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Каммерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализировано, вдребезги раскритиковано и отмечено прочь как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем Гоаннек с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего прогрессора Каммерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним курорт и еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Каммерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гоаннеком.

Бывший прогрессор Каммерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение, что курорт свободен от нервно-истощенных работников искусства и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя.

— Где жил этот неврастеник? — прямо спросил он и тут же пояснил: — Это я — чтобы туда зря не ходить.

Разговор этот происходил уже на крыльце с балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером шесть, стоявшую несколько отдельно от прочих строений, на самом обрыве.

— Превосходно, — объявил турист Каммерер, — значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда... Мне нравится, что там как будто рябина погуще...

Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гоаннек намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя «Осинушки». Однако турист и бывший прогрессор Каммерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим.

— Разумеется, — сухо сказал он, — я вам советую пройти по этой вот тропинке. Отыщите коттедж номер двенадцать...

— Как? А вы?

— Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке...

Несомненно, одного-единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гоаннек немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Каммерер поспешил наложить последний мазок.

— Пр-р-роклые годы, — сочувственно произнес он, и дело было сделано.

Кипя безмолвным негодованием, доктор Гоаннек направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по кособогу направился к избе неврастеника.

2 июня 78-го года

В избе номер шесть

Мне было ясно, что скорее всего «Осинушка» больше никогда не увидит Льва Абалкина и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем не ясны. Действительно, как Лев Абалкин попал в эту «Осинушку» и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было

бы обратиться к врачу в любом большом городе. Например, в Москве, до которой отсюда десять минут лету, или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету две минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно: либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно куда попадать. Ему нужен был врач, срочно, позарез. Зачем?

И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые... Выглядит это достаточно беспрецедентно. Одно дело — направить в прогрессоры человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело — определить прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы — и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями... Кстати, Тристан уже умер... И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша.

Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком круглом столике под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок-панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками.

Я заглянул направо, в спальню. Видимо, сюда не заходили года два, а то и все три — даже световая автоматика не была там задействована, а над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли сдохлыми пауками.

Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки, окно линии

доставки было открыто, и в приемной камере красовался невостребованный пакет с гроздьё бананов. Видимо, там, у себя в штабе «Ц», Лев Абалкин привык пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запустить киберуборщика...

Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена — цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки, а среди всего этого торчала початая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один, но, поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно.

Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рваные клочки попали в блюда с едой, и вообще, блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги.

Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то острое впилося мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом, у самой кушетки.

Все еще на корточках я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной писчей бумаги, на которой кто-то изобразил стилем человеческое лицо. Детское лицо. Некий пухлощекий мальчишка лет

двенадцати. По-моему, ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос.

Я собрал всю разбросанную бумагу, поднял кресло и устроился в нем.

И опять все это выглядело довольно странно. Кто-то быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица, по преимуществу детские, каких-то зверушек, явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы кроков, набросанных рукой профессионального топографа, — рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же, среди лаконичных топографических знаков, — почему-то крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных — не то оленей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты.

Все это было непонятно и уж, во всяком случае, никак не увязывалось с хаосом в комнате и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой, и меня поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и в общем-то веселом лице. Был там еще и шарж на учителя, Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарж: именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад. Увидев этот шарж, я сообразил, что за строения изображены на рисунках — четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов... И все это рисовалось быстро, точно, уверенно, и почти сейчас же рвалось, сминалось, отбрасывалось.

Я отложил бумаги и снова оглядел гостиную. Внимание мое привлекла голубая тряпочка, валявшаяся под столом. Я подобрал ее.

Это был измятый и изодранный женский носовой платок. Я, конечно, сразу же вспомнил рассказ Акутагавы, и мне представилось, как Майя Тойвовна сидела вот в этом самом кресле перед Львом Абалкиным, смотрела на него, слушала его, и на лице ее блуждала улыбка, за которой лишь слабой тенью проступало выражение то ли растерянности, то ли недоумения, а руки ее под столом безжалостно терзали и рвали носовой платок...

Я отчетливо видел Майю Глумову, но я никак не мог представить себе, что же такое видела и слышала она. Все дело было в этих рисунках. Если бы не они, я бы легко увидел перед собой на этой развороченной кушетке обыкновенного имперского офицера, только что из казармы и вкушающего заслуженный отдых. Но рисунки были, и что-то очень важное, очень сложное и очень темное скрывалось за ними...

Делать здесь было больше нечего. Я потянулся к видеофону и набрал номер Экселенца.

2 июня 78-го года

Неожиданная реакция Экселенца

Он выслушал меня, ни разу не перебив, что само по себе было уже достаточно дурным признаком. Я попробовал утешить себя мыслью, что недовольство его связано не со мной, а с какими-то другими, далекими от меня обстоятельствами. Но, выслушав меня до конца, он сказал угрюмо:

— С Глумовой у тебя почти ничего не получилось.

— Меня связывала легенда, — сказал я сухо.

Он не спорил.



- Что думаешь делать дальше? — спросил он.
- По-моему, сюда он больше не вернется.
- По-моему, тоже. А к Глумовой?
- Трудно сказать. Вернее, совсем ничего не могу сказать.

Не понимаю. Но шанс, конечно, остается.

- Твое мнение: зачем он вообще с нею встречался?
- Вот этого я и не понимаю, Экселенц. Судя по всему, они здесь занимались любовью и воспоминаниями. Только любовь эта была не совсем любовь, а воспоминания — не просто воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком состоянии. Конечно, если он напился как свинья, он мог ее как-то оскорбить... Особенно, если вспомнить, какие у них были странные отношения в детстве...

— Не преувеличивай, — проворчал Экселенц. — Они уже давно не дети. Поставить вопрос так: если он теперь снова позовет ее или придет к ней сам, примет она его?

— Не знаю, — сказал я, — скорее всего, да. Он все еще очень много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, к которому равнодушна.

— Литература, — проворчал Экселенц и вдруг гаркнул: — Ты должен был узнать, зачем он ее вызвал! О чем они говорили! Что он ей сказал!

Я разозлился.

— Ничего этого я узнать не мог, — сказал я. — Она была в истерике, а, когда пришла в себя, перед ней сидел идиот-журналист со шкурой толщиной в дюйм...

Он прервал меня.

- Тебе придется встретиться с ней еще раз.
- Тогда разрешите мне изменить легенду!
- Что ты предлагаешь?

— Например, так. Я из КОМКОНа. На некоей планете произошло несчастье. Лев Абалкин — свидетель. Но несчастье это его так потрясло, что он бежал на Землю и теперь

никого не хочет видеть... Психически надломлен, почти болен. Мы ищем его, чтобы узнать, что там произошло...

Экселенц молчал, предложение мое ему явно не нравилось. Некоторое время я смотрел на его недовольную веснушчатую лысину, заслонившую экран, а затем, сдерживаясь, заговорил снова:

— Поймите, Экселенц, теперь нельзя уже больше врать, как раньше. Она уже успела сообразить, что я появился у нее не случайно. Я ее разубедил, кажется, но, если я снова появлюсь в том же амплуа, это же будет явный вызов здравому смыслу! Либо она поверила, что я — журналист, и тогда ей не о чем со мной говорить, она просто пошлет к черту толстокожего идиота. Либо она не поверила, и тогда пошлет тем более. Я бы послал, например. А вот если я — представитель КОМКОНа, тогда я имею право спрашивать, и уж я постараюсь спросить так, чтобы она ответила.

По-моему, все это звучало достаточно логично. Во всяком случае, никакого другого пути я придумать сейчас не мог. И во всяком случае, в роли идиота-журналиста я к ней больше не пойду. В конце концов, Экселенцу виднее, что более важно: найти человека или сохранить тайну розыска?

Он спросил, не поднимая головы:

— Зачем тебе понадобилось утром заходить в музей?

Я удивился.

— То есть как — зачем? Чтобы поговорить с Глумовой...

Он медленно поднял голову, и я увидел его глаза. Зрачки у него были во всю радужку. Я даже отпрянул. Было несомненно, что я сказал нечто ужасное. Я залепетал, как школьник:

— Но ведь она же там работает... Где же мне было с ней разговаривать? Дома я ее не застал...

— Глумова работает в Музее внеземных культур? — отчетливо выговаривая слова, спросил он.

— Ну да, а что случилось?

— В спецсекторе объектов невыясненного назначения... — тихо проговорил он. То ли спросил, то ли сообщил. У меня холод продрал по хребту, когда я увидел, как левый угол его тонкогубого рта пополз влево и вниз.

— Да, — сказал я шепотом.

Я уже снова не видел его глаз. Снова весь экран заслонила блестящая лысина.

— Экселенц...

— Помолчи! — гаркнул он. И мы оба надолго замолчали.

— Так, — сказал он наконец обычным голосом, — отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту. Но скорее всего — ночью. Сколько тебе нужно времени на дорогу?

— Два с половиной часа.

— Почему так долго?

— Мне еще озеро надо переплыть.

— Хорошо. Вернешься домой — доложи мне. Торопись.

И экран погас.

Из отчета Льва Абалкина

...Снова усиливается дождь, туман становится еще гуще, так что дома справа и слева почти невозможно разглядеть с середины улицы. Эксперты впадают в панику — им померещилось, что теперь отказывают биооптические преобразователи. Я их успокаиваю. Успокоившись, они наглеют и пристают, чтобы я включил противотуманный прожектор. Я включаю им прожектор. Эксперты ликуют было, но тут Щекн усаживается на хвост посередине мостовой и объявляет, что он не сделает более ни шагу, пока не уберут эту дурацкую радугу, от которой у него болят уши и чешется между пальцами. Он, Щекн, превосходно видит все и без этих нелепых прожекторов, а если эксперты



и не видят чего-нибудь, то им и видеть-то ничего не надо, пусть-ка они лучше займутся каким-нибудь полезным делом, например, приготовят к его, Щекна, возвращению овсяную похлебку с бобами. Взрыв возмущения. Вообще-то эксперты побаиваются Щекна. Любой землянин, познакомившись с голованом, рано или поздно начинает его побаиваться. Но в то же время, как это ни парадоксально, тот же землянин не способен относиться к головану иначе как к большой говорящей собаке (ну, там, цирк, чудеса зоопсихологии, то-се...)

Один из экспертов имеет неосторожность пригрозить Щекну, что его оставят без обеда, если он будет упрямиться. Щекн повышает голос. Выясняется, что он, Щекн, всю свою жизнь прекрасно обходился без экспертов. Более того, мы здесь чувствовали себя до сих пор особенно хорошо именно тогда, когда экспертов было не видно и не слышно.

Я стою под дождем, который все усиливается и усиливается, слушаю всю эту экспертно-бобовую белиберду и никак не могу стряхнуть с себя какое-то дремучее оцепенение. Мне чудится, будто я присутствую на удивительно глупом представлении без начала и конца, где все действующие лица поперевабыли свои роли и несут отсебятину в тщетной надежде, что кривая вывезет. Это представление затеяно как бы специально для меня, чтобы как можно дольше удерживать меня на месте, не дать сдвинуться ни на шаг дальше, а тем временем за кулисами кто-то торопливо делает так, чтобы мне стало окончательно ясно: все без толку, ничего сделать нельзя, надо возвращаться домой...

С огромным трудом я беру себя в руки и выключаю проклятый прожектор. Щекн сейчас же обрывает на полуслове длинное, тщательно продуманное оскорбление и как ни в чем не бывало устремляется вперед. Я шагаю следом, слушая, как Вандерхузе наводит порядок у себя на борту: «Срам!.. Мешать полевой группе!.. Немедленно удалю из рубки!.. Отстраню!.. Базар!..»

— Развлекаешься? — тихонько спрашиваю я Щекна.

Он только косится выпуклым глазом.

— Склочник, — говорю я. — И все вы, голованы, склочки и скандалисты...

— Мокро, — невпопад отзывается Щекн, — и полно лягушек. Ступить некуда... Опять грузовики, — сообщает он.

Из тумана впереди явственно и резко тянет вонью мокрого ржавого железа, и минуту спустя мы оказываемся посреди огромного беспорядочного стада разнообразных автомашин.

Здесь и обыкновенные грузовики, и грузовики-фургоны, и гигантские автоплатформы, и крошечные каплевидные легковушки, и какие-то чудовищные самоходные устройства с восемью колесами в человеческий рост. Они стоят посередине улицы и на тротуарах, кое-как, вкривь и вкось, упираясь друг в друга бамперами, иногда налезая друг на друга, — невообразимо ржавые, полуразвалившиеся, распадающиеся от малейшего толчка. Их сотни. Идти быстро невозможно, приходится обходить, протискиваться, перебираться, и все они нагружены домашним скарбом, и скарб этот тоже давно сгнил, истлел, проржавел до неузнаваемости...

Где-то на краю сознания жалобно бубнят усмиренные эксперты, встревожено гудит Вандерхузе, но мне не до них. Я с проклятьями вытягиваю ноги из вонючей трясины полусгнившего тряпья и сейчас же с проклятьями проваливаюсь в недра каких-то огромных ящиков, где в грудах затхлой бумаги отчаянно пищат голые розовые крысята, и с проклятьями выкатываюсь, проламывая плечом какую-то гнилую деревянную стенку, под дождь, в лужу, распугивая лягушек... Хрустит и скрипит под ногами битое стекло, раскатываются какие-то то ли банки, то ли подшипники, прочное на вид никелированное железо разваливается в прах, когда рука пытается опереться на него, а один раз стенка фургона, гигантского, как трансконтинентальный контейнер, вдруг сама собой раскалывается поперек,

и с гнилым грохотом вываливаются оттуда потоки неузнаваемого мусора в густых клубах отвратительно воняющей пыли...

А потом как-то неожиданно этот безобразный лабиринт кончается.

То есть вокруг по-прежнему машины, сотни машин, но теперь они стоят в относительном порядке, выстроившись по обе стороны мостовой и на тротуарах, а середина улицы совершенно свободна.

Я гляжу на Щекна. Щекн яростно отряхивается, чешется всеми четырьмя лапами сразу, вылизывает спину, плюется, изрыгает проклятия и снова принимается отряхиваться, чесаться и вылизываться.

Вандерхузе тревожно осведомляется, почему мы сошли с маршрута и что это был за склад. Я объясняю, что это был не склад. Мы дискутируем на тему: если это следы эвакуации, то почему аборигены эвакуировались с окраины в центр?

— Обратно я этой дорогой не пойду, — объявляет Щекн и яростным шлепком припечатывает к мостовой пробирающуюся рядом лягушку.

В два часа пополудни штаб распространяет первое итоговое сообщение. Экологическая катастрофа, но цивилизация погибла по какой-то другой причине. Население исчезло, так сказать, в одночасье, но оно не истребило себя в войнах и не эвакуировалось через космос — не та технология, да и вообще планета представляет собой не кладбище, а помойку. Жалкие остатки аборигенов прозябают в сельской местности, кое-как обрабатывают землю, совершенно лишены культурных навыков, однако прекрасно управляют с магазинными винтовками. Вывод для нас с Щекном: город должен быть абсолютно пуст. Мне этот вывод представляется сомнительным. Щекну тоже.

Улица расширяется, дома и ряды машин по обе стороны от нас совершенно исчезают в тумане, и я чувствую перед собой открытое пространство. Еще несколько шагов, и впереди

из тумана возникает приземистый квадратный силуэт. Это опять броневи́к — совершенно такой же, как тот, что попал под обвалившуюся стену, но этот брошен давным-давно, он просел под собственной тяжестью и словно бы врос в асфальт. Все люки его распахнуты настежь. Два коротких пулеметных ствола, некогда грозно уставленных навстречу каждому, кто выходил на площадь, теперь уныло поникли, ржавые капли сочатся из них и лениво стекают на покаты́й лобовик. Проходя мимо, я машинально толкаю распахнутую боковую дверцу, но она приржавела намертво.

Перед собой я не вижу ничего. Туман на этой площади какой-то особенный, неестественно густой, словно он отставивался здесь много-много лет и за эти годы слежался, свернулся, как молоко, и просел под собственной тяжестью.

— Под ноги! — командует вдруг Щекн.

Я гляжу под ноги и ничего не вижу. Зато до меня вдруг доходит, что под подошвами уже не асфальт, а что-то мягкое, пружинящее, склизкое, словно толстый мокрый ковер. Я приседаю на корточки.

— Можешь включить свой прожектор, — ворчит Щекн.

Но я уже и без всякого прожектора вижу, что асфальт здесь почти сплошняком покрыт довольно толстой неаппетитной коркой, какой-то спрессованной влажной массой, обильно проросшей разноцветной плесенью. Я вытаскиваю нож, поддеваю пласт этой корки — от заплесневелой массы отдирается не то тряпочка, не то обрывок ремешка, а под ремешком этим мутной зеленью проглядывает что-то округлое (пуговица? пряжка?), и медленно распрямляются какие-то то ли проволоочки, то ли пружинки...

— Они все здесь шли... — говорит Щекн со странной интонацией.

Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня



это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные большие легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немного, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами и тогда уже не могли подняться, и все, что падало, втаптывалось, втаптывалось и втаптывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью — человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне...

— Яма... — говорит Щекн.

Я включил прожектор. Никакой ямы нет. Насколько хватает луч, ровная гладкая площадь светится бесчисленными тусклыми огоньками люминесцирующей плесени, а в двух шагах впереди влажно чернеет большой, примерно двадцать на сорок, прямоугольник гладкого голого асфальта. Он словно аккуратно вырезан в этом проплесневелом мерцающем ковре.

— Ступеньки! — говорит Щекн как бы с отчаянием. — Дырчатые! Глубоко! Не вижу...

У меня мурашки ползут по коже: я никогда еще не слышал, чтобы Щекн говорил таким странным голосом. Не глядя, я опускаю руку, и пальцы мои ложатся на большую лобастую голову, и я ощущаю нервное подрагивание треугольного уха. Бесстрашный Щекн испуган. Бесстрашный Щекн прижимается к моей ноге совершенно так же, как его предки прижимались к ногам своих хозяев, учуяв за порогом пещеры незнакомое и опасное...

— Дна нет... — говорит он с отчаянием. — Я не умею понять. Всегда бывает дно. Они все ушли туда, а дна нет, и никто не вернулся... Мы должны туда идти?

Я опускаюсь на корточки и обнимаю его за шею.

— Я не вижу здесь ямы, — говорю я на языке голованов. — Я вижу только ровный прямоугольник асфальта.

Щекн тяжело дышит. Все мускулы его напряжены, и он все теснее прижимается ко мне.

— Ты не можешь видеть, — говорит он, — ты не умеешь. Четыре лестницы с дырчатыми ступенями. Стерты. Блестят. Все глубже и глубже. И никуда. Я не хочу туда. И не приказывай.

— Дружище, — говорю я, — что это с тобой? Как я могу тебе приказывать?

— Не проси, — говорит он. — Не зови. Не приглашай.

— Мы сейчас уйдем отсюда, — говорю я.

— Да! И быстро!

Я диктую донесение. Вандерхузе уже переключил мой канал на штаб, и, когда я заканчиваю, вся экспедиция уже в курсе. Начинается галдеж. Выдвигаются гипотезы, предлагаются меры. Шумно. Щекн понемножку приходит в себя: косит желтым глазом и то и дело облизывается. Наконец вмешивается сам Комов. Галдеж прекращается. Нам приказано продолжать движение, и мы охотно подчиняемся.

Мы огибаем страшный прямоугольник, пересекаем площадь, минуем второй броневик, запирающий проспект с противоположной стороны, и снова оказываемся между двумя колоннами брошенных автомашин. Щекн снова бодро бежит впереди, он снова энергичен, сварлив и заносчив. Я усмехаюсь про себя и думаю, что на его месте я сейчас, несомненно, мучился бы от неловкости за тот панический приступ почти детского страха, с которым не удалось совладать там, на площади. А вот Щекн ничем таким не мучается. Да, он испытал страх и не сумел скрыть этого, и не видит здесь ничего стыдного и неловкого. Теперь он рассуждает вслух:

— Они все ушли под землю. Если бы там было дно, я бы уверил тебя, что все они живут сейчас под землей очень

глубоко, неслышно. Но там нет дна! Я не понимаю, где они там могут жить. Я не понимаю, почему там нет дна и как это может быть.

— Попытайся объяснить, — говорю я ему. — Это очень важно.

Но Щекн не может объяснить. Очень страшно, твердит он. Планеты круглые, пытается объяснить он, и эта планета тоже круглая, я сам видел, но на той площади она вовсе не круглая. Она там как тарелка. И в тарелке дырка. И дырка эта ведет из одной пустоты, где находимся мы, в другую пустоту, где нас нет.

— А почему я не видел этой дырки?

— Потому что она заклеена. Ты не умеешь. Заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я...

Потом он вдруг сообщает, что снова появилась опасность. Небольшая опасность, обыкновенная. Очень давно не было совсем, а теперь опять появилась.

Через минуту от фасада дома справа отваливается и рушится балкон третьего этажа. Я быстро спрашиваю Щекна, не уменьшилась ли опасность. Он не задумываясь отвечает, что да, уменьшилась, но ненамного. Я хочу его спросить, с какой стороны угрожает нам теперь эта опасность, но тут в спину мне ударяет плотный воздух, в ушах свистит, шерсть на Щекне поднимается дыбом.

По проспекту проносится словно маленький ураган. Он горячий, и от него пахнет железом. Еще несколько балконов и карнизов с шумом рушатся по обеим сторонам улицы. С длинного приземистого дома срывает крышу, и она — старая, дырявая, рыхлая, — медленно крутятся и разваливаясь на куски, проплывает над мостовой и исчезает в туче гнойно-желтой пыли.

— Что там у вас происходит? — вопит Вандерхузе.

— Сквозняк какой-то... — отзываюсь я сквозь зубы.

Новый удар ветра заставляет меня пробежаться вперед помимо воли. Это как-то унижительно.

— Абалкин! Щекн! — гремит Комов. — Держитесь середины! Подальше от стен! Я продуваю площадь, у вас возможны обвалы...

И в третий раз короткий горячий ураган проносится вдоль проспекта, как раз в тот момент, когда Щекн пытается развернуться носом к ветру. Его сбивает с ног и юзом волочит по мостовой в унижительной компании с какой-то зазевавшейся крысой.

— Все? — раздраженно спрашивает он, когда ураган стихает. Он даже не пытается подняться на ноги.

— Все, — говорит Комов, — можете продолжать движение.

— Огромное вам спасибо, — говорит Щекн, ядовитый, как самая ядовитая змея.

В эфире кто-то хихикает не сдержавшись. Кажется Вандерхузе.

— Приношу свои извинения, — говорит Комов, — мне нужно было разогнать туман.

В ответ Щекн изрыгает самое длинное и замысловатое проклятие на языке голованов, поднимается, бешено встряхивается и вдруг замирает в неудобной позе.

— Лев, — говорит он, — опасности больше нет. Совсем. Сдуло.

— И на том спасибо, — говорю я.

Информация от Эспады. Чрезвычайно эмоциональное описание главного гаттауха. Я вижу его перед собой как живого: невообразимо грязный, вонючий, покрытый лишаями старикашка лет двухсот на вид утверждает, будто ему двадцать один год, все время хрипит, кашляет, отхаркивается и сморкается, на коленях постоянно держит магазинную винтовку и время от времени палит в божий свет поверх головы

Эспады, на вопросы отвечать не желает, а все время норовит задавать вопросы сам, причем ответы выслушивает нарочито невнимательно и каждый второй ответ во всеуслышание объявляет ложью...

Проспект вливается в очередную площадь. Собственно, это не совсем площадь — просто справа располагается полукруглый сквер, за которым желтеет длинное здание с вогнутым фасадом, уставленным фальшивыми колоннами. Фасад желтый, и кусты в сквере какие-то вяло-желтые, словно в канун осени, и поэтому я не сразу замечаю посередине сквера еще один «стакан».

На этот раз он целехонек и блестит как новенький, будто его сегодня утром установили здесь, среди желтых кустов, — цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре, из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Он стоит совершенно вертикально, и овальная дверца его плотно закрыта.

На борту у Вандерхузе вспышка энтузиазма, а Щекн лишний раз демонстрирует свое безразличие и даже презрение ко всем этим предметам, «не интересным его народу»: он немедленно принимается чесаться, повернувшись к «стакану» задом.

Я обхожу «стакан» кругом, потом берусь двумя пальцами за выступ на овальной дверце и заглядываю внутрь. Одного взгляда мне вполне достаточно: заполняя своими чудовищными суставчатыми мослами весь объем «стакана», выставив перед собой шипастые полуметровые клешни, тупо и мрачно глянул на меня двумя рядами мутно-зеленых белым гигантский ракопаук с Пандоры во всей своей красе.

Не страх во мне сработал, а спасительный рефлекс на абсолютно непредвиденное. Я и ахнуть не успел, как уже изо всех сил упирался плечом в захлопнутую дверцу, а ногами — в землю, с головы до ног мокрый от пота, и каждая жилка у меня дрожит.



А Щекн уже рядом, готовый к немедленной и решительной схватке, — покачивается на вытянутых напряженных ногах, выжидательно поводя из стороны в сторону лобастой головой. Ослепительно белые зубы его влажно блестят в уголках пасти. Это длится всего несколько секунд, после чего он сварливо спрашивает:

— В чем дело? Кто тебя обидел?

Я на шариваю рукоять скорчера, заставляю себя оторваться от проклятой дверцы и принимаюсь пятиться, держа скорчер наизготовку. Щекн отступает вместе со мной, все более раздражаясь.

— Я задал тебе вопрос! — заявляет он с негодованием.

— Ты что же, — говорю я сквозь зубы, — до сих пор ничего не чувствуешь?

— Где? В этой будке? Там ничего нет!

Вандерхузе с экспертами взволнованно галдят над ухом. Я их не слушаю. Я и без них знаю, что можно, например, подпереть дверцу бревном — если найдется — или сжечь ее целиком из скорчера. Я продолжаю пятиться, не спуская глаз с дверцы «стакана».

— В будке ничего нет! — настойчиво повторяет Щекн. — И никого нет. И много лет никого не было. Хочешь, я открою дверцу и покажу тебе, что там ничего нет?

— Нет, — говорю я, кое-как управляясь со своими голосовыми связками, — уйдем отсюда.

— Я только открою дверцу...

— Щекн, — говорю я, — ты ошибаешься.

— Мы никогда не ошибаемся. Я иду. Ты увидишь.

— Ты ошибаешься! — рявкаю я. — Если ты сейчас же не пойдешь за мной, значит, ты мне не друг и тебе на меня наплевать!

Я круто поворачиваюсь на каблуках (скорчер в опущенной руке, предохранитель снят, регулятор на непрерывный

разряд) и шагаю прочь. Спина у меня огромная, во всю ширину проспекта, и совершенно беззащитная.

Щекн с чрезвычайно недовольным видом шлепает лапами слева и позади. Ворчит и задирается. А когда мы отходим шагов на двести и я совсем уже успокаиваюсь и принимаюсь искать ходы к примирению, Щекн вдруг исчезает. Только когти шарахнули по асфальту. И вот он уже около будки, и поздно уже кидаться за ним, хватать за задние ноги, волочить дурака прочь, и скорчер мой теперь уже совершенно бесполезен, а проклятый голован приоткрывает дверцу и долго, бесконечно долго смотрит внутрь «стакана»...

Потом, так и не издав ни единого звука, он снова прикрывает дверцу и возвращается. Щекн униженный. Щекн уничтоженный. Щекн, безоговорочно признающий свою полную непригодность и готовый поэтому претерпеть в дальнейшем любое с ним обращение. Он возвращается к моим ногам и усаживается боком, уныло опустив голову. Мы молчим. Я избегаю глядеть на него. Я гляжу на «стакан», чувствуя, как струйки пота на висках высыхают и стягивают кожу, как уходит из мышц мучительная дрожь, сменяясь тоскливой тягучей болью, и больше всего на свете мне хочется сейчас прошипеть: «С-с-скотина!..» И со всего размаха, с рыдающим выдохом залепить оплеуху по этой унылой, дурацкой, упрямой, безмозглой лобастой башке. Но я говорю только:

— Нам повезло. Почему-то они здесь не нападают...

Сообщение из штаба. Предполагается, что «прямоугольник Щекна» является входом в межпространственный тоннель, через который и было выведено население планеты. Предположительно, Странниками...

Мы идем по непривычно пустому району. Никакой живности, даже комары куда-то исчезли. Мне это скорее не нравится, но Щекн не обнаруживает никаких признаков беспокойства.

— На этот раз вы опоздали, — ворчит он.

— Да, похоже на то, — отзываюсь я с готовностью.

После инцидента с ракопауком Щекн заговаривает впервые. Кажется, он склонен поговорить о постороннем. Склонность эта проявляется у него нечасто.

— Странники, — ворчит он, — я много раз слышал: Странники, Странники... Вы совсем ничего о них не знаете?

— Очень мало. Знаем, что это сверхцивилизация, знаем, что они намного мощнее нас. Предполагаем, что они не гуманоиды. Предполагаем, что они освоили всю нашу галактику, причем очень давно. Еще мы предполагаем, что у них нет дома — в нашем или в вашем понимании этого слова. Поэтому мы и называем их Странниками...

— Вы хотите с ними встретиться?

— Да как тебе сказать... Комов отдал бы за это правую руку. А я бы, например, предпочел, чтобы мы не встретились с ними никогда...

— Ты их боишься?

Мне не хочется обсуждать эту проблему. Особенно сейчас.

— Видишь ли, Щекн, — говорю я, — это длинный разговор. Ты бы все-таки поглядывал по сторонам, а то, я смотрю, ты стал какой-то рассеянный.

— Я поглядываю. Все спокойно.

— Ты заметил, что здесь вся живность исчезла?

— Это потому, что здесь часто бывают люди, — говорит Щекн.

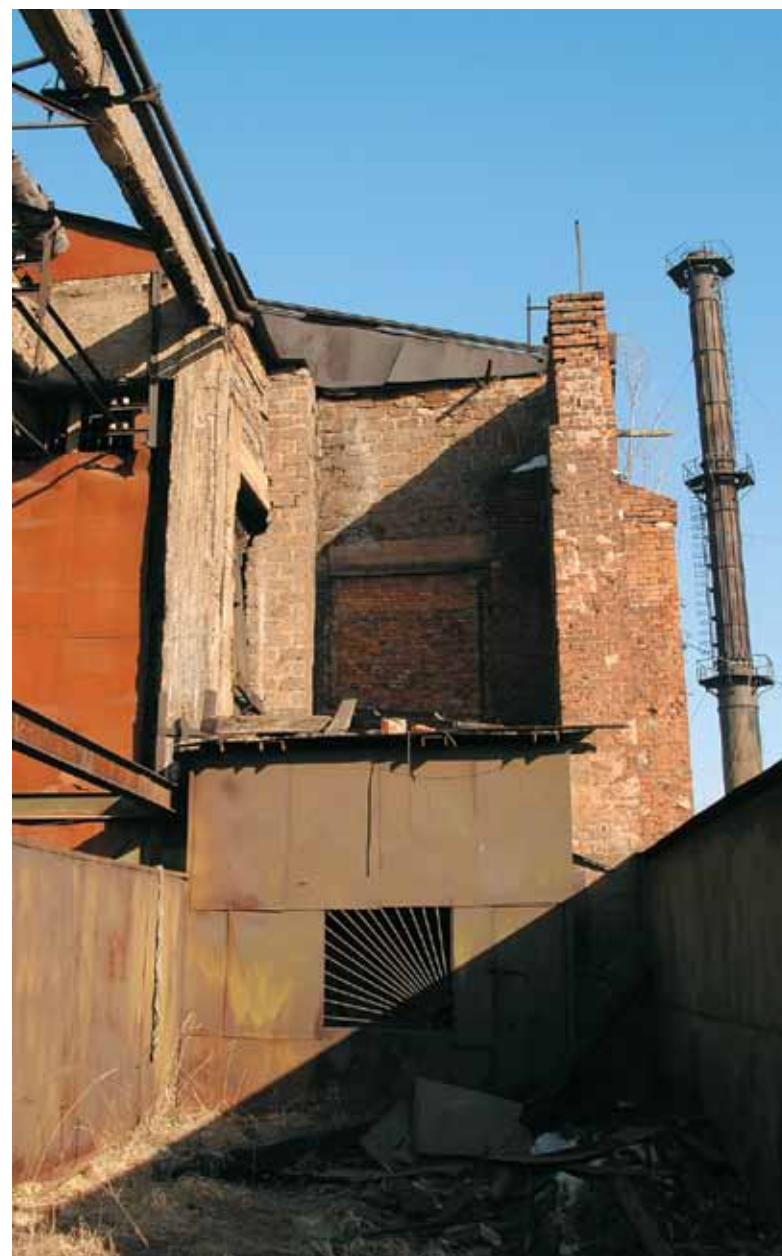
— Вот как? — говорю я. — Ну, ты меня успокоил.

— Сейчас их нет. Почти.

Кончается сорок второй квартал, мы подходим к перекрестку. Щекн объявляет вдруг:

— За углом человек. Один.

Это дряхлый старик в длинном черном пальто до пят, в меховой шапке с наушниками, завязанными под взлохмаченной



грязной бородой, в перчатках веселой ярко-желтой расцветки, в огромных башмаках с матерчатым верхом. Двигается он с огромным трудом, еле ноги волочит. До него метров тридцать, но и на этом расстоянии отчетливо слышно, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения.

Он грузит тележку на высоких тонких колесиках, что-то вроде детской коляски. Убредает в разбитую витрину, надолго исчезает там и так же медленно выбирается обратно, опираясь одной рукой о стену, а другой, скрюченной, прижимает к груди по две, по три банки с яркими этикетками. Каждый раз, подобравшись к своей коляске, он обессиленно опускается на трехногий складной стульчик, некоторое время сидит неподвижно, отдыхая, а затем принимается так же медлительно и осторожно перекладывать банки из-под скрюченной руки на тележку. Потом снова отдыхает, будто спит сидя, и снова поднимается на трясущихся ногах и направляется к витрине — длинный, черный, согнутый почти пополам.

Мы стоим на углу, почти не прячась, потому что нам ясно: старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один, вокруг никого больше нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступить с ним в контакт, но, по-видимому, придется это сделать — хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Вандерхузе показать его Эспаде, пусть Эспада определит, кто это такой — «колдун», «солдат» или «человек».

Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, сгорбившись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится все ниже на грудь. Видимо, он засыпает.

— Я ничего подобного не видел, — объявляет Эспада. — поговорите с ним, Лев...

— Уж очень он стар, — с сомнением говорит Вандерхузе.

— Сейчас умрет, — ворчит Щекн.

— Вот именно, — говорю я. — Особенно если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне...

Я не успеваю договорить. Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую.

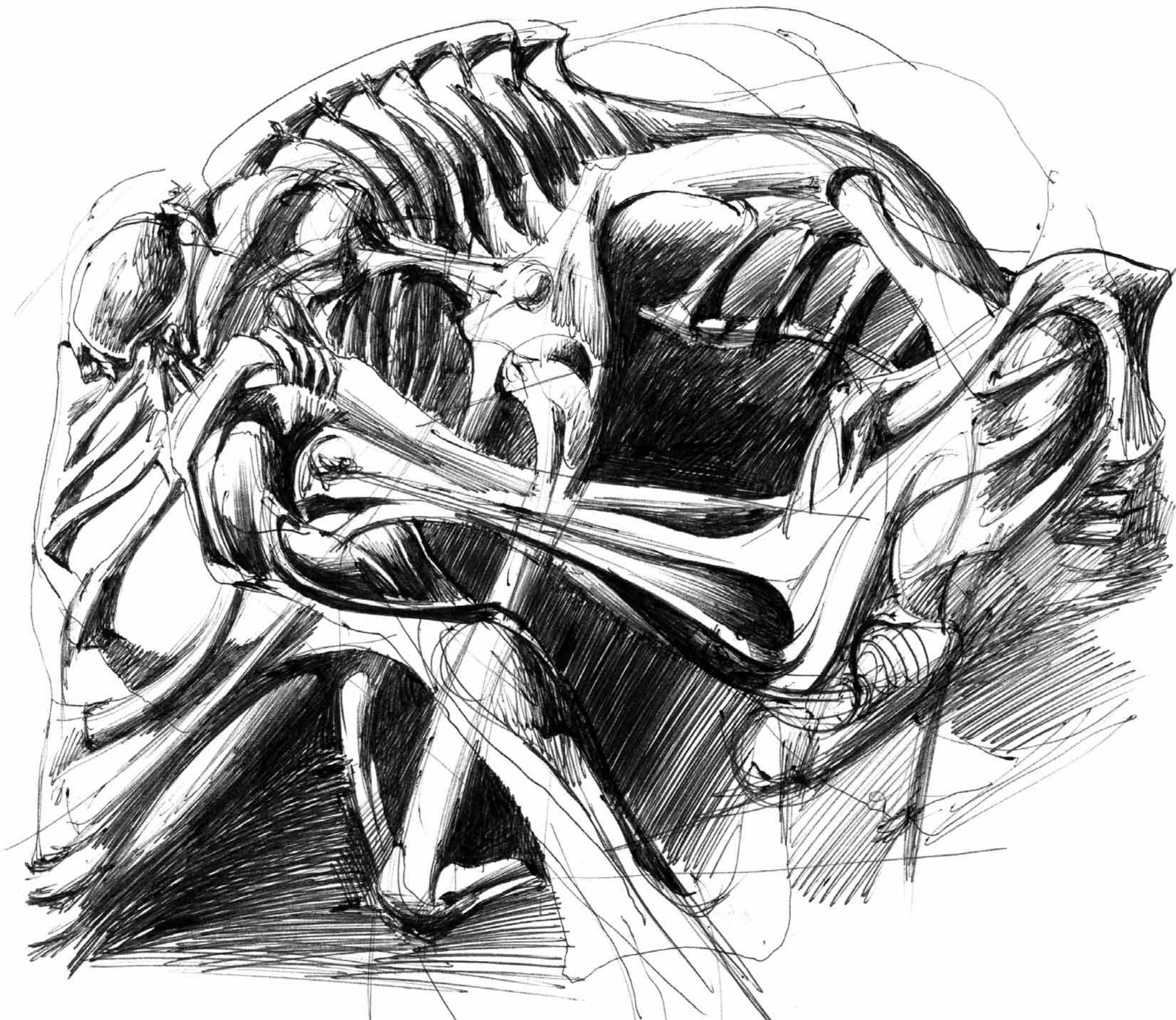
— Все, — говорит Щекн. — Можно подойти посмотреть, если тебе интересно.

Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма. Но не от голода. Просто он очень, невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленовато-белое костистое лицо. Первый нормальный человек в этом городе. И мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура.

Я вкладываю ему две ампулы некрофага и говорю Вандерхузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться. Это бессмысленно. Он не заговорит. А если и заговорит, то не скоро. Перед тем как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску, наполовину загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть...

Около восемнадцати часов начинает смеркаться. По моим расчетам до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но как всегда не упускает случая лишний раз перекусить.

Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана под сенью какого-то мифологического каменного чудовища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди.



Во время еды Щекн никогда не разговаривает, однако, насытившись, любит поболтать.

— Этот старик, — произносит он, тщательно вылизывая лапу, — его действительно оживили?

— Да.

— Он снова живой, ходит, говорит?

— Вряд ли он говорит и тем более ходит, но он живой.

— Жаль, — ворчит Щекн.

— Жаль?

— Да. Жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что «там»...

— Где?

— Там, где он был, когда стал мертвым.

Я усмехаюсь.

— Ты думаешь, там что-нибудь есть?

— Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет.

— Куда девается электрический ток, когда его выключают? — спрашиваю я.

— Этого я никогда не мог понять, — признается Щекн. — Но ты рассуждаешь неточно. Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я — это мне известно и понятно.

— И где же ты был, когда тебя еще не было? — коварно спрашиваю я.

Но для Щекна это не проблема.

— Я был в крови своих родителей. А до этого — в крови родителей своих родителей.

— Значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей...

— А если у меня не будет детей?

— Тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях...

— Это не так! В траве и деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам?

— В крови твоих родителей тоже был не ты сам, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей...

— Как это — не помню? — удивляется Щекн. — Очень многое помню!

— Да, действительно... — бормочу я, сраженный. — У вас же генетическая память...

— Называть это можно как угодно, — ворчит Щекн. — Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей...

Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно: я никогда не сумею доказать Щекну, что «там» ничего нет. Поэтому я молча сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплочный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги.

Щекн тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор.

— Ты меня удивляешь, Лев, — объявляет он. — И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело? Зачем работать без всякого смысла?

— Почему же — без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день.

— Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаете и узнаете и ничего не делаете с тем, что узнаете.

— Ну, например? — спрашиваю я.

Щекн — великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую.

— Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна?

— Это не совсем яма, — говорю я. — Это, скорее, дверь в другой мир.

— Вы можете пройти в эту дверь? — осведомляется Щекн.

— Нет, — признаюсь я, — не можем.

— Зачем же вам дверь, в которую вы все равно не можете пройти?

— Сегодня не можем, а завтра сможем.

— Завтра?

— В широком смысле. Послезавтра. Через год...

— Другой мир, другой мир... — ворчит Щекн. — Разве вам тесно в этом?

— Как тебе сказать... Тесно должно быть нашему воображению.

— Еще бы! — ядовито произносит Щекн. — Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же начинаете переделывать его наподобие вашего собственного. И, конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его.

Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь. Рядом. В двух шагах. Возле постамента с мифологическим чудищем.

Это совершенно нормальный абориген — судя по всему, из категории «человеков» — крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесаных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит у постамента совершенно неподвижно, и только глаза его неторопливо перемещаются с меня на Щекна и обратно.

Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам.

Я завожу руку за спину и включаю линган транслятора.

— Подходи и садись, мы друзья, — одними губами говорю я.

Из лингана с полусекундным замедлением несутся гортанные, не лишённые приятности звуки.

Незнакомец вздрагивает и отступает на шаг.

— Не бойся, — говорю я. — Как тебя зовут? Меня зовут Лев, его зовут Щекн. Мы не враги. Мы хотим с тобой поговорить.

Нет, ничего не получается. Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и не ясно даже, понимает ли он, что ему говорят.

— У нас вкусная еда, — не сдаюсь я. — Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу...

Мне вдруг приходит в голову, что аборигену должно быть довольно страшно слышать это «мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно.

— Уходит, — ворчит Щекн.

И я тут же снова вижу аборигена — он длинным, скользким, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и, так ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.

2 июня 78-го года

Лев Абалкин воочию

ОКОЛО 18.00 ко мне ввалились (без предупреждения) Андрей и Сандро. Я спрятал папку в стол и сразу же строго сказал им, что не потерплю никаких деловых разговоров,

поскольку теперь они подчинены не мне, а Клавдию. Кроме того я занят.

Они принялись жалобно ныть, что пришли вовсе не по делам, что соскучились и что нельзя же так. Что-что, а ныть они умеют. Я смягчился. Был открыт бар, и некоторое время мы с удовольствием говорили о моих кактусах. Потом я вдруг совершенно случайно обнаружил, что говорим мы уже не столько о кактусах, сколько о Клавдии, и это еще было как-то оправданно, поскольку Клавдий своей шишковатостью и колючестью мне самому напоминал кактус, но я и ахнуть не успел, как эти юные провокаторы чрезвычайно ловко и естественно съехали на дело о биореакторах и о Капитане Немо.

Не подавая виду, я дал им войти в раж, а затем, в самый кульминационный момент, когда они уже решили, что их начальник вполне готов, предложил им убираться вон. И я бы их выгнал, потому что здорово разозлился и на них, и на себя, но тут (опять же без предупреждения) заявила Алена. Это судьба, подумал я и отправился на кухню. Все равно было уже время ужинать, а даже юным провокаторам известно, что при посторонних о наших делах разговаривать не полагается.

Получился очень милый ужин. Провокаторы, забыв обо всем на свете, распускали хвосты перед Аленой. Когда она их срезала, распускал хвост я — просто для того, чтобы не давать супу остыть в горшке. Кончился этот парад петухов великим спором: куда теперь пойти? Сандро требовал идти на «Октопусов», и притом немедленно, потому что лучшие вещи у них бывают в начале. Андрей горячился, как самый настоящий музыкальный критик, его выпады против «Октопусов» были страстны и поразительно бессодержательны, его теория современной музыки поражала своей свежестью и сводилась к тому, что нынче ночью самое время опробовать под парусом



его новую яхту «Любомудр». Я стоял за шарады, или, в крайнем случае, фанты. Алена же, смекнувшая, что я сегодня никуда не пойду и вообще занят, расстроилась и принялась хулиганить. «Октопусов» — в реку! — требовала она. — По бим-бом-брамселям! Давайте шуметь!» И так далее.

В самый разгар этой дискуссии, в 19.33, закурлыкал видеофон. Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было. И слышно не было ничего, потому что Сандро вопил во всю мочь: «Острова, острова, острова!..» — совершая нелепые телодвижения в попытках подражать неподражаемому Б. Тугарегу. Между тем как Алена, закусив удила, противостояла ему «Песней без слов» Глиэра (а может быть, и не Глиэра).

— Ша! — гаркнул я, пробираясь к видеофону.

Стало несколько тише, но аппарат по-прежнему молчал, мерцая пустым экраном. Вряд ли это был Экселенц, и я успокоился.

— Подождите, я перетащу аппарат, — сказал я в голубоватое мерцание.

В кабинете я поставил видеофон на стол, повалился в кресло и сказал:

— Ну вот, здесь потише... Только имейте в виду, я вас не вижу.

— Простите, я забыл... — произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо — узкое, иссиня-бледное, с глубокими складками от крыльев носа к подбородку. Низкий широкий лоб, глубоко запавшие большие глаза, черные прямые волосы до плеч.

Любопытно, что я сразу узнал его, но не сразу понял, что это он.

— Здравствуйте, Мак, — сказал он, — вы меня узнаете?

Мне нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Я был совершенно не готов.

— Позвольте, позвольте... — затынул я, лихорадочно соображая, как мне следует себя вести.

— Лев Абалкин, — напомнил он, — помните? Саракш, Голубая Змея...

— Господи! — вскричал журналист Каммерер, в прошлом Максим, резидент Земли на планете Саракш. — Лева! А мне сказали, что вас на Земле нет и неизвестно, когда будете... Или вы еще там?

Он улыбался:

— Нет, я уже здесь... Но я вам помешал, кажется?

— Вы мне никак не можете помешать! — проникновенно сказал журналист Каммерер. Не тот журналист Каммерер, который навещал Майю Глумову, а, скорее, тот, который навещал учителя. — Вы мне нужны! Ведь я пишу книгу о голованах!..

— Да, я знаю, — перебил он, — поэтому я вам и звоню. Но, Мак, я ведь уже давно не имею дела с голованами.

— Это как раз неважно, — возразил журналист Каммерер. — Важно, что вы были первым, кто имел с ними дело.

— Положим, первым были вы.

— Нет. Я их просто обнаружил, вот и все. И вообще, о себе я уже написал. И о самых последних работах Комова материал у меня подобран. Как видите, пролог и эпилог есть, не хватает пустячка — основного содержания... Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы надолго на Землю?

— Не очень, — сказал он, — но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы...

— Положим, сегодня и мне было бы не совсем удобно, — быстро подхватил журналист Каммерер, — а вот как насчет завтрашнего дня?

Какое-то время он молча всматривался в меня. Я вдруг сообразил, что никак не могу определить цвет его глаз — уж очень глубоко они сидели под нависшими бровями.

— Поразительно, — проговорил он, — вы совсем не изменились. А я?

— Честно? — спросил журналист Каммерер, чтобы что-нибудь сказать.

Лев Абалкин снова улыбнулся.

— Да, — сказал он. — Двадцать лет прошло. И, вы знаете, Мак, я вспоминаю о тех временах как о самых счастливых. Все было впереди, все еще только начиналось... И, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю эти времена и думаю: до чего же мне чертовски повезло, что начинал я с такими руководителями, как Комов и как вы, Мак...

— Ну-ну, Лев, не преувеличивайте, — сказал журналист Каммерер. — При чем здесь я?

— То есть как это — при чем здесь вы? Комов руководил, Раулингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы!

Журналист Каммерер вытаращил глаза. Я — тоже, но я вдобавок еще и насторожился.

— Ну, Лев, — сказал журналист Каммерер, — вы, брат, по молодости лет ни черта, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственно, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие... Да и то...

— И поставляли идеи! — вставил Лев Абалкин.

— Какие идеи?

— Идея экспедиции на Голубую Змею — ваша?

— Ну, в той мере, что я сообщ...

— Так! Это раз. Идея о том, что с головами должны работать прогрессоры, а не зоопсихологи, — это два!

— Погодите, Лев! Это Комова идея! Да мне вообще было на вас всех наплевать! У меня в это время было восстание в Пандее! Первый массовый десант Океанской Империи! Вы-то должны понимать, что такое... Господи! Да если говорить

честно, я о вас и думать тогда забыл! Зеф вами тогда занимался, Зеф, а не я! Помните рыжего аборигена?..

Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы.

— И нечего оскаливаться! — сказал журналист Каммерер сердито. — Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой! Не-ет, голубчики, видно я вовремя взялся за эту книгу. Надо же, какими идиотскими легендами все это обросло!..

— Ладно-ладно, я больше не буду, — сказал Абалкин, — мы продолжим этот спор при личной встрече...

— Вот именно, — сказал журналист Каммерер, — только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так...

Журналист Каммерер поиграл кнопками настольного блокнота.

— Завтра в десять ноль-ноль у меня... Или, может быть, вам удобнее...

— Давайте у меня, — сказал Лев Абалкин.

— Тогда диктуйте адрес, — скомандовал журналист Каммерер. Он еще не остыл.

— Курорт «Осинушка», — сказал Лев Абалкин, — коттедж номер шесть.

2 июня 78-го года

Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина

Сандро и Андрею я приказал быть свободными. Совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я хотел остаться один и как следует подумать.

Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще

беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности, если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея, — это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить.

Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной.

Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова. Значит, либо он еще раз общался с Майей Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с учителем. Несмотря ни на что. Двадцать лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем?

С какой целью он мне звонил? Например, из сентиментальных побуждений. Воспоминания о первой настоящей работе. Молодость, самое счастливое время в жизни. Гм. Сомнительно... Альтруистическое желание помочь журналисту (первооткрывателю возлюбленных голованов) в его работе, одобренное, скажем, здоровым честолюбием. Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается, значит, Экселенц что-то путает... В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается?

Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил в «Осинушку», коттедж номер шесть. Никто не отозвался. Как и следовало ожидать.

Ладно, оставим пока это. Далее. Что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть на проболтался. Язык себе за это откусить мало. «Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов “Ц”!» — «Интересно, откуда вы знаете,

Мак, о группе флотов “Ц” и, главное, почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю?» Разумеется, ничего этого он бы не сказал, но он бы подумал и все понял. И после такого позорного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику... Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализировать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее, к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей...

Но чего же он добивался? Зачем это он попытался приписать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так, в лоб, едва успев поздороваться... Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто бы именно мне принадлежат все фундаментальные идеи относительно голованов, что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я — дерьмо. Во всяком случае усмешка у него была двусмысленная... Но это же вздор! О том, что именно я открыл голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью...

Чушь и ерунда, конечно. Но факт остается фактом: мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о голованах являюсь я, журналист Каммерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное — светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый (скорее всего) адрес в конце...

Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно, о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему: тобой интересуется некий Максим Каммерер. «Вот как? — думает скрывающийся Лев. — Очень странно! Стоило мне прибыть

на Землю, как мною интересуется Максим Каммерер. А ведь я знал Максима Каммерера. Что это? Совпадение? Лев Абалкин не верит в совпадения. Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Каммерер, в прошлом Максим... А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести...»

Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение. На тот самый случай, если я НЕ Максим Каммерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Каммерер, у него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть...

Но! Это не вся правда и не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых, зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное совпадение, кто-то не туда попал. И все.

А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной. Он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую... Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо... Либо, с точки зрения Абалкина, эта чушь вовсе не чушь.

Например, по каким-то совершенно неведомым мне причинам Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании голованов чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно.

Вполне логично, но как-то странно. Причем здесь головыны? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина головыны сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп!

Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так: ему нравилось работать с голованами, он больше всего на свете хотел работать с голованами, он уже весьма успешно работал с голованами, но работать с голованами ему почему-то не дали... Черт побери, а что тут было бы удивительного, если бы у него наконец лопнуло бы терпение и он плюнул на этот свой штаб «Ц», на КОМКОН, на дисциплину, плюнул на все и вернулся на Землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом, кто — персонально — мешает ему всю жизнь, с кого он может спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за пятнадцать лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу... Вот он и вернулся!

Вернулся и сразу наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был, по сути, куратором его первой работы с голованами, и захотелось ему знать, не принимал ли я участия в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела, и он узнал (с помощью нехитрого приема), что нет, не участвовал — занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе...

Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но только этот разговор и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться, объяснить этой гипотезой было нельзя. Да, елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по КОМКОНу и лупить своих обидчиков направо и налево как человек несдержанный и с артистической нервной организацией... Впрочем,

что-то здоровое в этой моей гипотезе все-таки было, и возникли кое-какие практические вопросы. Я решил задать их Экселенцу, но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву.

Я взглянул на часы: 21.51. Будем надеяться, что старик еще не лег.

Действительно, оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Каммерера. Журналист Каммерер рассыпался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло.

— У меня к вам буквально один-два вопроса, Сергей Павлович, — сказал журналист Каммерер озабоченно. — Вы ведь встречались с Абалкиным?

— Да. Я дал ему ваш номер.

— Вы меня простите, Сергей Павлович... Он только что позвонил мне... И он разговаривал со мною как-то странно... — журналист Каммерер с трудом подбирал слова. — У меня возникло впечатление... Я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться... В конце концов он мог вас неправильно понять...

Старик насторожился.

— В чем дело? — спросил он.

— Вы ведь рассказали ему обо мне... Н-ну, о нашем с вами разговоре...

— Естественно. Я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?

— Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним пятнадцать лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то... Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с головами! Уверяю вас, без всяких, без

малейших на то оснований... Поймите, я в этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того...

— Позвольте, позвольте, молодой человек! — старик поднял руку. — Успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил. Хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь...

— Ну... Может быть... Вы как-то недостаточно точно сформулировали...

— Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал! Я ему сказал, что некий журналист Каммерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер у журналиста такой-то. Позвони ему. Все. Вот все, что я ему сказал.

— Ну, тогда я не понимаю, — сказал журналист Каммерер почти в отчаянии. — Я поначалу решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так... Тогда я не знаю... Тогда это что-то болезненное. Мания какая-то. Вообще эти прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на Земле они иногда совершенно распускаются... Нервы у них сдают, что ли...

Старик завесил глаза бровями.

— Н-ну, знаете ли... В конце концов не исключено, что Лева действительно меня недопонял... А точнее сказать, недослышал... Разговор у нас получился мимолетный, я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в самый последний момент...

— Да нет, я ничего такого не хочу сказать... — попятился журналист Каммерер. — Возможно, что это именно я недопонял Льва... Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид... Он сильно изменился, сделался каким-то недобрым... Вам не показалось, Сергей Павлович?

Да, Сергею Павловичу это тоже показалось. Понуждаемый и подталкиваемый не слишком скрываемой обидой

простодушно-общительного журналиста Каммерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то свои мысли, рассказал, как это все у них произошло.

Примерно в 17.00 С.П. Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу «Комарики» и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через пятнадцать минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне, среди шумящих сосен, между ними состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме.

Едва поздоровавшись, фактически не давши старому учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости и неопытности намеревался поступить, а в школу прогрессоров, каковы усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой.

Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С.П. Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, С.П. Федосеев, узнав о нелепом, с его точки зрения, решении комиссии, устно и письменно протестовал вплоть до регионального совета просвещения. И именно он, С.П. Федосеев, был в конце концов вызван в

евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. («Мне предъявили там заключение четырех экспертов и как дважды два доказали, что я — старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович...»)

Дойдя до этого пункта, старик замолчал.

— И что же он? — осмелился спросить журналист Каммерер.

Старик горестно пожевал губами.

— Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру.

Мы помолчали. Потом старик добавил:

— Вот тут-то я и вспомнил про вас... Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания... Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того... Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу...

2 июня 78-го года

Короткий разговор

Экселенц был дома. Облаченный в строгое черное кино, он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом: рассматривал в лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку.

— Экселенц, — сказал я, — мне надо знать, вступал ли Лев Абалкин на Земле в контакт с кем-нибудь еще?

— Вступал, — сказал Экселенц и посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом.

— Могу я узнать, с кем?

— Можешь. Со мной.

Я осекся. Экселенц подождал немного и приказал:

— Докладывай.

Я доложил. Оба разговора — дословно, выводы свои — вкратце, а в конце добавил, что, по моему мнению, следует ожидать, что Абалкин должен в ближайшее время выйти на Комова, Раулингсона, Горячеву и других людей, так или иначе причастных к его работе с голованами. А также на этого доктора Серафимовича — тогдашнего председателя комиссии по распределению. Поскольку Экселенц молчал и не опускал головы, я позволил себе задать вопрос:

— Можно узнать, о чем он говорил с вами? Меня очень удивляет, что он вообще вышел на вас.

— Тебя это удивляет... Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой: не включил изображение. Полюбовался на меня, узнал, наверное, и отключился.

— Почему вы, собственно, думаете, что это был он?

— Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку.

— Так, может быть, этот человек...

— Нет, этого быть не может... Что же касается твоей гипотезы, то она несостоятельна. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом, он любил эту работу и не согласился бы променять ее ни на что.

— Хотя по типу нервной организации быть прогрессором ему...

— Это не твоя компетенция, — сказал Экселенц резко. — Не отвлекайся. К делу. Приказ отыскать Абалкина и взять его под наблюдение я отменяю. Иди по его следам. Я хочу знать, где он бывал, с кем встречался и о чем говорил.

— Понял. А если я все-таки наткнусь на него?

— Возьмешь у него интервью для своей книги. А потом доложишь мне. Не больше и не меньше.

2 июня 78-го года

Кое-что о тайнах

ОКОЛО 23.30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет.

Я решил начать со Щекна. Щекн, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и поэтому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеет о реальных возможностях этого восьмого (или теперь уже девятого?) чуда света — большого всепланетного информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я, при всем своем опыте и всей своей сноровке, отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью.

Я послал одиннадцать запросов — три из них, как выяснилось, оказались лишними — и получил в результате следующую информацию о головане Щекне.

Полное его имя было, оказывается, Щекн-Итрч. С семьдесят пятого года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он являлся чем-то вроде переводчика-референта миссии, истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за семью печатями. Судя по некоторым данным, Щекн возглавлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки, а между тем эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства.

Вообще фактических данных о Щекне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительные, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами, либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять (или опустить — как кому нравится) руки перед этой загадкой. И многие весьма порядочные ксенологи присоединились к мнению Раулингсона, сказавшего еще лет десять назад в минуту слабости: «Помоему, они просто морочат нам голову!..»

Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало и в дальнейшем не забывать слова Раулингсона.

Располагалась миссия на реке Телон в Канаде, северо-западнее Бейкер-лейка. Голованы, оказывается, пользовались полной свободой передвижения, причем пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме нуль-Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным самими голованами, однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях или, говоря попросту, в норах. Телекоммуникации они не признавали, и втуне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру, специально приспособленную для их слуха, зрения и удобного манипулирования. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бейкер-лейк.

Покончив со Щекном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информацию о нем. Он, оказывается, умер двенадцать лет назад в возрасте ста восемнадцати лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского совета просвещения, член Мирового совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович. Жаль.

Я взялся за Корнея Яшмаа. Прогрессор Корней Янович Яшмаа уже два года имел адресом виллу «Лагерь Яна» в десятке километров к северу от Антонова, в приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого явствовало, что вся его профессиональная деятельность была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории, но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли два малоприметных обстоятельства.

Первое: Корней Янович Яшмаа был посмертным сыном.

Второе: Корней Янович Яшмаа родился 6 октября 38-го года.

Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родителями Корнея Яшмаа были не члены группы «Йормала», а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента «Зеркало». Я не поверил памяти и полез в папку. Все было точно. И никуда, разумеется, не девалась записка на обороте арабского текста: «...встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя — совершенная случайность...» Случайность. Ну, там у них, на Гиганде, может быть, и произошла некая случайность: Лев Абалкин, посмертный сын, родившийся 6 октября 38-го года, встретился с Корнеем Яшмаа, посмертным сыном, родившимся 6 октября 38-го года... А у меня это что — тоже случайность? «Близнецы». От разных родителей. «Если не веришь, загляни в 07 и 11». Так. «07» — передо мной. Значит, где-то в недрах нашего департамента есть еще и 11. И логично предположить, что есть и 01, 02 и так далее... Кстати, минус мне, что я не сразу обратил внимание на этот странный шифр: 07. Дела у нас (конечно, не в папках, а в кристаллозаписи) обозначаются обычно либо фантастическими словосочетаниями, либо названиями предметов...

Между прочим, что это за эксперимент «Зеркало»? Никогда о таком не слышал... Мысль эта пришла как-то вторым

планом, и я набрал запрос в БВИ почти машинально. Ответ меня удивил: «Информация только для специалистов. Предъявите, пожалуйста, ваш допуск». Я набрал код своего допуска и повторил запрос. На этот раз карточка с ответом выскочила с задержкой на несколько секунд: «Информация только для специалистов. Предъявите, пожалуйста, ваш допуск». Я откинулся на спинку кресла. Вот это да! Впервые в моей практике допуска КОМКОНа-2 оказалось недостаточно для получения информации от БВИ.

И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мною — огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина со всеми ее загадками и непонятностями не сводится просто к тайне личности Абалкина — она переплетена с судьбами множества других людей, и касаться этих судеб я не смею ни как работник, ни как человек.

И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту «Зеркало». Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы прояснила мое зрение, я сразу связал между собою все — и странное поведение Ядвиги Лекановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого «вместилища документов», и странный шифр, и отказ Экселенца ввести меня полностью в курс дела, и даже его исходная установка не вступать с Абалкиным ни в какие контакты... А теперь вот еще — фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшмаа.

Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему Экселенц поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточ-



но людей, которые провели бы этот розыск не хуже, а может быть, и лучше меня, но Экселенц, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне, и тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку Экселенц доверял как самому себе.

А ведь тайна Льва Абалкина — это вдобавок еще и тайна личности! Совсем плохо. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых — о ней ничего не должна знать сама личность... Простейший пример: информация о неизлечимой болезни личности. Пример посложнее: тайна проступка, совершенного в неведении и повлекшего за собой необратимые последствия, как это случилось в незапамятные времена с царем Эдипом...

Ну что ж, Экселенц сделал правильный выбор. Я не люблю тайн. В наше время и на нашей планете все тайны, на мой взгляд, отдают какой-то гадостью. Признаю, что многие из них вполне сенсационны и способны потрясти воображение, но лично мне всегда неприятно в них посвящаться, а еще неприятнее — посвящать в них ни в чем не повинных посторонних людей. У нас в КОМКОНе-2 большинство работников придерживается той же точки зрения, и, наверное, именно поэтому утечка информации у нас случается крайне редко. Но моя брезгливость к тайнам, видимо, все-таки превышает среднюю норму. Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина «раскрыть тайну», я говорю обычно «раскопать тайну» и кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова.

Вот как сейчас, например.

Из отчета Льва Абалкина

...В темноте город становится плоским, как старинная гравюра. Тускло светится плесень в глубине черных оконных

проемов, а в редких сквериках и на газонах мерцают маленькие мертвенные радуги — это распустились на ночь бутоны неведомых светящихся цветов. Тянет слабыми, но раздражающими ароматами. Из-за крыш выползает и повисает над проспектом первая луна — огромный иззубренный серп, заливший город неприятным оранжевым светом.

У Щекна это светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорожно приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повыть, а он сдерживается. Это тем более странно, что на его родном Саракше луну увидеть невозможно из-за атмосферной рефракции, а к земной луне он всегда относился совершенно индифферентно, насколько мне это известно, во всяком случае.

Потом мы замечаем детей.

Их двое. Держась за руки, они тихонько бредут по тротуару, словно стараясь прятаться в тени. Идут они туда же, что и мы со Щекном. Судя по одежде — мальчики. Один повыше, лет восьми, другой совсем маленький, лет четырех или пяти. По-видимому, они только что вывернули из какого-то бокового переулочка, иначе я бы увидел их издалека. Идут уже давно, не первый час, очень устали и едва передвигают ноги... Младший вообще уже не идет, а волочится, держась за руку старшего. У старшего на широкой лямке через плечо болтается плоская сумка, он ее все время поправляет, а она бьет его по коленкам.

Транслятор сухим бесстрастным голосом переводит: «...Устал, болят ноги... Иди, тебе сказано... Иди... Нехороший человек... Ты сам нехороший, дурной человек... Змея с ушами... Ты сам несъедобный крысиный хвост...» Так. Остановились. Младший выворачивает свою руку из руки старшего и садится. Старший поднимает его за ворот, но младший снова садится, и тогда старший дает ему по шее. Из транслятора валом

валят «крысы», «змеи», «дурнопахнущие животные» и прочая фауна. Потом младший принимается громко рыдать, и транслятор недоуменно замолкает. Пора вмешаться.

— Здравствуйте, ребята, — говорю я одними губами.

Я подошел к ним вплотную, но они только сейчас замечают меня. Младший моментально перестает плакать — глядит на меня, широко раскрыв рот. Старший тоже глядит, но исподлобья, неприязненно, и губы у него плотно сжаты. Я опускаюсь перед ним на корточки и говорю:

— Не бойся. Я добрый. Обижать не буду.

Я знаю, что линганы не передают интонацию, и поэтому стараюсь подбирать простые успокаивающие слова.

— Меня зовут Лев, — говорю я. — Я вижу, вы устали. Хотите, я вам помогу?

Старший не отвечает. Он по-прежнему глядит исподлобья — с большим недоверием и настороженностью, а младший вдруг заинтересовывается Щекном и не сводит с него глаз — видно, что ему и страшно, и интересно сразу. Щекн с самым добропорядочным видом сидит в сторонке, отвернув лобастую голову.

— Вы устали, — говорю я. — Вы хотите есть и пить. Сейчас я вам дам вкусенького...

И тут старшего прорывает. Вовсе они не устали, и не надо им ничего вкусенького. Сейчас он расправится с этой крысоухой змеей, и они пойдут дальше. А кто будет им мешать, тот получит пулю в брюхо. Вот так.

Очень хорошо. Никто им не собирается мешать. А куда они идут?

Куда им надо, туда они и идут.

А все-таки? Вдруг им по дороге? Тогда крысоухую змею можно было бы поднести на плече...

В конце концов все улаживается. Съедается четыре плитки шоколада и выпивается две фляги тонизатора. В маленькие

рты вдавливаются по полтюбика фруктовой массы. Внимательно обследуется радужный комбинезон Льва и (после короткого, но чрезвычайно энергичного спора) позволяется один раз (только один!) погладить Щекна (но ни в коем случае не по голове, а только по спине). На борту у Вандерхузе все рыдают от умиления, и раздается мощное сюсюканье.

Далее выясняется следующее.

Мальчики — братья, старшего зовут Иядрудан, а младшего — Притулатан. Жили они довольно далеко отсюда (уточнить не удастся) с отцом в большом белом доме с бассейном во дворе. Совсем еще недавно с ними вместе жили две теткы и еще один брат — самый старший, ему было восемнадцать лет, — но они все умерли. После этого отец никогда не брал их с собой за продуктами, он стал ходить сам, один, а раньше они ходили всей семьей. Вокруг много продуктов — и там-то, и там-то, и там-то (уточнить не удастся). Уходя один, отец каждый раз приказывал: если он не вернется до вечера, надо взять книгу, выходить на этот вот проспект и идти все время вперед и вперед до красивого стеклянного дома, который светится в темноте. Но входить в этот дом не надо — надо сесть рядом и ждать, когда придут люди и отведут их туда, где будут и отец, и мама, и все. Почему ночью? А потому, что ночью на улицах не бывает дурных людей. Они бывают только днем. Нет, мы никогда их не видели, но много раз слышали, как они звенят колокольчиками, играют песенки и выманивают нас из дому. Тогда отец и старший брат хватали свои винтовки и всаживали им пулю в брюхо... Нет, больше никого они не знают и не видели. Правда, когда-то давно к ним в дом приходили какие-то люди с винтовками и целый день спорили с отцом и со старшим братом, а потом и мама с обеими тетками вмешалась. Все они громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил, эти люди ушли и больше никогда не приходили...

Маленький Притулатан засыпает сразу же, как только я беру его на закорки. Иядрудан, напротив, отказывается от какой-либо помощи. Он только позволил мне приладить половчее свою сумку с книгой и теперь с независимым видом идет рядом, засунув руки в карманы. Щеки бежит впереди, не принимая участия в разговоре. Всем своим видом он демонстрирует полное равнодушие к происходящему, но на самом деле он так же, как и все мы, заинтригован очевидным предположением, что цель мальчиков — некое светящееся здание — как раз и есть тот самый объект «Пятно-96».

...Что написано в книге, Иядрудан пересказать не умеет. В эту книгу все взрослые каждый день записывали обо всем, что случается. Как Притулатана укусил ядовитый муравей. Как вода вдруг стала уходить из бассейна, но отец ее остановил. Как тетка умерла — открывала консервную банку, мама смотрит, а тетка уже мертвая... Иядрудан эту книгу не читал, он плохо умеет читать и не любит, у него плохие способности. Вот у Притулатана очень хорошие способности, но он еще маленький и ничего не понимает. Нет, им никогда не было скучно. Какая может быть скука в доме, где пятьсот семь комнат? А в каждой комнате полно всяких диковинных вещей, даже таких, что сам отец ничего не мог сказать, зачем они и для чего. Только вот винтовки там ни одной не нашлось. Винтовки теперь — редкость. Может быть, в соседнем доме нашлась бы винтовка, но отец стрелять не давал. Он говорил, что нам это ни к чему. Вот когда мы уйдем к светящемуся дому и добрые люди, которые нас там встретят, отведут нас к маме, вот уж там-то мы будем стрелять, сколько захотим... А может быть, это ты отведешь нас к маме? Тогда почему у тебя нет винтовки? Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет, а отец говорил, что все добрые люди — с винтовками...

— Нет, — говорю я, — не сумею я тебя отвести к маме. Я здесь чужой и сам бы хотел встретиться с добрыми людьми.



— Жалко, — говорит Иядрудан.

Мы выходим на площадь. Объект «Пятно-96» вблизи похож на гигантскую старинную шкатулку голубого хрустала во всем ее варварском великолепии, сверкающую бесчисленными драгоценными камнями и самоцветами. Ровный бело-голубой свет пронизывает ее изнутри, озаряя растрескавшийся, проросший черной щетиной сорняков асфальт и мертвые фасады домов, окаймляющих площадь. Стены этого удивительного здания совершенно прозрачны, а внутри сверкает и переливается веселый хаос красного, золотого, зеленого, желтого, так что не сразу замечаешь широкий, как ворота, приветливо распахнутый вход, к которому ведут несколько низких плоских ступеней.

— Игрушки!.. — благоговейно шепчет Притулатан и принимается ерзать, сползая с меня.

Только теперь я понимаю, что шкатулку наполняют вовсе не драгоценности, а разноцветные игрушки, сотни и тысячи разноцветных, чрезвычайно аляповатых игрушек — несуразно огромные, ярко размалеванные куклы, уродливые деревянные автомобили и великое множество какой-то разноцветной мелочи, которую трудно разглядеть на таком расстоянии.

Маленький способный Притулатан немедленно принимается ныть и кланчить, чтобы все пошли в этот волшебный дом; это ничего, что папа не велел, мы только на минуточку зайдем, возьмем вон тот грузовик и сейчас же начнем ждать добрых людей... Иядрудан пытается пресечь его, сначала словесно, а когда это не помогает, то крутанув ему ухо, и нытье теряет членораздельность. Транслятор бесстрастно высыпает в окружающее пространство целый мешок «крысоухих змей», возмущенно галдит борт Вандерхузе, требуя успокоить и утешить, и вдруг все, включая способного Притулатана, разом замолкают.

У ближайшего угла вдруг объявляется давешний абориген с винтовкой. Мягко и бесшумно ступая по голубым бликам, положив руки на винтовку, висящую поперек груди, он подходит прямо к детям. На нас с Щекном он даже не смотрит. Крепко берет затихшего Притулатана за левую руку, а просиявшего Иядрудана — за правую и ведет их прочь, через площадь, прямо к светящемуся зданию — к маме, к отцу, к безграничным возможностям стрелять сколько угодно.

Я смотрю им вслед. Все вроде бы идет так, как должно идти, и в то же время какая-то мелочь, какой-то сущий пустяк портит всю картину. Какая-то капелька дегтя...

— Ты узнал? — спрашивает Щекн.

— Что именно? — отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удастся избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид.

— Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки...

Я почти не слышу его. Я вдруг все понимаю про эту соринку. Абориген удаляется, держа детишек за руки, и я вижу, как винтовка в такт шагам раскачивается у него на груди, словно маятник — слева направо, справа налево... Она не может так раскачиваться. Не может так лихо мотаться туда-сюда тяжелая магазинная винтовка весом уж никак не меньше полпуда. Так может мотаться игрушечная винтовка — деревянная, пластмассовая. У этого «доброго человека» винтовка не настоящая...

Я не успеваю додумать до конца все. Игрушечная винтовка у аборигена. Аборигены стреляют снайперски. Может быть, игрушечная винтовка — из этого игрушечного павильона... Погаси в этом павильоне свет и расстреляй его из пушки... Это ведь точно такой же павильон... Нет, ничего я не успел додумать до конца.

Слева сыплются кирпичи, с хрустом раскалывается о тротуар деревянная рама. По уродливому фасаду шестиэтажного

дома, третьего от угла, сверху вниз, наискосок, через черные провалы окон скользит широкая желтая тень — скользит так легко, так невесомо, не верится, что это после нее рушатся с фасада пласты штукатурки и обломки кирпичей. Что-то кричит Вандерхузе, ужасно, в два голоса визжат на площади дети, а тень уже на асфальте — такая же невесомая, полупрозрачная, огромная. Бешеное движение десятков ног почти неразлично, и в этом мелькании темнеет, вспучиваясь и опадая, длинное членистое тело, несущее перед собой высоко задранные хватательные клешни, на которых лежит неподвижный лаковый блик...

Скорчер оказывается у меня в руке сам. Я превращаюсь в автоматический дальномер, занятый только тем, чтобы измерять расстояние между ракопаук и детскими фигурками, улепетывающими наискосок через площадь. (Где-то там еще абориген со своей фальшивой винтовкой, он тоже бежит изо всех сил, чуть отставая от детей, но за ним я не слежу.) Расстояние стремительно сокращается, все совершенно ясно, и когда ракопаук оказывается у меня на траверзе, я стреляю.

В этот момент до него двадцать метров. Мне не так уж часто приходилось стрелять из скорчера, и я потрясен результатом. От красно-лиловой вспышки я на мгновение слепну, но успеваю увидеть, что ракопаук словно бы взрывается. Сразу. Весь целиком, от клешней до кончика задней ноги. Как перегретый паровой котел. Гремит короткий гром, эхо пошло отражаться и перекатываться по площади, а на месте чудовища вспухает плотная, на вид даже как бы твердая туча белого пара.

Все кончено. Облако пара расплзается с тихим шипением, панические визги и топот затихают в глубине темного переулка, а драгоценная шкатулка павильона как ни в чем не бывало сияет посередине площади прежним своим варварским великолепием...

— Черт знает, какая дрянь страшная, — бормочу я. — Откуда они здесь взялись — за сто парсеков от Пандоры?.. А ты что, опять его не учуял?

Щекн не успевает ответить. Гремит винтовочный выстрел, эхом прокатывается по площади, и сразу же за ним — второй. Где-то совсем близко. Как будто за углом. Ну, ясно, из того переулка, куда они все убежали...

— Щекн, держись слева, не высывайся! — команду я уже на бегу.

Я не понимаю, что там происходит, в этом переулке. Скорее всего, на детей напал еще один ракопаук... Значит, винтовка все-таки не игрушечная? И тут из темноты переулка выходят и останавливаются, преграждая нам дорогу, трое. И двое из них вооружены настоящими магазинными винтовками, и два ствола направлены прямо на меня.

Все очень хорошо видно в голубовато-белом свете: рослый седой старик в сером мундире с блестящими пуговицами, а по сторонам его и чуть позади — двое крепких парней с винтовками наизготовку, тоже в серых мундирах, опоясанных ремнями с патронными сумками.

— Очень опасно... — щелкает Щекн на языке голованов. — Повторяю: очень!

Я перехожу на шаг и с некоторым усилием заставляю себя спрятать скорчер в кобуру. Я останавливаюсь перед стариком и спрашиваю:

— Что с детьми?

Дула винтовок направлены мне прямо в живот. В брюхо. Лица у парней угрюмые и совершенно безжалостные.

— С детьми все в порядке, — отвечает старик.

Глаза у него светлые и как будто даже веселые. В лице его нет той тяжеловесной мрачности, как у вооруженных парней. Обыкновенное морщинистое лицо старого человека, не лишенное даже известного благообразия. Впрочем, может быть,

мне это только кажется, может быть, все дело в том, что вместо винтовки у него в руке блестящая отполированная трость, которой он легонько и небрежно похлопывает себя по голенищу высокого сапога.

— В кого стреляли? — спрашиваю я.

— В нехорошего человека, — переводит транслятор ответ.

— Вы, наверное, и есть те самые добрые люди с винтовками? — спрашиваю я.

Старик задирает брови.

— Добрые люди? Что это значит?

Я объясняю ему то, что мне объяснил Иядрудан. Старик кивает.

— Понятно. Да, мы — те самые добрые люди, — он разглядывает меня с головы до ног. — А у вас дела, я вижу, идут неплохо... Переводящая машинка за спиной... У нас тоже такие были когда-то, но огромные, на целые комнаты... А такого ручного оружия у нас и вовсе никогда не было. Ловко вы этого нехорошего человека срезали! Как из пушки. Давно прилетели?

— Вчера, — говорю я.

— А вот мы свои летающие машины так и не наладили. Некому налаживать, — он снова откровенно разглядывает меня. — Да, вы молодцы. А у нас тут, как видите, полный развал. Как вам удалось? Отбились? Или средства какие-нибудь нашли?

— Развал у вас действительно полный, — говорю я осторожно. — Целые сутки я у вас здесь, и все равно ничего не понимаю...

Мне ясно, что он принимает меня за кого-то другого. На первых порах это может быть даже и к лучшему. Только надо осторожно, очень осторожно...

— Я знаю, что вы ничего не понимаете, — говорит старик, — и это по меньшей мере странно... Неужели у вас всего этого не было?



— Нет, — отвечаю я, — такого у нас не было.

Старик вдруг раздражается длинной фразой, на которую транслятор немедленно откликается: «Язык не кодируется».

— Не понимаю, — говорю я.

— Не понимаете... А мне казалось, что я неплохо владею языком загорья.

— Я не оттуда, — возражаю я, — и никогда там не был.

— Откуда же вы?

Я принимаю решение.

— Это сейчас неважно, — говорю я, — не будем говорить о нас. У нас все в порядке. Мы не нуждаемся в помощи. Будем говорить о вас. Я мало что понял, но одно очевидно: вы в помощи нуждаетесь. В какой именно? Что нужно в первую очередь? Вообще, что у вас здесь происходит? Вот о чем мы сейчас будем говорить. И давайте сядем, я весь день на ногах. У вас найдется, где можно было бы посидеть и спокойно поговорить?

Некоторое время он молча шарит взглядом по моему лицу.

— Не хотите говорить, откуда вы... — произносит он наконец, — что ж, — это ваше право. Вы сильнее. Только это глупо. Я и так знаю: вы с Северного Архипелага. Вас не тронули только потому, что не заметили. Ваше счастье. Но хочется спросить, где вы были эти последние сорок лет, пока нас здесь гноили заживо? Жили в свое удовольствие, будьте вы прокляты!

— Не вы одни терпите бедствие, — возражаю я вполне искренне, — теперь вот очередь дошла до вас.

— Мы очень рады, — говорит он, — пойдемте сядем и побеседуем.

Мы входим в подъезд дома напротив, поднимаемся на второй этаж и оказываемся в грязноватой комнате, где всего-то и есть — стол посередине, огромный диван у стены да два

табурета у окна. Окна выходят на площадь, и комната озарена бело-голубым светом павильона. На диване кто-то спит, завернувшись с головой в гляцевитый плащ. На столе — консервные банки и большая металлическая фляга.

Едва войдя в комнату, старик принимается наводить порядок. Он поднимает на ноги спящего и гонит его куда-то из дому. Один из угрюмых парней получает приказ занять пост и усаживается на табурет у окна, где и сидит потом все время, не отрывая глаз от площади. Второй угрюмый парень принимается ловко вскрывать банки с консервами, а потом встает у дверей, прислонившись плечом к притолоке.

Мне предлагается сесть на диван, после чего меня задвигают столом и обставляют банками с консервами. Во фляге оказывается обыкновенная вода, довольно чистая, хотя и с железистым привкусом. Щекн тоже не забыт. Солдат, которого согнали с дивана, ставит перед ним на пол открытую банку консервов. Щекн не возражает. Правда, он не ест консервов, а отходит к двери и предусмотрительно устраивается рядом с постовым. При этом он старательно чешется, фыркает и облизывается, изо всех сил притворяясь обыкновенной собакой.

Между тем старик берет второй табурет, усаживается напротив меня, и переговоры начинаются.

Прежде всего старик представляется. Разумеется, он оказывается гаттаухом, и притом не просто гаттаухом, но и гаттаухокамбомоном, что следует, по-видимому, переводить, как «правитель всей территории и прилегающих районов». Под его правлением находится весь город, порт и дюжина племен, обитающих в радиусе до пятидесяти километров. Что происходит за пределами этого радиуса, он представляет себе плохо, но полагает, что там примерно то же самое. Общая численность населения его области составляет сейчас не более пяти тысяч человек. Ни промышленности, ни сколько-нибудь правильно организованного сельского хозяйства в области



не существует. Есть, правда, лаборатория в пригороде. Хорошая лаборатория, в свое время одна из лучших в мире, и руководит ею по сей день сам драудан. («Странно, что вы никогда о нем не слышали... Ему тоже повезло — он оказался долгожителем, как и я...») Но ничего они там так и не добились за все эти сорок лет. И, видимо, не добьются.

— А поэтому, — заключает старик, — давайте не будем ходить вокруг да около и торговаться давайте не будем. У меня условие только одно: если лечить, то всех. Без исключения. Если это условие вам годится, все остальные можете ставить сами. Любые. Принимаю безоговорочно. Если же нет, тогда вы лучше к нам не суйтесь. Мы, конечно, все здесь погибнем, но и вам житья не будет, пока хоть один из нас еще жив.

Я молчу. Я все жду, что штаб хоть что-нибудь мне подскажет. Ну хоть что-нибудь! Но там, похоже, тоже ничего не понимают.

— Я хотел бы вам напомнить, — говорю я наконец, — что я по-прежнему ничего не понимаю в ваших делах.

— Так задавайте вопросы! — говорит старик резко.

— Вы сказали: лечить. У вас эпидемия?

Лицо старика делается каменным. Он долго смотрит мне в глаза, утомленно облокачивается на стол и трет пальцами лоб.

— Я же вас предупредил: не надо ходить вокруг да около. Мы же не собираемся торговаться. Скажите ясно и просто: есть у вас всеобщее лекарство? Если есть, диктуйте условия. Если нет, нам не о чем разговаривать.

— Так мы с вами не сдвинемся с мертвой точки, — говорю я, — давайте исходить из того, что я абсолютно ничего о вас не знаю. Проспал я эти сорок лет, например. Не знаю, какая у вас болезнь, не знаю, какое вам нужно лекарство...

— И про нашествие ничего не знаете? — говорит старик, не открывая глаз.

— Почти ничего.

— И про всеобщий угон ничего не знаете?

— Почти ничего. Знаю, что все ушли. Знаю, что в этом как-то замешаны пришельцы из космоса. Больше ничего.

— При-шерь-зы... Из коз-мо-за... — с трудом повторяет старик по-русски.

— Люди с Луны... Люди с неба... — говорю я.

Он оскаливает желтые крепкие зубы.

— Не с неба и не с Луны. Из-под земли! — говорит он. — Значит, кое-что вы все-таки знаете...

— Я прошел через город. И многое видел.

— А у вас там не было совсем ничего? Совсем?

— Ничего подобного не было, — говорю я твердо.

— И вы ничего не заметили? Не заметили гибели человечества? Перестаньте врать! Чего вы хотите добиться этим враньем?

— Лев! — шелестит у меня под шлемом голос Комова. — Разыгрывайте вариант «Кретин»!

— Я — лицо подчиненное, — объявляю я строго. — Я знаю только то, что мне положено знать! Я делаю только то, что мне приказано делать! Если мне прикажут врать, я буду врать, но сейчас я такого приказа не имею.

— А какой же приказ вы имеете?

— Провести разведку в вашем районе и доложить все обстоятельства.

— Какая чушь! — с усталым отвращением говорит старик. — Ну хорошо. Будь по-вашему. Вам зачем-то надо, чтобы я рассказывал всем известные вещи... Ладно. Слушайте.

Оказывается, во всем виновата раса отвратительных нелюдей, расплодившаяся в недрах планеты. Четыре десятка лет назад эта раса предприняла нашествие на местное человечество. Нашествие началось с невиданной пандемии, которую нелюди обрушили разом на всю планету. Возбудителя пандемии обнаружить не удалось до сих пор. А выглядела эта

болезнь так: начиная с двенадцатилетнего возраста вполне нормальные дети стремительно старели. Темп развития человеческого организма по достижении критической возрастной точки усиливался в геометрической прогрессии. Шестнадцатилетние юноши и девушки выглядели сорокалетними, в восемнадцать лет начиналась старость, а двадцатилетие переживали только единицы.

Пандемия свирепствовала три года, после чего нелюди впервые заявили о своем существовании. Они предложили всем правительствам организовать переброску населения «в соседний мир», то есть к себе, в недра земли. Они пообещали, что там, в соседнем мире, пандемия исчезнет сама собой, и тогда миллионы и миллионы испуганных людей ринулись в специальные колодцы, откуда, разумеется, никто с тех пор так и не вернулся. Так сорок лет тому назад погибла местная цивилизация.

Конечно, не все поверили и не все испугались. Оставались целые семьи и группы семей, целые религиозные общины. В чудовищных условиях пандемии они продолжали свою безнадежную борьбу за существование и за право жить так, как жили их предки. Однако нелюди и эту жалкую долю процента прежнего населения не оставили в покое. Они организовали настоящую охоту за детьми, за этой последней надеждой человечества, они наводнили планету «нехорошими людьми». Сначала это были подделки под людей, имеющие вид веселых размазанных дядей, звенящих бубенчиками и играющих веселые песенки. Глупые детишки с радостью шли за ними и навсегда исчезали в янтарных «стаканах». Тогда же на главных площадях появились такие вот сияющие в ночи игрушечные лавки — ребенок заходил туда и исчезал бесследно.

— Мы делали все что могли. Мы вооружились — в покинутых арсеналах было полно оружия. Мы научили детей бояться «нехороших людей», а затем и уничтожать их из винтовок. Мы разрушали кабины и расстреливали в упор игрушечные

лавки, пока не поняли, что умнее будет поставить возле них часовых и перехватывать неосторожных детей у порога. Но это было только начало...

Нелюди с неистощимой выдумкой выбрасывали на поверхность все новые и новые типы охотников за детьми. Появились «чудовища». Почти невозможно попасть в такое, когда оно нападает на ребенка. Появились гигантские яркие бабочки — они падали на ребенка, окутывали его крыльями и исчезали вместе в нем. Эти бабочки вообще неуязвимы для пуль. Наконец последняя новинка: появились гады, совершенно неотличимые от обыкновенного бойца. Эти просто берут ничего не подозревающего ребенка за руку и уводят с собой. Некоторые из них умеют даже разговаривать...

— Мы прекрасно знаем, что шансов выжить у нас практически нет. Пандемия не прекращается, а мы сначала надеялись на это. Только один человек на сто тысяч остается незараженным. Вот я, например, Иядрудан... И еще один мальчик — он вырос на моих глазах, ему сейчас восемнадцать, и он выглядит на восемнадцать... Если вы не знали всего этого, то знайте. Если знали, тогда имейте в виду, что мы прекрасно понимаем свое положение. И мы готовы согласиться на любые ваши условия — готовы на вас работать, готовы вам подчиняться... На все условия, кроме одного: если лечить, то всех. Никакой элиты, никаких избранных!

Старик замолкает, тянется к кружке с водой и жадно пьет. Солдат, стоящий у дверей, переминается с ноги на ногу и зевает, прикрывая рот ладонью. На вид ему лет двадцать пять. А на самом деле? Тринадцать? Пятнадцать? Подросток...

Я сижу неподвижно, стараясь сохранить каменное лицо. Подсознательно я ожидал чего-нибудь в этом роде, но то, что я услышал от очевидца и пострадавшего, почему-то никак не укладывается у меня в сознании. Факты, которые изложил старик, сомнения у меня не вызывают, но это — как во сне:

каждый элемент в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит совершенно нелепо.

Может быть, все дело в том, что мне в плоть и кровь вьелось некое предвзятое мнение о Странниках, безоговорочно принятое у нас на Земле?

— Откуда вы знаете, что они нелюди? — спрашиваю я. — Вы их видели? Вы лично?

Старик кричит. Лицо его делается страшным.

— Половину своей бессмысленной жизни я бы отдал, чтобы увидеть перед собой хотя бы одного, — шепло произносит он. — Вот этими руками... Сам... Но я, конечно, их не видел. Слишком они осторожны и трусливы... Да их, наверное, никто не видел, кроме этих поганных предателей из правительства сорок лет назад... А по слухам, они вообще формы не имеют, как вода, скажем, или пар...

— Тогда непонятно, — говорю я, — зачем существам, не имеющим формы, заманивать несколько миллиардов людей к себе в подземелья?

— Да будьте вы прокляты! — говорит старик повысив голос. — Это же НЕЛЮДИ! Как мы с вами можем судить, что нужно нелюдям? Может быть, рабы. Может быть, еда... А может быть, строительный материал для своих гадов... Какая разница? Они разрушили наш мир! Они и теперь не дают нам покоя, травят нас, как крыс...

И тут лицо его вдруг страшно искажается. С поразительной для своего возраста прытью он отскакивает к противоположной стене, с грохотом отшвырнув табуретку. Я и глазом моргнуть не успел, а он уже держит обеими руками большой никелированный револьвер, наставив его прямо на меня. Сонные стражи проснулись и с таким же выражением недоверия и ужаса на лицах, ставших вдруг совсем ребяческими, не отрывая от меня глаз, беспорядочно шарят вокруг себя в поисках своих винтовок.



— Что случилось? — говорю я, стараясь не шевелиться.

Никелированный ствол ходит ходуном, а стражи, нащупав наконец оружие, дружно клацают затворами.

— Твоя дурацкая одежда все-таки заработала, — щелкает Щекн на своем, — тебя почти не видно. Только лицо. Ты не имеешь формы, как вода или пар. Впрочем, старик уже раздумал стрелять. Или мне все-таки убрать его?

— Не надо, — говорю я по-русски.

Старик наконец подает голос. Он белее стены и говорит запинаясь, но не от страха, конечно, а от ненависти. Мощный все-таки старик.

— Проклятый подземный оборотень! — говорит он. — Положи руки на стол! Левую на правую! Вот так...

— Это недоразумение, — говорю я сердито. — Я не оборотень. У меня специальная одежда. Она может делать меня невидимым, только плохо работает.

— Ах, одежда? — издевательски произносит старик. — На Северном Архипелаге научились делать одежду-невидимку!

— На Северном Архипелаге очень многое научились делать, — говорю я. — Спрячьте, пожалуйста, ваше оружие и давайте разберемся спокойно.

— Дурак ты, — говорит старик. — Хоть бы на карту нашу удосужился взглянуть. Нет никакого Северного Архипелага... Я тебя сразу раскусил, только все никак не мог поверить в такую наглость...

— Неужели тебе не унизительно? — щелкает Щекн. — Давай, ты возьмишь на себя старика, а я — обоих молодых...

— Пристрели собаку! — командует старик стражу, не отрывая взгляда от меня.

— Я тебе покажу «собаку»! — на чистейшем местном наречии произносит Щекн. — Старый болтливый козел!

Тут нервы у мальчишек не выдерживают, и начинается пальба...

3 июня 78-го года

Снова Майя Глумова

Я СИЛЬНО переборщил с громкостью видеофона. Аппарат у меня над ухом мелодично взревел, как незнакомец в коротких штанишках в разгар ухаживания за миссис Никльби. Я бомбой вылетел из кресла, на лету нашаривая клавишу приема.

Звонил Экселенц. Было 07.03.

— Хватит спать, — произнес он довольно благодушно, — в твои годы я не имел обыкновения спать.

До каких, интересно, пор мне выслушивать от него про мои годы? Мне уже сорок пять... И, кстати, в мои годы он-таки спал. Он и сейчас не дурак поспать.

— А я и не спал, — соврал я.

— Тем лучше, — сказал он, — значит, ты можешь приступить к работе немедленно. Найди эту Глумову. Выясни у нее следующее. Видалась ли она с Абалкиным со вчерашнего дня. Говорил ли Абалкин с ней о ее работе. Если говорил, что именно его интересовало. Не выражал ли он желания зайти к ней в музей. Все. Не больше и не меньше.

Я откликаюсь на эту кодовую фразу:

— Выяснить у Глумовой, видалась ли она с ним еще раз, был ли разговор о работе, если был, то что интересовало, не выражал ли желания посетить музей.

— Так. Ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. КОМ-КОН разыскивает прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно несчастного случая. Расследование связано с тайной личности и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?

— Хотел бы я знать, причем здесь этот музей... — пробормотал я как бы про себя.

— Ты что-то сказал? — осведомился Экселенц.

— Предположим, у них не было никаких разговоров про этот треклятый музей. Могу я в этом случае попытаться выяснить, что все-таки произошло между ними при первой встрече?

— Тебе это важно?

— А вам?

— Мне — нет.

— Очень странно, — сказал я, глядя в сторону. — Мы знаем, что хотел выяснить Абалкин у меня. Мы знаем, что он хотел выяснить у Федосеева. Но мы представления не имеем, чего он добивался от Глумовой...

Экселенц сказал:

— Хорошо. Выясняй. Но только так, чтобы это не помешало выяснению главных вопросов. И не забудь надеть радиобраслет. Надень-ка его прямо сейчас, чтобы я это видел...

Я со вздохом извлек из ящика стола браслет и нацепил его на левое запястье. Браслет жал.

— Вот так, — сказал Экселенц и отключился.

Я направился в душ. Из кухни раздавался гром и лязг — Алена орудовала утилизатором. Пахло кофе. Я принял душ, и мы позавтракали. Алена в моем халате восседала напротив меня и была похожа на китайского божка. Она объявила, что у нее сегодня доклад, и предложила прочесть мне его вслух для тренировки. Я уклонился, сославшись на обстоятельства. «Опять?» — спросила она сочувственно и в то же время агрессивно. «Опять», — признался я не без вызова. «Проклятье», — сказала она. «Не спорю», — сказал я. «Это надолго?» — спросила она. «У меня еще три дня сроку», — сказал я. «А если не успеешь?» — спросила она. «Тогда всему конец», — сказал я. Она бегло глянула на меня, и я понял, что она опять представляет себе всякие ужасы. «Скучища, — сказал я, — надоело. Отбарабаню это дело, и поедем с тобой куда-нибудь подальше отсюда.» — «Я не смогу», — сказала

она грустно. «Неужели тебе не надоело? — спросил я. — Чепухой ведь занимаетесь...» Вот так с ней и нужно. Она мгновенно оцетинилась и принялась доказывать, что занимается не чепухой, а дьявольски интересными и нужными вещами. В конце концов мы договорились, что через месяц поедем на Новую Землю. Это теперь модно...

Я вернулся в кабинет и, не садясь, набрал номер дома Глумовой. Никто не откликнулся. Было 07.51. Яркое солнечное утро. В такую погоду до восьми часов спать мог только наш слон. Майя Глумова, наверное, уже отправилась на работу, а веснушчатый Тойво вернулся в свой интернат.

Я прикинул свое расписание на сегодняшний день. В Канаде сейчас поздний вечер. Насколько я знаю, голованы ведут преимущественно ночной образ жизни, так что ничего плохого не случится, если я отправлюсь туда часа через три-четыре... Кстати, как сегодня насчет нуль-Т? Я запросил справочную. Нуль-транспортировка возобновила нормальную работу с четырех утра. Таким образом, я сегодня успеваю и к Щекну, и к Корнею Яшмаа.

Я сходил на кухню, выпил еще одну чашку кофе и проводил Алену на крышу до глайдера. Простились мы с преувеличенной сердечностью: у нее начался преддокладный мандраж. Я старательно махал ей рукой, пока она не скрылась из виду, а потом вернулся в кабинет.

Интересно, что ему дался этот музей? Музей как музей... Какое-то отношение к работе прогрессоров, в частности к Саракшу, он, конечно, имеет... Тут я вспомнил расширенные во всю радужку зрачки Экселенца. Неужели он тогда в самом деле испугался? Неужели мне удалось испугать Экселенца? И чем! Ординарным и вообще-то случайным сообщением, что подруга Абалкина работает в Музее внеземных культур... В спецсекторе объектов невыясненного назначения... Пардон! Спецсектор он назвал сам. Я сказал, что Глумова работает в Музее внеземных

культур, а он мне объявил: в спецсекторе объектов невыясненного назначения... Я вспомнил анфилады комнат, уставленные, увешанные, перегороженные, заполненные диковинками, похожими на абстрактные скульптуры или на топологические модели... И Экселенц допускает, что имперского штабного офицера, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может хоть что-нибудь заинтересовать в этих комнатах...

Я набрал номер рабочего кабинета Глумовой и несколько остолбенел. С экрана приятно улыбался мне Гриша Серосовин, по прозвищу Водолей, из четвертой подгруппы моего отдела. В течение нескольких секунд я наблюдал за последовательной сменой выражений на румяной Гришиной физиономии. Приятная улыбка, растерянность, официальная готовность выслушать распоряжение и, наконец, снова приятная улыбка. Слегка теперь натянутая. Парня можно было понять. Если уж я сам испытал некоторое остолбенение, то ему слегка растеряться сам бог велел. Конечно же, меньше всего он ожидал увидеть на экране начальника своего отдела, но в общем, справился он вполне удовлетворительно.

— Здравствуйте, — сказал я. — Попросите, если можно, Майю Тойвовну.

— Майя Тойвовна... — Гриша огляделся. — Вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?

— Передайте, что звонил Каммерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же — новичок? Что-то я вас...

— Да, я тут только со вчерашнего дня... Я тут, собственно, посторонний, работаю с экспонатами...

— Ага, — сказал я. — Ну что ж... Спасибо. Я еще позвоню.

Так-так-так. Экселенц принимает меры. Похоже, что он просто уверен, что Лев Абалкин появится в музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя. Сообра-

зительный, хорошая реакция. По образованию — экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело. Молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование. Что-нибудь вроде: «Зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа». Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по субаксу...

Ладно. Это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А кстати, он ведь мне назначил на сегодня свидание в 10.00. Наверняка соврал, но, если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил в «Осинушку». Коттедж номер шесть отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову.

— А, это вы... — произнесла она с отвращением.

Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки — ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спустя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательно и не без кокетства уложены и что поверх строго-элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье.

— Да, это я... — сказал журналист Каммерер растерянно. — Доброе утро. Я, собственно... Что, Лев у себя?

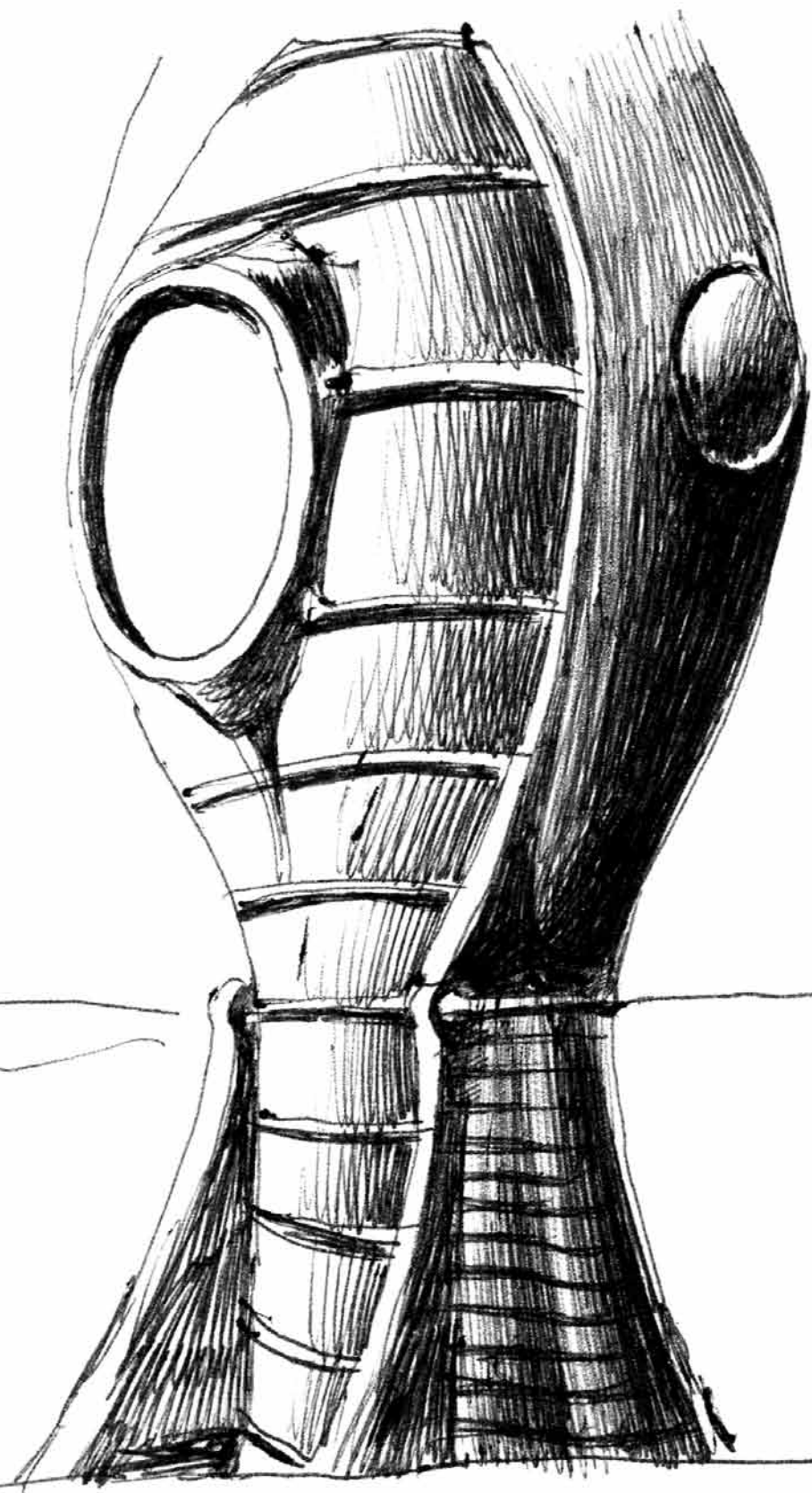
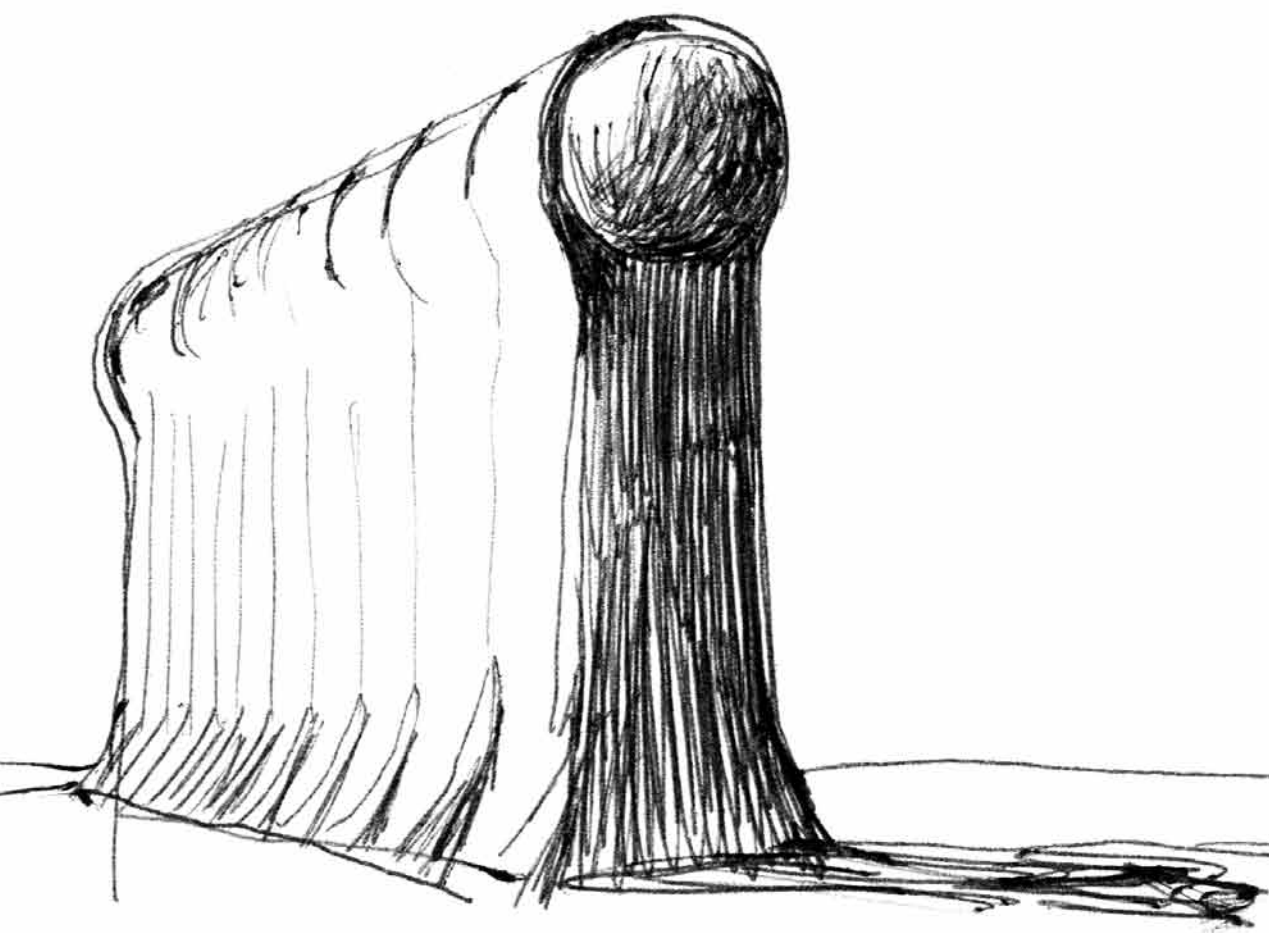
— Нет, — сказала она.

— Дело в том, что он назначил мне свидание... Я хотел...

— Здесь? — живо спросила она, снова придвинувшись к экрану. — Когда?

— В десять часов. Я просто хотел на всякий случай узнать... А его, оказывается, нет...

— А он вам точно назначил? Как он сказал? — совсем по-детски спросила она, жадно на меня глядя.



— Как он сказал?.. — медленно повторил журналист Каммерер. Вернее, уже не журналист Каммерер, а я. — Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет.

Теперь она смотрела на меня, словно не верила своим глазам.

— Как это?.. Откуда вы знаете?

— Ждите меня, — сказал я. — Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду.

— Что с ним случилось? — пронзительно и страшно крикнула она.

— Он жив и здоров. Не беспокойтесь. Ждите, я сейчас...

Две минуты на одевание. Три минуты до ближайшей кабины ноль-Т. Черт, очередь у кабины... Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами, очень важно... Спасибо большое, спасибо!.. Так. Минута на поиски индекса. Что за индексы у них там, в провинции!.. Пять секунд на набор индекса. И я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда... Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гоаннека...

Она ждала меня в холле — сидела за низким столом с медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, я непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же торопливо сказала:

— Мы будем разговаривать здесь.

— Как вам будет угодно, — отозвался я.

Нарочито неторопливо я осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано, и, конечно, никого там не было. Краем глаза я видел, что она сидит неподвижно, положив руки на видеофон, и смотрит прямо перед собой.

— Кого вы искали? — спросила она холодно.

— Не знаю, — честно признался я. — Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я хотел убедиться, что мы одни.

— Кто вы такой? — спросила она. — Только не врите больше.

Я изложил ей легенду номер два, разъяснил про тайну личности и добавил, что за вранье не извиняюсь — просто я пытаюсь сделать свое дело, не подвергая ее излишним волнениям.

— А теперь, значит, вы решили больше со мной не церемониться? — сказала она.

— А что прикажете делать?

Она не ответила.

— Вот вы сидите здесь и ждете, — сказал я. — А ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно. А время идет.

— Почему вы думаете, что он сюда не вернется?

— Потому что он скрывается, — сказал я. — Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать.

— Зачем же вы сюда звонили?

— А затем, что я никак не могу его найти! — сказал я, понемногу свирепея. — Мне приходится ловить любой шанс, даже самый идиотский...

— Что он сделал? — спросила она.

— Я не знаю, что он сделал. Может быть, ничего. Я ищу его не потому, что он что-то сделал. Я ищу его, потому что он — единственный свидетель большого несчастья. И если мы его не найдем, мы так и не узнаем, что же там произошло...

— Где — там?

— Это неважно, — сказал я нетерпеливо. — Там, где он работал. Не на Земле. На планете Саракш.

По лицу ее было видно, что она впервые слышит про планету Саракш.

— Почему же он скрывается? — спросила она тихо.

— Мы не знаем. Он на грани психического срыва. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея фикс.

— Болен... — сказала она, тихонько качая головой. — Может быть... А может быть, и нет... Что вам от меня надо?

— Вы виделись с ним еще раз?

— Нет, — сказала она. — Он обещал позвонить, но так и не позвонил.

— Почему же вы ждете его здесь?

— А где мне еще его ждать? — спросила она.

В голосе ее было столько горечи, что я отвел глаза и некоторое время молчал. Потом спросил:

— А куда он собирался вам звонить? На работу?

— Наверное... Не знаю. В первый раз он позвонил на работу.

— Он позвонил вам в музей и сказал, что приедет к вам?

— Нет. Он сразу позвал меня к себе. Сюда. Я взяла глайдер и полетела.

— Майя Тойвовна, — сказал я. — Меня интересуют все подробности вашей встречи... Вы рассказывали ему о себе, о своей работе. Он вам рассказывал о своей. Постарайтесь вспомнить, как это было.

Она покачала головой.

— Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали... Конечно, это действительно странно... Мы столько лет не виделись... Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала... Ведь я его спрашивала: где ты был, что делал... Но он отмахивался и кричал, что это все чушь, ерунда...

— Значит, он расспрашивал вас?

— Да нет же! Все это его не интересовало... Кто я, как я... Одна или у меня кто-либо есть... Чем я живу... Он был как мальчишка... Я не хочу об этом говорить.

— Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить...

— Я ни о чем не хочу говорить!

Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила весь стакан, проливая воду на свое серое платье.

— Это никого не касается, — сказала она, отдавая мне стакан.

— Не говорите о том, что никого не касается, — сказал я, усаживаясь. — О чем он вас расспрашивал?

— Я же вам говорю: он ни о чем не расспрашивал! Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил... Как мальчишка... Оказывается, он все помнит! Чуть ли не каждый день! Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф... Я ничего не помнила, а он все кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала... И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам!..

Она замолчала.

— Это все — о детстве? — спросил я, подождав.

— Ну конечно! Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним!.. Он и правда был как сумасшедший... У меня уже не было сил, я засыпала, а он будил меня и кричал в ухо: а кто тогда свалился с качелей? И если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мною по дому и орал: правильно, все так и было, правильно!

— И он не расспрашивал вас, что сейчас с учителем, со школьными друзьями?

— Я же вам объясняю: он ни чем не расспрашивал и ни о ком не расспрашивал! Можете вы это понять? Он рассказывал, вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала...

— Да, понимаю, понимаю, — сказал я. — А что он, по вашему, намеревался делать дальше?

Она посмотрела на меня, как на журналиста Каммерера.

— Ничего-то вы не понимаете, — сказала она.

И в общем-то она была, конечно, права. Ответы на вопросы Экселенца я получил: Абалкин не интересовался работой

Глумовой, Абалкин не намеревался использовать ее для проникновения в музей. Но я действительно совершенно не понимал, какую цель преследовал Абалкин, устраивая эти сутки воспоминаний.

Сентиментальность... Дань детской любви... Возвращение в детство... В это я не верил. Цель была практическая, заранее хорошо продуманная, и достиг ее Абалкин, не возбудив у Глумовой никаких подозрений. Мне было ясно, что сама Глумова об этой цели ничего не знает. Ведь она тоже не поняла, что же было на самом деле...

И оставался еще один вопрос, который мне следовало бы выяснить. Ну хорошо. Они вспоминали, любили друг друга, пили, снова вспоминали, засыпали, просыпались, снова любили и снова засыпали... Что же тогда привело ее в такое отчаяние, на грань истерики? Разумеется, здесь открывался широчайший простор для самых разных предположений. Например, связанных с привычками штабного офицера Островной Империи. Но могло быть и что-нибудь другое. И это другое вполне могло оказаться весьма ценным для меня. Тут я остановился в нерешительности: либо оставить в тылу что-то, может быть, очень важное, либо решиться на отвратительную бестактность, рискуя не узнать в результате ничего существенного...

Я решил.

— Майя Тойвовна, — произнес я, изо всех сил стараясь выговаривать слова твердо, — скажите, чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в прошлую нашу встречу?

Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове. Однако она не сделала ни того, ни другого.

— Я была дура, — сказала она довольно спокойно. — Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжал меня



как лимон, и выбросил за порог. А теперь я понимаю: ему и в самом деле не до меня. Для деликатности у него не остается ни времени, ни сил. Я все требовала у него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его ищете...

Я встал.

— Большое спасибо, Майя Тойвовна, — сказал я. — Помоему, вы неправильно поняли наши намерения. Никто не хочет ему вреда. Если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль.

Она не ответила.

3 июня 78-го года

Кое-что о впечатлениях Экселенца

С обрыва было видно, что доктор Гоаннек за отсутствием пациентов занят рыбной ловлей. Это было удачно, потому что до его избы с нуль-Т-нужником было ближе, чем до курортного клуба. Правда, по дороге, оказывается, располагалась пасека, которую я опрометчиво не заметил во время своего первого визита, так что теперь мне пришлось спасаться, прыгая через какие-то декоративные плетни и сшибая на скаку декоративные же макитры и крынки. Впрочем, все обошлось благополучно. Я взбежал на крыльцо с балясинами, проник в знакомую горницу и, не садясь, позвонил Экселенцу.

Я думал отделаться коротким докладом, но разговор получился довольно длинный, так что пришлось вынести видеофон на крыльцо, чтобы не захватил меня врасплох говорливый и обидчивый доктор Гоаннек.

— Почему она там сидит? — спросил Экселенц задумчиво.

— Ждет.

— Он ей назначил?

— Насколько я понимаю, нет.

— Бедняга... — проворчал Экселенц. Потом он спросил: — Ты возвращаешься?

— Нет, — сказал я. — У меня еще остались этот Яшмаа и резиденция голованов.

— Зачем?

— В резиденции, — ответил я, — сейчас пребывает некий голован по имени Щекн-Итрч, тот самый, который участвовал вместе с Абалкиным в операции «Мертвый мир»...

— Так.

— Насколько я понял из отчета Абалкина, у них сложились какие-то не совсем обычные отношения...

— В каком смысле — необычные?

Я замялся, подбирая слова.

— Я бы рискнул назвать это дружбой, Экселенц... Вы помните этот отчет?

— Помню. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но ответь мне на такой вот вопрос: как ты выяснил, что голован Щекн находится на Земле?

— Ну... Это было довольно сложно. Во-первых...

— Достаточно, — прервал он меня и замолчал выжидательно.

До меня не сразу, правда, но дошло. Действительно. Это мне, сотруднику КОМКОНа-2 при всем моем солидном опыте работы с БВИ было довольно сложно разыскать Щекна. Что же тогда говорить о простом прогрессоре Абалкине, который вдобавок двадцать лет проторчал в Глубоком Космосе и понимает в БВИ не больше, чем двадцатилетний школяр!

— Согласен, — сказал я. — Вы, конечно, правы. И все-таки согласитесь: задача эта вполне выполнима. Было бы желание.

— Соглашаюсь. Но дело не только в этом. Тебе не приходило в голову, что он бросает камни по кустам?

— Нет, — сказал я честно.

Бросать камни по кустам в переводе с нашей фразеологии означает: пускать по ложному следу, подсовывать фальшивые улики, короче говоря, морочить людям голову. Разумеется, теоретически вполне можно было допустить, что Лев Абалкин преследует некую вполне определенную цель, а все его эскапады с Глумовой, с учителем, со мной — все это мастерски организованный фальшивый материал, над смыслом которого мы должны бесплодно ломать голову, попусту теряя время и силы и безнадежно отвлекаясь от главного.

— Не похоже, — сказал я решительно.

— А вот у меня есть впечатление, что похоже, — сказал Экселенц.

— Вам, конечно, виднее, — отозвался я сухо.

— Бесспорно, — согласился он. — Но, к сожалению, это только впечатление. Фактов у меня нет. Однако, если я не ошибаюсь, представляется маловероятным, чтобы в его ситуации он вспомнил бы о Щекне, потратил бы массу сил, чтобы разыскать его, бросился бы в другое полушарие, ломал бы там какую-нибудь комедию — и все это только для того, чтобы бросить в кусты лишний камень. Ты согласен со мной?

— Видите ли, Экселенц, я не знаю его ситуации, и, наверное, именно поэтому у меня нет вашего впечатления.

— А какое есть? — спросил он с неожиданным интересом.

Я попытался сформулировать свое впечатление:

— Только не разбрасывание камней. В его поступках есть какая-то логика. Они связаны между собой. Более того, он все время применяет один и тот же прием. Он не тратит времени и сил на выдумывание новых приемов — он ошарашивает человека каким-то заявлением, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный... Он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни... Точнее, о своей судьбе. Что-то такое, что от него скрыли... — Я замолчал, а потом сказал: — Экселенц, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности.

Теперь мы молчали оба. На экране покачивалась веснушчатая лысина. Я чувствовал, что переживаю исторический момент. Это был один из тех редчайших случаев, когда мои доводы (не факты, добытые мной, а именно доводы, логические умозаключения) заставляли Экселенца пересмотреть свои представления.

Он поднял голову и сказал:

— Хорошо. Навести Щекна. Но имей в виду, что нужнее всего ты здесь, у меня.

— Слушаюсь, — сказал я и спросил: — А как насчет Яшмаа?

— Его нет на Земле.

— Почему же? — сказал я. — Он на Земле. Он в «Лагере Яна», под Антоновом.

— Он уже три дня как на Гиганде.

— Понятно, — сказал я, делая потуги быть ироничным. — Это же надо, какое совпадение! Родился в тот же день, что и Абалкин, тоже посмертный ребенок, тоже фигурирует под номером...

— Хорошо, хорошо, — проворчал Экселенц. — Не отвлекайся.

Экран погас. Я отнес видеофон на место и спустился во двор. Там я осторожно пробрался через заросли гигантской крапивы и прямо из деревянного нужника доктора Гоаннека шагнул под ночной дождь на берег реки Телон.

*3 июня 78-го года
Застава на реке Телон*

Невидимая река шумела сквозь шуршание дождя где-то совсем рядом, под обрывом, а прямо передо мной мягко отсвечивал легкий металлический мост, над которым светило

большое табло на линкосу: «ТЕРРИТОРИЯ НАРОДА ГОЛОВАНОВ». Немного странно было видеть, что мост начинается прямо из высокой травы — не было к нему не только подъезда, но даже какой-нибудь паршивенькой тропинки. В двух шагах от меня светилось одиноким окошком округлое приземистое здание казарменно-казематного вида. От него пахло на меня незабываемым Саракшем — запахом ржавого железа, мертвечины, затаившейся смерти. Странные все-таки места попадают у нас на Земле. Казалось бы, и дома ты, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило, так нет же — обязательно рано или поздно наткнешься на что-нибудь ни с чем не сообразное... Ладно. Что думает по поводу этого здания журналист Каммерер? О! У него, оказывается, уже сложилось по этому поводу вполне определенное мнение.

Журналист Каммерер отыскал в округлой стене дверь, решительно толкнул ее и оказался в сводчатой комнате, где не было ничего, кроме стола, за которым сидел, подперши подбородок кулаками, длинноволосый юнец, похожий кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока, нарядившегося по вычурной своей фантазии в яркое и пестрое мексиканское пончо. Синие глаза юнца встретили журналиста Каммерера взглядом, совершенно лишенным интереса и слегка утомленным.

— Ну и архитектура здесь у вас, однако! — произнес журналист Каммерер, отряхивая с плеч дождевые брызги.

— А им нравится, — безразлично возразил Александр Б., не меняя позы.

— Быть этого не может! — саркастически сказал журналист Каммерер, озираясь, на что бы присесть.

Свободных стульев в помещении не было, равно как и кресел, диванов, кушеток и скамеек. Журналист Каммерер посмотрел на Александра Б. Александр Б. смотрел на него с прежним безразличием, не обнаруживая ни тени намерения

быть любезным или хотя бы просто вежливым. Это было странно. Вернее, непривычно. Но чувствовалось, что здесь это в порядке вещей.

Журналист Каммерер уже открыл было рот, чтобы представиться, но тут вдруг Александр Б. с какой-то усталой покорностью опустил на свои бледные щеки длинные ресницы и с механической проникновенностью транспортного куббера принялся наизусть зачитывать свой текст:

— Дорогой друг! К сожалению, вы проделали свой путь сюда совершенно напрасно. Вы не найдете здесь абсолютно ничего для себя интересного. Все слухи, которыми вы руководствовались, направляясь к нам, чрезвычайно преувеличены. Территория народа голованов ни в малейшей степени не может рассматриваться как некий развлекательно-познавательный комплекс. Голованы — замечательный, весьма самобытный народ — говорят о себе: «Мы любознательны, но вовсе не любопытны». Миссия голованов представляет здесь свой народ в качестве дипломатического органа и не является объектом неофициальных контактов и уж тем более — праздного любопытства. Уважаемый друг! Самое уместное, что вы можете сейчас сделать, — это пуститься в обратный путь и убедительно объяснить всем вашим знакомым истинное положение вещей.

Александр Б. замолк и томно приподнял ресницы. Журналист Каммерер пребывал перед ним по-прежнему, и это его, видимо, совсем не удивило.

— Разумеется, прежде чем мы простимся, я отвечу на все ваши вопросы.

— А вставать при этом вы не обязаны? — поинтересовался журналист Каммерер.

Что-то вроде оживления засветилось в синих очках.

— Откровенно говоря, да, — признался Александр Б. — Но вчера я расшиб колено, до сих пор болит ужасно, так что вы уж извините...

— Охотно, — сказал журналист Каммерер и присел на край стола. — Я вижу, вы замучены любопытствующими.

— За мое дежурство вы — шестая компания.

— Я один как перст! — возразил журналист Каммерер.

— Компания есть счетное слово, — возразил Александр Б., оживляясь еще более. — Ну, например, как ящик. Ящик консервов. Штука ситца. Или коробка конфет. Ведь может так случиться, что в коробке осталась всего одна конфета. Как перст.

— Ваши объяснения удовлетворили меня полностью, — сказал журналист Каммерер. — Но я не любопытствующий. Я пришел по делу.

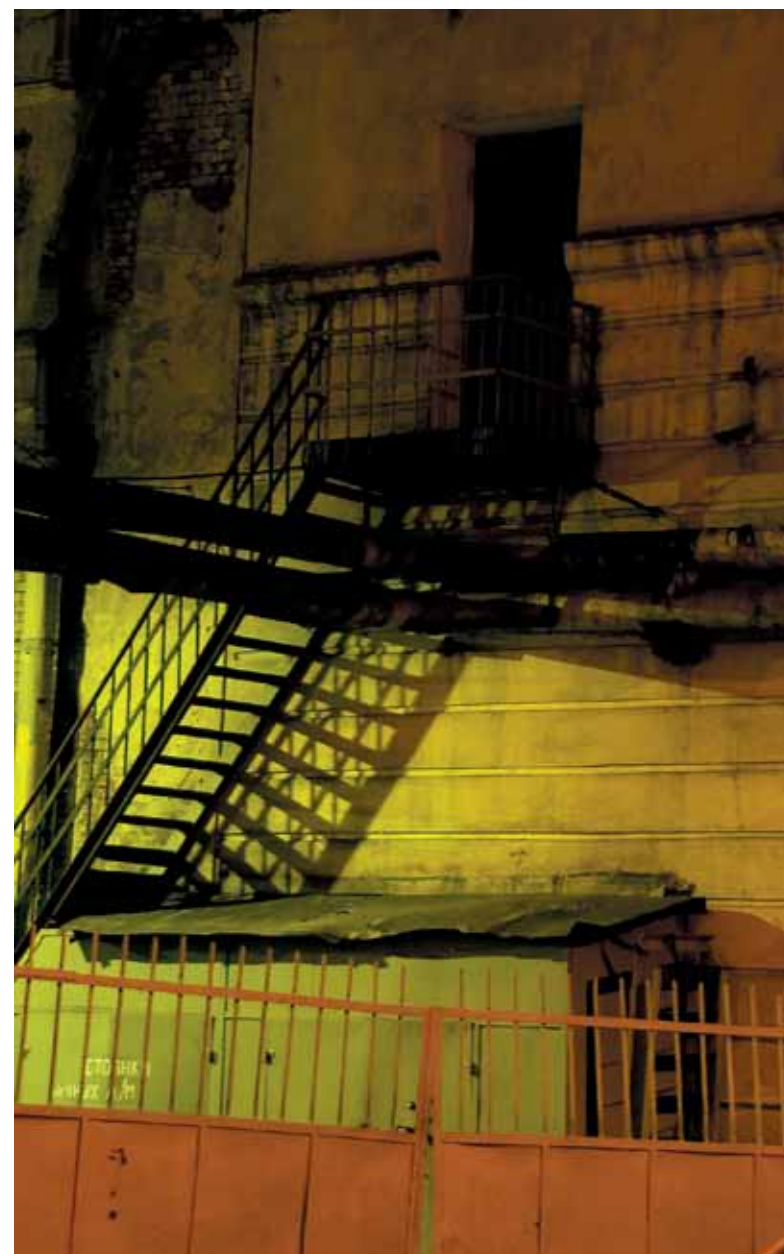
— Восемьдесят три процента всех компаний, — немедленно откликнулся Александр Б., — являются сюда именно по делу. Последняя компания — из пяти экземпляров, включая малолетних детей и собаку, — искала здесь случая договориться с руководителями миссии об уроках языка голованов. Но в огромном большинстве это собиратели ксенофольклора. Поветрие! Все собирают ксенофольклор. Я тоже собираю ксенофольклор. Но у голованов нет фольклора! Это же утка! Шутник Лонг Мюллер выпустил книжонку на манер Оссиана, и все походили с ума... «О лохматые древа, тысячехвостые, затаившие скорбные мысли свои в пушистых и теплых стволах! Тысячи тысяч хвостов у вас и ни одной головы!..» А у голованов, между прочим, понятия хвоста нет вообще! Хвост у них — орган ориентировки, и если уж переводить адекватно, то получится не хвост, а компас... «О тысячекомпасовые деревья!» Но вы, я вижу, не фольклорист...

— Нет, — честно признался журналист Каммерер, — я гораздо хуже. Я журналист.

— Пишите книгу о голованах?

— В каком-то смысле. А что?

— Нет, ничего. Пожалуйста. Не вы первый, не вы последний. Вы голованов-то когда-нибудь видели?



— Да, конечно.

— На экране?

— Нет. Дело в том, что именно я открыл их на Саракше...

Александр Б. даже привстал.

— Так вы — Каммерер?

— К вашим услугам.

— Нет уж, это я к вашим услугам, доктор! Приказывайте, требуйте, распоряжайтесь...

Я моментально вспомнил разговор Каммерера с Абалкиным и торопливо пояснил:

— Я всего лишь открыл их и не более того. Я вовсе не специалист по голованам. И меня интересуют сейчас не голованы вообще, а только один-единственный голован, переводчик миссии. Так что если вы не возражаете... Я пройду туда к ним?

— Да помилуйте, доктор! — Александр Б. всплеснул руками. — Вы, кажется, подумали, что мы здесь сидим, так сказать, на страже? Ничего подобного! Пожалуйста, проходите! Очень многие так и делают. Объяснишь ему, что слухи, мол, преувеличены, он покивает, распрощается, а сам выйдет — и шмыг через мост...

— Ну?

— Через некоторое время возвращается. Очень разочарованный. Ничего и никого не видел. Леса, сопки, распадки, очаровательные пейзажи — это все, конечно, есть, а голованов нет. Во-первых, голованы ведут ночной образ жизни, во-вторых, живут они под землей, а самое главное — они встречаются только с теми, с кем хотят встречаться. Вот на этот случай мы здесь и дежури́м — на положении, так сказать, связных...

— А кто это — вы? — спросил журналист Каммерер. — КОМКОН?

— Да. Практиканты. Дежури́м здесь по очереди. Через нас идет связь в обе стороны... Вам кого именно из переводчиков?

— Мне нужен Щекн-Итрч.

— Попробуем. Он вас знает?

— Вряд ли. Но скажите ему, что я хочу поговорить с ним про Льва Абалкина, которого он знает наверняка.

— Еще бы! — сказал Александр Б. и придвинул к себе селектор.

Журналист Каммерер (да, признаться, и я сам) с восхищением, переходящим в благоговение, наблюдал, как этот юноша с нежным ликом романтического поэта вдруг дико выкатил глаза и, свернув изящные губы в немыслимую трубку, защелкал, закричал, загукал, как тридцать три голована сразу (в мертвом ночном лесу, у развороченной бетонной дороги, под мутно фосфоресцирующим небом Саракша), и очень уместными казались эти звуки в этом сводчатом казематно-пустом помещении с шершавыми голыми стенами. Потом он замолчал и склонил голову, прислушиваясь к сериям ответных щелчков и гуканий, а губы и нижняя челюсть его продолжали странно двигаться, словно он держал их в постоянной готовности к продолжению беседы. Зрелище это было скорее неприятное, и журналист Каммерер при всем своем благоговении счел все-таки более деликатным отвести глаза.

Впрочем, беседа продолжалась не слишком долго. Александр Б. откинулся на спинку стула и, ловко массируя нижнюю челюсть длинными бледными пальцами, произнес, чуть задышавшись:

— Кажется, он согласился. Впрочем, не хочу вас слишком обнадеживать: я вовсе не уверен, что все понял правильно. Два смысловых слоя я уловил, но, по-моему, там был еще и третий... Короче говоря, ступайте через мост, там будет тропинка. Тропинка идет в лес. Он вас там встретит. Точнее, он на вас посмотрит... Нет. Как бы это сказать... Вы знаете, не так трудно понять голована, как трудно его перевести. Вот,

например, эта рекламная фраза: «Мы любознательны, но не любопытны». Это, между прочим, образец хорошего перевода. «Мы не любопытны» можно понимать так, что «мы не любопытствуем попусту», и в то же самое время — «мы для вас неинтересны». Понимаете?

— Понимаю, — сказал журналист Каммерер, слезая со стола. — Он на меня посмотрит, а там уж решит, стоит ли со мной разговаривать. Спасибо за хлопоты.

— Какие хлопоты! Это моя приятная обязанность... Подождите, возьмите мой плащ, дождь на дворе...

— Спасибо, не надо, — сказал журналист Каммерер и вышел под дождь.

3 июня 78-го года

Щекн-Итрч, голован

БЫЛО по местному времени около трех часов утра, небо было кругом обложено, а лес был густой, и этот ночной мир казался мне серым, плоским и мутноватым, как скверная старинная фотография.

Конечно, он первым обнаружил меня и, наверное, минут пять, а может быть, и все десять, следовал параллельным курсом, прячась в густом подлеске. Когда же я наконец заметил его, он понял это почти мгновенно и сразу оказался на тропинке передо мною.

— Я здесь, — объявил он.

— Вижу, — сказал я.

— Будем говорить здесь, — сказал он.

— Хорошо, — сказал я.

Он сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином, — крупная, толстая, большеголовая собака с маленькими треугольными ушами торчком, с большими

круглыми глазами под массивным, широким лбом. Голос у него был хриловатый, и говорил он без малейшего акцента, так что только короткие рубленные фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака. И еще — от него пахло псиной. Но не мокрой псиной, как можно было бы ожидать, запах был скорее неорганический — что-то вроде нагретой канифоли. Станный запах, скорее механизма, чем живого существа. На Саракше, помнится, голованы пахли совсем не так.

— Что тебе нужно? — спросил он прямо.

— Тебе сказали, кто я?

— Да. Ты — журналист. Пишешь книгу про мой народ.

— Это не совсем так. Я пишу книгу о Льве Абалкине. Ты его знаешь.

— Весь мой народ знает Льва Абалкина.

Это была новость.

— И что же твой народ думает о Льве Абалкине?

— Мой народ не думает о Льве Абалкине. Он его знает.

Кажется, здесь начинались какие-то лингвистические бо-
лота.

— Я хотел спросить: как твой народ относится к Льву Абалкину?

— Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти.

Мы с журналистом Каммерером посоветовались и решили пока оставить эту тему. Мы спросили:

— Что ты можешь рассказать о Льве Абалкине?

— Ничего, — коротко ответил он.

Вот этого я боялся больше всего. Боялся до такой степени, что подсознательно отвергал саму возможность такого положения и был к нему совершенно не готов. Я растерялся самым жалким образом, а он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между когтями. Не по-собачьи, а так, как это делают иногда наши кошки.



Впрочем, у меня хватило самообладания. Я вовремя сообразил, что если бы эта псина-сапиенс действительно не хотела иметь со мной никакого дела, она бы просто уклонилась от встречи.

— Я знаю, что Лев Абалкин — твой друг, — сказал я. — Вы жили и работали вместе. Очень многие земляне хотели бы знать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник голован.

— Зачем? — спросил он также коротко.

— Опыт, — ответил я.

— Беспольный опыт.

— Беспольного опыта не бывает.

Теперь он принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:

— Задавай конкретные вопросы.

Я подумал.

— Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным пятнадцать лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?

— Приходилось. Много.

— Ты почувствовал разницу?

Задавая этот вопрос, я, собственно, ничего особенного не имел в виду. Но Щекн вдруг замер, затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным красным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глодать свои когти.

— Трудно сказать, — проворчал он. — Наботы разные, люди тоже разные. Трудно.

Он уклонился. От чего? Мой невинный вопрос заставил его как бы споткнуться. Он растерялся на целую секунду. Или здесь опять лингвистика? Вообще-то лингвистика — вещь неплохая. Будем атаковать. Прямо в лоб.

— Ты с ним встретился, — объявил я. — Он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?

Это могло означать: «Если бы ты с ним встретился и он бы снова пригласил тебя работать, — ты бы согласился?» Или на выбор: «Ты с ним встречался, и он (как мне стало известно) приглашал тебя работать. Ты дал ему согласие?» Лингвистика. Не спорю, это был довольно жалкий маневр, но что мне оставалось делать?

И лингвистика выручила-таки.

— Он не приглашал меня работать, — возразил Щекн.

— Тогда о чем же вы говорили? — удивился я, развивая успех.

— О прошлом, — буркнул он. — Никому неинтересно.

— Как тебе показалось, — спросил я, мысленно вытирая со лба трудовой пот, — он сильно изменился за эти пятнадцать лет?

— Это тоже неинтересно.

— Нет. Это очень интересно. Я тоже видел его недавно и обнаружил, что он сильно изменился. Но я — землянин, а мне надо знать твое мнение.

— Мое мнение: да.

— Вот видишь! И в чем же он, по-твоему, изменился?

— Ему больше нет дела до народа голованов.

— Вот как? — искренне удивился я. — А со мной он только о голованах и говорил...

Глаза его опять озарились красным. Я понял это так, что мои слова снова его смутили.

— Что он тебе сказал? — спросил он.

— Мы спорили: кто из землян сделал больше для контактов с народом голованов.

— А еще?

— Все. Только об этом.

— Когда это было?

— Позавчера. А почему ты решил, что ему больше нет дела до народа голованов?

Он вдруг объявил:

— Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы.

— Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?

— Не знаю.

— Что он намеревался делать?

— Не знаю.

— Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово.

И тут Щекн принял странную, я бы даже сказал, неестественную позу: присел на напружиненных лапах, вытянул шею и уставился на меня снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжелой головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова:

— Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ Земли не вмешивается в дела народа голованов. Народ голованов не вмешивается в дела народа Земли. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа Земли. Это решено. А потому не ищи того, чего нет. Народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину.

Вот это да! У меня вырвалось:

— Он просил убежища? У вас?

— Я сказал только то, что сказал: народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?

— Я понял это. Но меня не интересует это. Повторяю вопрос: что он тебе говорил?

— Я отвечу. Но сначала повтори то главное, что я тебе сказал.

— Хорошо, я повторю. Народ голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище? Так?

— Так. И это главное.

— Теперь отвечай на мой вопрос.

— Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, который задавал мне ты.

Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка, ни один лист не шевельнулись, а его уже не было. Он исчез.

Ай да Щекн! ...Я учил его языку и как пользоваться линией доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями... Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, чего не прощаю никому в мире... Если придется, я буду драться за него как за землянина, как за самого себя. А он? Не знаю... Ай да Щекн-Итрч!

3 июня 78-го года

Экселенц доволен

— **Очень** любопытно! — сказал Экселенц, когда я закончил доклад. — Ты правильно сделал, Мак, что настоял на визите в этот зверинец.

— Не понимаю, — отозвался я, с раздражением отдирая колючие репы от мокрой штанины. — Вы видите в этом какой-то смысл?

— Да.

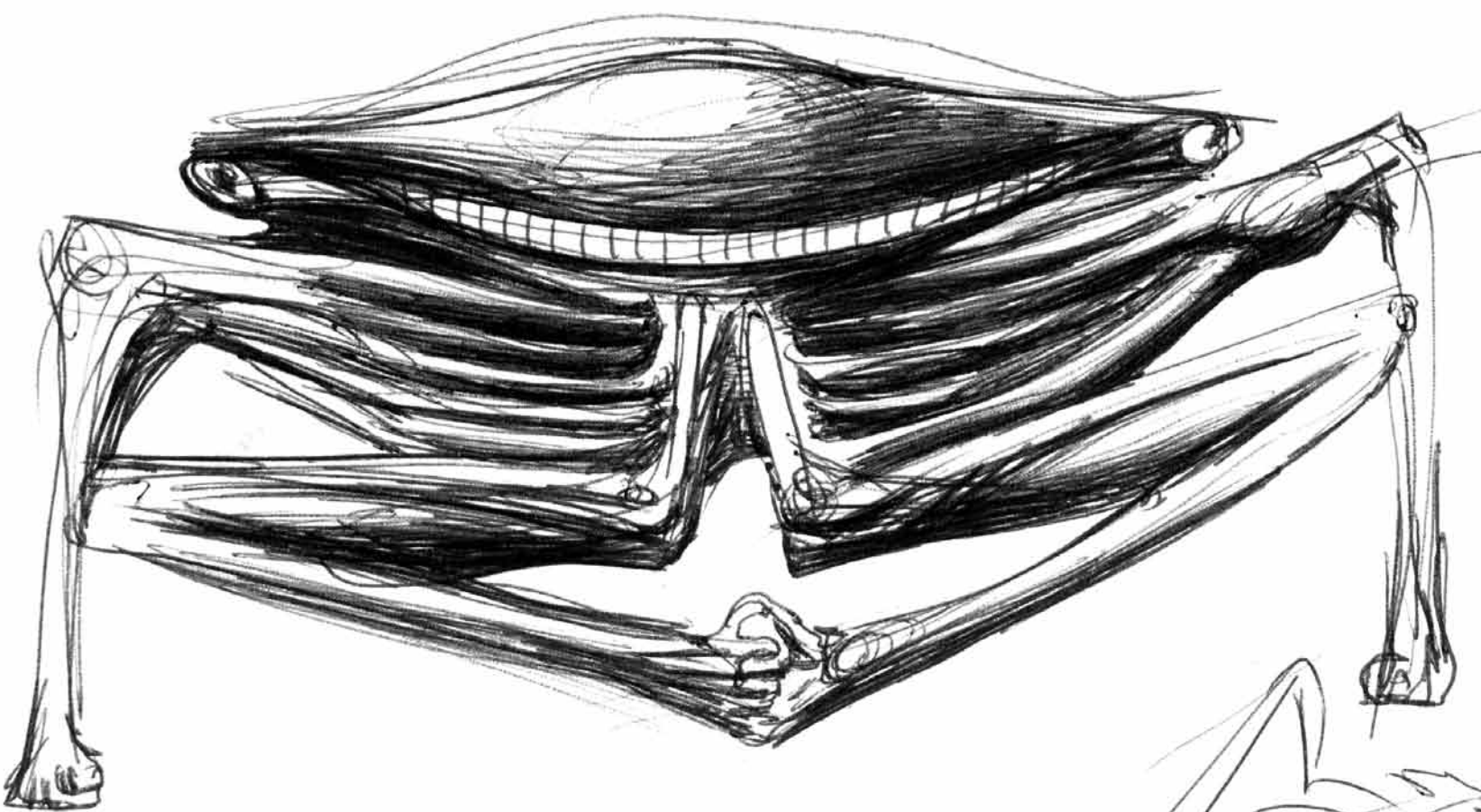
Я вытаращился на него.

— Вы всерьез допускаете, что Лев Абалкин мог просить убежища?

— Нет. Этого я не допускаю.

— Тогда о каком смысле идет речь? Или это снова камень в кусты?

— Может быть. Но дело не в этом. Неважно, что имел в виду Лев Абалкин. Реакция голованов — вот что важно. Впрочем,



ты не ломай себе над этим голову. Ты привез мне важную информацию. Спасибо. Я доволен. И ты будь доволен.

Я снова принялся отдирать репы. Что и говорить, он, несомненно, был доволен. Зеленые глазища его так и горели, даже в сумраке кабинета было заметно. Вот точно так же смотрел он, когда я, молодой, веселый, запыхавшийся, доложил ему, что Тихоня Прешт взят наконец с поличным и сидит внизу в машине с кляпом во рту, совершенно готовый к употреблению. Это я взял Тихоню, но мне тогда было еще невдомек то, что прекрасно понимал Странник: саботажу теперь конец, и эшелоны с зерном уже завтра двинутся в Столицу...

Вот и сейчас он тоже понимал нечто такое, что было мне невдомек, но я-то не испытывал даже самого элементарного удовлетворения. Никого я не взял, никто не ждал допроса с кляпом во рту, а только метался по огромной ласковой Земле загадочный человек с изуродованной судьбой, метался, не находя себе места, метался, как отравленный, и сам отравлял всех, с кем встречался, отчаянием и обидой, предавал сам и сам становился жертвой предательства...

— Я тебе еще раз напоминаю, Мак, — сказал вдруг Экселенц негромко. — Он опасен. И он тем более опасен, что сам об этом не знает.

— Да кто же он такой, черт возьми? — спросил я. — Сумасшедший андроид?

— У андроида не может быть тайны личности, — сказал Экселенц. — Не отвлекайся.

Я засунул репы в карман куртки и сел прямо.

— Сейчас ты можешь идти домой, — сказал Экселенц. — До девятнадцати ноль-ноль ты свободен. Затем будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в музей. Тогда будем брать.

— Хорошо, — сказал я без всякого энтузиазма.

Он откровенно оценивающе осмотрел меня.

— Надеюсь, ты в форме, — проговорил он. — Брать будем вдвоем, а я уже слишком стар для таких упражнений.

4 июня 78-го года

Музей внеземных культур. Ночь

В 01.08 радиобраслет у меня на запястье пискнул, и приглушенный голос Экселенца пробормотал скороговоркой: «Мак, музей, главный вход, быстро...»

Я захлопнул колпак кабины, чтобы не ударило воздухом, и включил двигатель на форсаж с места. Глайдер свечкой взмыл в звездное небо. Три секунды на торможение. Двадцать две секунды на планирование и ориентировку. На Площади Звезды пусто. Перед главным входом тоже никого. Странно... Ага. Из кабины нуль-Т на углу музея появляется черная тощая фигура. Скользит к главному входу. Экселенц.

Глайдер бесшумно сел перед главным входом. Немедленно на пульте вспыхнула сигнальная лампочка, и мягкий голос кибер-инспектора произнес с укоризной: «Посадка глайдеров на Площади Звезды не разрешается...» Я откинул колпак и выскочил на мостовую. Экселенц уже возился у дверей, орудуя магнитной отмычкой. «Посадка глайдеров на Площади Звезды...» — проникновенно вещал кибер-инспектор.

— Заткни его... — не оборачиваясь, проворчал Экселенц сквозь зубы.

Я захлопнул колпак. В ту же секунду главный вход распахнулся.

— За мной! — бросил Экселенц и нырнул во тьму.

Я нырнул следом. Совсем как в старые времена.

Он несея передо мной огромными неслышными скачками, длинный, тощий, угловатый, снова легкий и ловкий, обтянутый черным, похожий на тень средневекового демона,

и я мельком подумал, что уж такого Экселенца наверняка не видывал ни один из наших сопляков, а видывал разве что старина Слон, да Петр Ангелов, да еще я — полтора десятка лет назад.

Он вел меня по сложной извилистой кривой из зала в зал, из коридора в коридор, безошибочно ориентируясь между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на безобразные механизмы, и среди механизмов и автоматов, похожих на безобразные статуи. Нигде не было света, — видимо, автоматика была заранее отключена, — но он ни разу не ошибся и не сбился с пути, хотя я знал, что ночное зрение у него много хуже моего. Он здорово подготовился к этому ночному броску, наш Экселенц, и все получалось у него пока очень и очень неплохо, если не считать дыхания. Дышал он слишком громко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Возраст. Проклятые годы.

Внезапно он остановился и, едва я встал рядом, сжал пальцы на моем плече. В первый момент я испугался, что у него схватило сердце, но тут же понял: мы прибыли на место, и он просто переживает отдышку.

Я огляделся. Пустые столы. Стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами. Ксенографические проекторы у дальней стены. Все это я уже видел. Я уже был здесь. Это была мастерская Майи Тойвовны Глумовой. Вот это ее стол, а в этом вот кресле сидел журналист Краммерер...

Экселенц отпустил мое плечо, шагнул к стеллажам, согнулся и пошел вдоль стеллажей, не разгибаясь, — он что-то высматривал. Потом остановился, с натугой поднял что-то и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес на опущенных руках длинный предмет — какой-то плоский брусок с закругленными углами. Осторожно, без малейшего стука он поставил этот предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь,

а потом вдруг, как фокусник, потянул из нагрудного кармана длинную шаль с бахромой. Ловким движением он расправил ее и набросил поверх этого своего бруска. Потом он повернулся ко мне, нагнулся к моему уху и едва слышно прошептал:

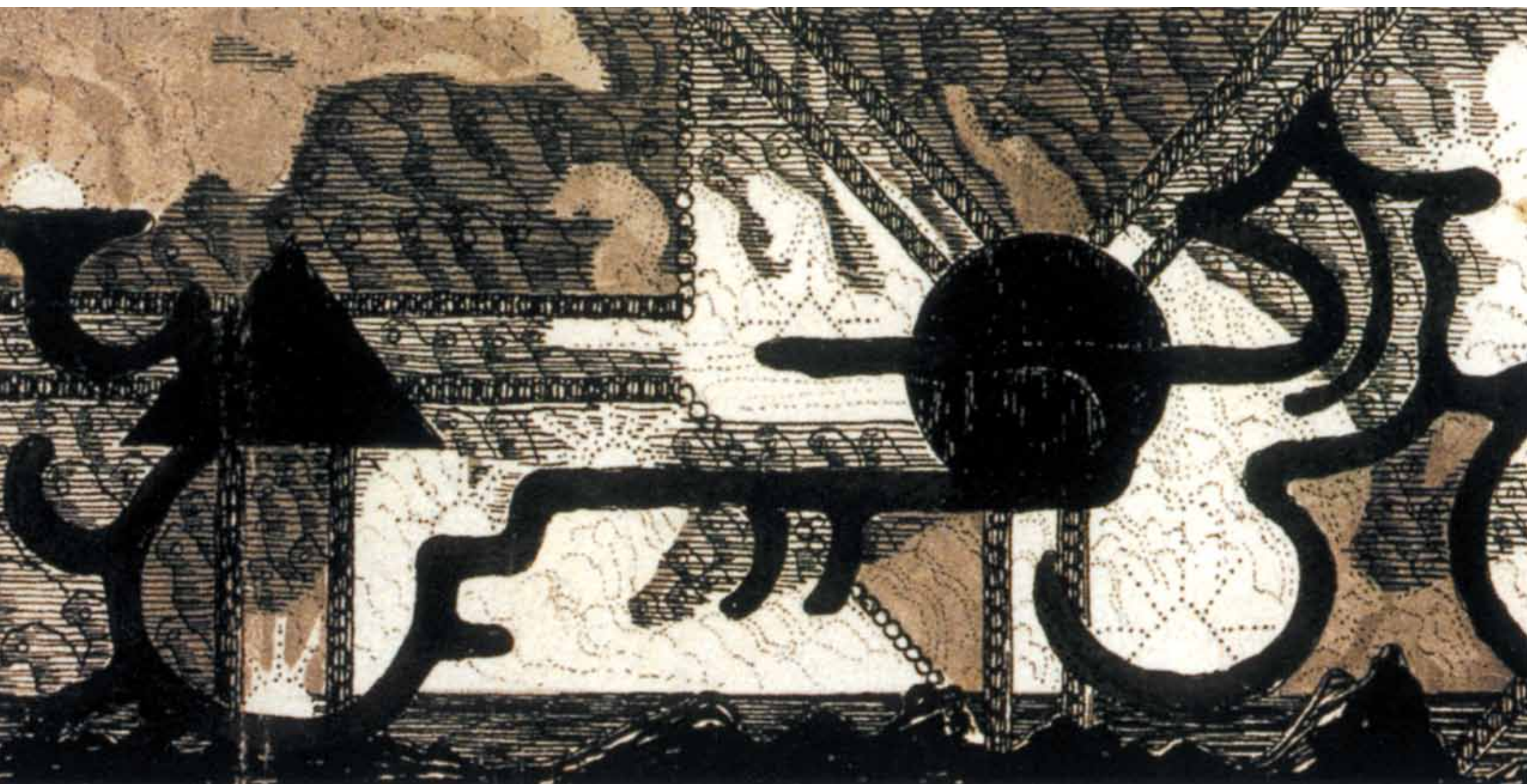
— Когда он прикоснется к платку — бери его. Если он прежде заметит нас — бери его. Встань здесь.

Я встал по одну сторону двери, Экселенц — по другую.

Сначала я ничего не слышал. Я стоял, прижавшись спиной к стене, механически прикидывал различные варианты развития событий и глядел на платок, расстеленный на столе. Интересно, чего это ради Лев Абалкин станет к нему прикасаться. Если ему так уж нужен этот брусок, то как он узнает, что брусок спрятан под платком? И что это за брусок? Похож на футляр для переносного интравизора. Или для какого-то музыкального инструмента. Впрочем, вряд ли. Тяжеловат. Ничего не понимаю. Это явно приманка, но если это приманка, то не для человека...

Тут я услышал шум. Надо сказать, шум был основательный: где-то в недрах музея обрушилось что-то обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Я моментально вспомнил гигантский моток колючей проволоки, который давеча так старательно обрабатывали молекулярными паяльниками местные девушки. Я глянул на Экселенца. Экселенц тоже прислушался и тоже недоумевал.

Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, и снова стало тихо. Странно. Чтобы прогрессор, профессионал, мастер скрадывания, ниндзя, вломился сослепу в такое громоздкое сооружение? Невероятно. Конечно, он мог зацепиться рукавом за одну-единственную торчащую колючку... Нет, не мог. Прогрессор — не мог. Или здесь, на безопасной Земле, прогрессор уже успел слегка подразболтаться... Сомнительно. Впрочем, посмотрим. В любом случае он сейчас застыл



на одной ноге и прислушивается, и будет так прислушиваться минут пять...

Он и не подумал стоять на одной ноге и прислушиваться. Он явно приближался к нам, причем движение его сопровождалось целой какофонией шумов, разнообразных и совершенно неуместных для прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. А когда на экраны проекторов упали слабые электрические отсветы, мои сомнения превратились в уверенность.

— Это не он, — сказал я Экселенцу почти вслух.

Экселенц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. Теперь он стоял боком к стене и лицом ко мне, раздвинув ноги и набычившись, и легко было представить себе, как через минуту он схватит лжепрогрессора обеими руками за грудки и, равномерно его встряхивая, прорычит ему в лицо: «Кто ты такой и что ты здесь делаешь, мелкий сукин сын?»

И так ясно я представил себе эту картину, что поначалу даже не удивился, когда он левой рукой оттянул на себя борт черной куртки, а правой принялся засовывать за пазуху свой любимый «герцог» двадцать шестого калибра, — он словно бы освобождал руки для предстоящего хватания и встряхивания.

Но, когда до меня дошло, что все это время он стоял с этой восьмизарядной верной смертью в руке, я попросту обмер. Это могло означать только одно: Экселенц готов был убить Льва Абалкина. Именно убить, потому что никогда Экселенц не обнажал оружия для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление, — только для того, чтобы убивать.

Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал лже-Абалкин.

Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина: крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик «Турист», а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом фонарика по стеллажам и произнес:

— Ну, кажется, это здесь.

Голос у него был скрипучий, а тон — нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшно, неловко, немножечко стыдно, — словом, когда они чувствуют себя не в своей тарелке. Одной ногой в канаве, как говорят хонтийцы.

Теперь я видел, что это, собственно, старый человек. Может быть, даже старше Экселенца. У него был длинный острый нос с горбинкой, длинный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно: этого человека я раньше никогда в жизни не видел.

Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим брусом свой чемоданчик-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи, неторопливо и методично, полку за полкой, секцию за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова: «...Ну, это всем известно... Бур-бур-бур... Обыкновенный иллизиум... Бур-бур-бур... Хлам и хлам... Бур-бур... Может быть, и не на месте... Засунули, запихали, запрятали... Бур-бур-бур...»

Экселенц следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его застыло очень непривычное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной

усталости или, может быть, усталой скуки, словно было перед ним нечто безмерно надоевшее, осточертевшее на всю жизнь и вместе с тем неотвязное, чему он давно уже покорился и от чего давно уже отчаялся избавиться. Признаться, поначалу меня несколько удивило, что же это он отказывается от такого естественного намерения — взять за грудки обеими руками и с наслаждением встряхнуть. Однако теперь, глядя на его лицо, я понимал: это было бы бессмысленно. Встряхивай не встряхивай — ничего не изменится, все вернется на круги своя: будет ползать и шарить, бормотать под нос, стоять одной ногой в канаве, опрокидывать экспонаты в музеях и срывать тщательно подготовленные и продуманные операции...

Когда старик добрался до самой дальней секции, Экселенц тяжело вздохнул, подошел к столу, уселся на край его рядом с портфелем и сказал брюзгливо:

— Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?

Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шарахнулся в сторону, повалив стул.

— Кто здесь? — завопил он, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. — Кто это?

— Да я это, я! — отозвался Экселенц еще более брюзгливо. — Перестаньте вы трястись!

— Кто? Вы? Какого дьявола! — луч уперся в Экселенца. — А! Сикорски! Ну, я так и знал!..

— Уберите фонарь, — приказал Экселенц, заслоня лицо ладонью.

— Я так и знал, что это ваши штучки! — завопил старикан Бромберг. — Я сразу понял, кто стоит за всем этим спектаклем!

— Уберите фонарь, а то я его расколочу! — гаркнул Экселенц.

— Попрошу на меня не орать! — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. — И не смейте прикасаться к моему портфелю!



Экселенц встал и пошел на него.

— Не смейте ко мне подходить! — завопил Бромберг. — Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Ведь вы же старик!

Экселенц подошел к нему, отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх.

— Присядьте, Бромберг, — сказал он. — Надо поговорить.

— Эти ваши разговоры... — пробурчал Бромберг и уселся.

Поразительно, но теперь он был совершенно спокоен. Бодренький, почтенный старичок. По-моему, даже веселый.

4 июня 78-го года

Айзек Бромберг, битва железных старцев

— Давайте попробуем поговорить спокойно, — предложил Экселенц.

— Попробуем, попробуем! — бодро отозвался Бромберг. — А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?

Экселенц ответил не сразу. Может быть, он намеревался отослать меня. «Максим, ты свободен», — и я бы, конечно, ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселенц, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были и еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал:

— Это Максим Каммерер, сотрудник КОМКОНа. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки.

Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил:

— Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорски... Садитесь, садитесь молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный...

— Сядь, Мак, — сказал Экселенц.

Я сел в знакомое кресло для посетителей.

— Так я жду ваших объяснений, Сикорски, — произнес Бромберг. — Что означает эта засада?

— Я вижу, вы сильно напугались.

— Какой вздор! — мгновенно воспламенился Бромберг. — Чуть какая! Слава богу, я не из пугливых! И уж если кто меня сумеет испугать, Сикорски...

— Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели...

— Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании, ночью...

— Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам...

— Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорски, куда и когда я хожу! А во-вторых, когда еще вы мне прикажете ходить? Днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены экспозиции... Слушайте, Сикорски, сознайтесь: ведь это ваша затея — закрыть доступ в музей! Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда. Меня не пускают. Меня! Члена Ученого совета этого музея! Я звоню директору: в чем дело? Директор, милейший Грант Хочилян, мой в каком-то смысле ученик... Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной... Но он ничего не может сделать, он обещал! Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал! Любопытно узнать, кто его попросил? Может быть, некий Рудольф Сикорски? Нет! О нет! Никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски! Но меня не проведешь! Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис. И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы вот уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я! Закрытие музея! Позорная попытка изъять из музея

принадлежащие ему экспонаты! Ночные засады! И кто, черт подери, выключил здесь электричество! Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика! Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас побрал! И я там что-то повалил! От души надеюсь — хочу надеяться! — что это был всего лишь макет... И молитесь богу, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что, если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать! До последнего велдинга! А если этого последнего велдинга не окажется, вы у меня, как миленький, отправитесь на Тагору...

Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками по груди.

— Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы? — яростно просипел он сквозь перханье.

Я сидел, как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселенца и обомлел.

Экселенц, Странник, Рудольф Сикорски, эта ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент Хладнокровия и Выдержки, этот безотказный механизм для выкачивания информации, — он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило.

— Я хотел бы знать, Бромберг, — сдавленным голосом произнес он, — зачем вам понадобились детонаторы.

— Ах, вы хотели бы это знать! — ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая Экселенцу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не оказался в зубах у моего шефа. — А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?



Упоминание имени Пильгуя в таком контексте мне не понравилось. Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пильгуем. Впрочем, Экселенц пропустил Пильгуя мимо ушей. Он сам посунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться.

— Вашим стулом извольте интересоваться сами! — прорычал он. — А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам было совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней...

— Вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение? Ха! Кто! Сикорски! Меня! Во взломе! Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот музей! А? Отвечайте!

— Это не относится к делу, Бромберг!

— Вы — взломщик, Сикорски! — объявил Бромберг, простирая к Экселенцу длинный извилистый палец. — Вы докатились до взлома!

— Это вы докатились до взлома, Бромберг! — взревел Экселенц. — Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано: доступ в музей прекращен! Любой нормальный человек на вашем месте...

— Если нормальный человек сталкивается с очередным актом тайной деятельности, его долг...

— Его долг — немножечко пошевелить мозгами, Бромберг! Его долг — сообразить, что он живет не в Средние века. Если он столкнулся с тайной, секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля...

— Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорски, ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски-фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему — открытым! Вы — глубокий старик, Сикорски, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально!..

— Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом! Вы — не просто старик, Бромберг, вы — жалкий старикашка, впавший в детство!..

— Прекрасно! — сказал Бромберг, вдруг снова успокоиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед Экселенцом какой-то блестящий предмет. — Вот мой ключ. Мне, как и всякому сотруднику этого музея, полагается ключ от служебного хода, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда...

— Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора музея? — у Экселенца не было ключа, у него была магнитная отмычка, и ему оставалось одно — наступать.

— Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом! А где ваш ключ, Сикорски? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ!

— У меня нет ключа! Он мне не нужен! Я нахожусь здесь по долгу, а не потому, что мне попала вожжа под хвост, старый вы, истеричный дурак!

И что тут началось! Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемежку со скрипучими воплями. Таких эпитетов. Такой вакханалии эмоций. Таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены! В конце концов это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я, человек уже не первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае от Экселенца.

То и дело поле сражения целиком заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные «безответственные болтуны», «феодалы-рыцари плаща и кинжала», «провокаторы-общественники»,



«плешивые агенты тайной службы», «склеротические демагоги» и «тайные тюремщики идей». Ну а менее экзотические «старые ослы», «ядовитые сморчки» и «маразматика» всех видов сыпались градом наподобие шрапнели...

Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и замороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу.

Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в группе свободного поиска. Одну из его книг — «Как это было на самом деле» — я, безусловно, читал: это была история «Массачусеттского кошмара». Книга эта, помнится, мне не понравилась — слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории, и слишком много места уделит он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам, дискуссии, которой я в то времянисколько не интересовался.

В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать «крайним левым» известного движения дзюиистов, основанного еще Ламондуа и провозглашавшего право науки на развитие без ограничений.

Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации (помню огромный шок, который я

испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их Первой Промышленной Революции).

Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ: держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение (как это, кстати, и случилось с Массачусеттской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая нечеловеческая цивилизация Земли)?

«Прекратить исследование!» — приказывает обычно в таких случаях Мировой совет.

«Ни в коем случае! — провозглашают в ответ экстремисты. — Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да!» В конце концов, «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет» (из выступления патриарха экстремистов Дж. Гр. Пренсона). Но никаких запретов! Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности.

Именно такие экстремисты-практики и были основными клиентами нашего КОМКОНа-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у Экселенца, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и в желчном пузыре.

По роду своей деятельности мы в КОМКОНе-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Мировой совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям.

Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы.

Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм.

Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него КОМКОН-2 вообще и наш Экселенц в особенности. «КОМКОН-2! — ядовито шипел он, подсакивая к Экселенцу и тут же отскакивая

назад. — О, ваше иезуитство!.. Взять всем известную аббревиатуру — Комиссия по контактам с иными цивилизациями! Благородно, возвышенно! Прославленно! И спрятать за нее вашу зловонную контору! Комиссия по контролю, видите ли! Команда консерваторов, а не комиссия по контролю! Компания конспираторов!..»

Экселенцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел — как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было постоянно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом — утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если бы оказалось, что двадцать лет назад Экселенц нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за Экселенца еще и потому, что Экселенц, человек не только принципиальный, но и в высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию: это был тоже вид социального контроля — контроль над контролем.

Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал безусловно вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась эта ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что Экселенц, при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке, совершенно терял

лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так, лицом к лицу, с Бромбергом. «Вы — невежественный мозгляк! — сорванным голосом хрипел он. — Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать, вы — смакователь дешевых анекдотов!...»

Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особым остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на людей, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что Экселенц уже глубокий старик.

Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял: речь, видимо, шла о делах, давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое-что я и услышал, и понял впервые.

Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне (предположительно — вторжения Странников), проведенные четыре десятка лет назад. Об этой операции знали буквально единицы, и миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибли. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселенц.

Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Ионафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Мировой совет следовал по сути именно его рекомендациям. Оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из Швейцеровской лаборатории в Бамако затеяли и едва не довели до конца свой эксперимент с новым вариантом хомо супер.

История с андроидами в общих чертах была мне известна и раньше, главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема «Субъект или объект?» в данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать, а право андроидов на тайну личности он полагает нонсенсом и катахрезой. Все подробности этой истории должны быть опубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться...

И так далее.

Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна. Речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали «детонаторы» — по-видимому, те самые, за которыми явился Бромберг и которые лежали сейчас на столе передо мною, накрытые цветастой шалью. О детонаторах, впрочем, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг «дымовой завесы отвратительной секретности», поставленной Экселенцем вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор имярек, получивший

уникальные результаты по антропометрии и физиологии кро-
маньонцев (при чем здесь кроманьонцы?), вынужден был дер-
жать эти свои результаты под спудом, тормозя таким образом
развитие палеоантропологии. А другой доктор имярек, раз-
гадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался
в двусмысленном и стыдном положении человека, которому
научная общественность приписывает открытие этого прин-
ципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще
и малюет теперь посредственные пейзажи...

Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинствен-
ным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг.
Детонаторы Экселенц выставил как приманку для Льва Абал-
кина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в
пылу свары старики выболтают что-нибудь еще и я наконец
узнаю нечто существенное о Льве Абалкине. Но я услышал
это существенное только тогда, когда они угомонились.

4 июня 78-го года

Лев Абалкин у доктора Бромберга

ОНИ угомонились разом, одновременно, как будто у них
одновременно иссякли последние остатки энергии. Замол-
чали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами.
Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок
и принялся утирать лицо и шею. Экселенц, не глядя на него,
полез за пазуху (я испугался — не за пистолетом ли), извлек
капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под
язык, а капсулу протянул Бромбергу.

— И не подумаю! — заявил Бромберг, демонстративно
отворачиваясь.

Экселенц продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг
искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом:

— Яд, мудрецом тебе предложенный, возьми, из рук же ду-
рака не принимай бальзама...

Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый ша-
рик.

— Я в этом не нуждаюсь! — объявил он и кинул шарик в
рот. — Пока еще не нуждаюсь...

— Айзек, — сказал Экселенц и причмокнул. — Что вы бу-
дете делать, когда я умру?

— Спляшу качучу, — сказал Бромберг мрачно. — Не гово-
рите глупостей.

— Айзек, — сказал Экселенц. — Зачем вам все-таки пона-
добились детонаторы?.. Подождите, не начинайте все снача-
ла. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела.
Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад или
на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот во-
прос. Но они понадобились вам именно сегодня. Именно в ту
ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой чело-
век. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажи-
те, и мы расстанемся. У меня голова разболелась...

— А кто это должен был за ними прийти? — подозритель-
но спросил Бромберг.

— Лев Абалкин, — сказал Экселенц утомленно.

— Кто это такой?

— Вы не знаете Льва Абалкина?

— В первый раз слышу, — сказал Бромберг.

— Верю, — сказал Экселенц.

— Еще бы! — сказал Бромберг высокомерно.

— Вам я верю, — сказал Экселенц. — Но я не верю в совпа-
дения... Слушайте, Айзек, неужели это так трудно — просто,
без кривляний рассказать, почему вы именно сегодня пришли
за детонаторами...

— Мне не нравится слово «кривлянья»! — сказал Бром-
берг сварливо, но уже без прежнего задора.

— Я беру его назад, — сказал Экселенц.

Бромберг снова принялся утираться.

— У меня секретов нет, — объявил он. — Вы знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто... Вам обязательно нужно имя?

— Нет.

— Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили — несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь, — Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки, — довольно странное родимое пятно. Я даже спросил его: «Это что, татуировка?» Вы знаете, Рудольф, татуировки — мое хобби... «Нет, — ответил он. — Это родимое пятно». Больше всего оно было похоже на букву «ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «сандзю» — «тридцать». Вам это ничего не напоминает, Рудольф?

— Напоминает, — сказал Экселенц.

Мне это тоже что-то напомнило, что-то совсем недавнее, что-то, показавшееся и странным, и несущественным одновременно.

— Вы что, сразу сообразили? — спросил Бромберг с завистью.

— Да, — сказал Экселенц.

— А вот я — не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок... Причем не просто похожий на него, а именно такой в точности. В конце концов вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой — ни одной репродукции. Я бросаюсь в музей — музей закрыт...

— Мак, — сказал Экселенц, — будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью.



Я повиновался.

Брусочек был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед Экселенцем. Экселенц подвинул его поближе к себе, и теперь я видел, что это действительно футляр из гладко отполированного материала ярко-янтарного цвета с едва заметной, идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселенц попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили, и ничего у него не получалось.

— Дайте-ка мне, — нетерпеливо сказал Бромберг.

Он оттолкнул Экселенца, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону.

Вот эти штуки они, по-видимому, и называли детонаторами: круглые серые блямбы миллиметров семидесяти в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов было одиннадцать, и еще два гнезда были пусты, и видно было, что дно их выстлано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые, да они, вероятно, и были в каком-то смысле живые.

Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов, по одному на каждом, и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу — чуть расплывшаяся стилизованная буква «ж», или, если угодно, японский иероглиф «сандзю» — маленький оригинал увеличенной копии на обороте листа №1 в деле № 07. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня, и Экселенц, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес:

— Он?

— Да-да, — нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку. — Не мешайте. Вы ничего не понимаете...

Он вцепился ногтями в края детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом: «Здесь совсем не в этом дело... Неужели вы воображаете, что я был способен перепутать... Чушь какая...» И он вытянул наконец детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше, и видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити, утоньшаются, лопаются одна за другой, и, когда лопнула последняя, Бромберг повернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале.

— Да! — сказал Бромберг торжествуя. — Точно такой. Я так и знал, что не могу ошибиться.

— В чем именно? — спросил Экселенц.

— Размер! — сказал Бромберг. — Размер, детали, пропорции. Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок — оно в точности такое же... — он пристально посмотрел на Экселенца. — Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что, их всех поместили?

— Нет, конечно.

— Значит, у них это было с самого начала? — спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки.

— Нет. Эти значки появились у них в возрасте десяти-двенадцати лет.

Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло.

— Ну что же, — произнес он. — Так я все это и понял... Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва златоперстый Феб озарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим... И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорски! — вскричал он, размахивая

пальцем перед носом Экселенца. — Он сам пришел ко мне, а я сам — понимаете? — сам, вот этой своей старой головой, сообразил, кто передо мной, и теперь он мой! Я не проникал в ваши паршивые тайны! Немножко везенья, немножко сообразительности...

— Хорошо, хорошо, — сказал Экселенц. — Ради бога. Никаких возражений. Он ваш, встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем.

— Н-ну... — с ироническим сомнением протянул Бромберг.

— А впрочем, как вам будет угодно, — сказал вдруг Экселенц. — Все это сейчас не важно... Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали?

Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над Экселенцем, были настолько велики и очевидны, что он, без сомнения, мог позволить себе быть великодушным.

— Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный, — сказал он. — Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову...

Сегодня, а вернее вчера утром, к нему явился молодой человек лет сорока — сорока пяти и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную в своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупицам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами. Легенда эта у Бромберга записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель:

не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю.

Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. Не исключено, сказал он, что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка (февраль 36-го), поскольку родителей своих он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте...

Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, но на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 33-го по 39-й годы он обнаружил в общей сложности восемь различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором. Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок.

— Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение двух биохимиков! Уж этого бы я вам не простил, Сикорски!

И еще битых два часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые слухи, взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном — поскорее убраться восвояси...

Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно слу-

чайно заметил «родимое пятно». Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, каким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел. Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить с двумя-тремя специалистами по поводу супругов Дымок (безрезультатно), но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то, а во-вторых, его не покидало ощущение, что об этом значке или о чем-то, связанном с этим значком, упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив в памяти самым скрупулезным образом всю эту беседу фразу за фразой, он добрался наконец до саркофага, вспомнил детонаторы, и поразительная догадка о том, кто таков на самом деле Александр Дымок, осенила его.

Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему, Бромбергу, научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знал совпадения и покруче. Поэтому он бросился сначала звонить в музей...

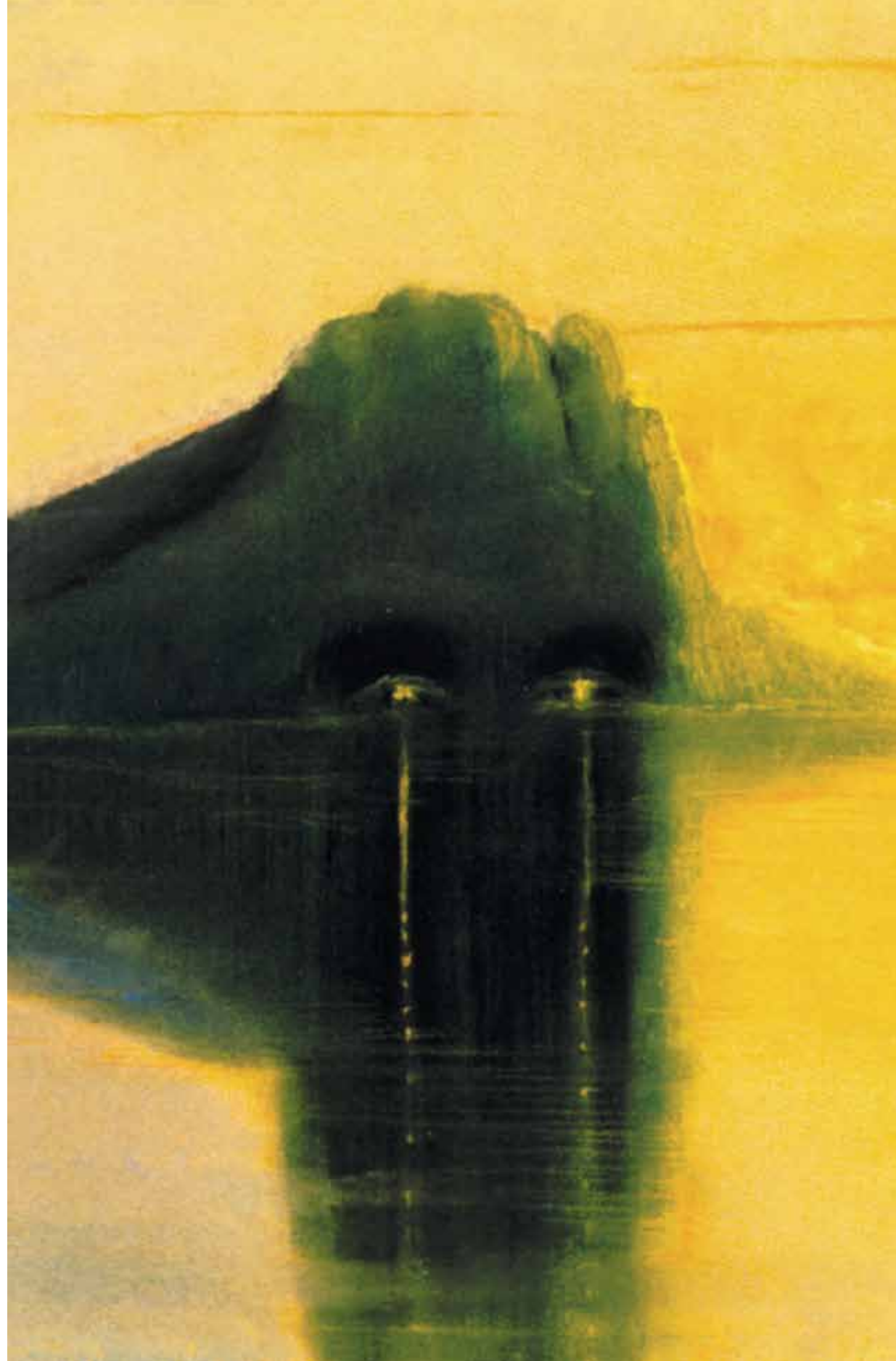
— Все понятно, — сказал Экселенц мрачно. — Спасибо вам, Айзек. Значит, теперь он знает о саркофаге...

— А почему бы ему об этом и не знать? — вскинулся Бромберг.

— Действительно, — медленно проговорил Экселенц. — Почему бы и нет?

Тайна личности Льва Абалкина

21 декабря 37-го года отряд Следопытов под командой Бориса Фокина высадился на каменистом плато безымянной



планетки в системе ЕН 9173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых Странникам.

24 декабря интравизорная съемка зафиксировала под развалинами наличие обширного помещения в толще скальных пород на глубине более трех метров.

25 декабря Борис Фокин с первой же попытки и без всяких неожиданностей проник в это помещение. Оно было выполнено в форме полусферы радиусом в десять метров. Полусфера эта была облицована янтаринном, материалом весьма характерным для цивилизации Странников, и содержала весьма громоздкое устройство, которое с легкой руки одного из следопытов стали называть саркофагом.

26 декабря Борис Фокин запросил и получил из соответствующего отдела КОМКОНа разрешение на обследование саркофага своими силами.

Действуя по своему обыкновению изнуряюще методично и осторожно, он провозился с саркофагом трое суток. За это время удалось определить возраст находки (40—45 тысяч лет), обнаружить, что саркофаг потребляет энергию, и даже установить несомненную связь между саркофагом и расположенными над ним развалинами. Уже тогда была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что указанные «развалины» вовсе развалинами не являются, а представляют собой часть обширной, охватывающей всю поверхность планетки системы, предназначенной для поглощения и трансформации всех видов даровой энергии, как планетарной, так и космической (сейсмика, флюктуации магнитного поля, метеоявления, излучение центрального светила, космические лучи и так далее).

29 декабря Борис Фокин связался непосредственно с Комовым и потребовал к себе лучшего специалиста-эмбриолога. Комов, разумеется, запросил объяснений, но Борис Фокин от



объяснений уклонился и предложил Комову прибыть лично, но при этом обязательно в сопровождении эмбриолога. Когда-то в далекой молодости Комову приходилось работать вместе с Фокиным, и у него осталось от Фокина впечатление скорее нелестное. Поэтому сам он лететь и не подумал, однако эмбриолога послал — правда, далеко не самого лучшего, а просто первого же согласившегося: некоего Марка Ван Блеркома (впоследствии Комов неоднократно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении, ибо Марк Ван Блерком оказался загадочным другом небезызвестного Айзека П. Бромберга).

30 декабря Марк Ван Блерком убыл в распоряжение Бориса Фокина и уже через несколько часов отправил Комову открытым текстом поразительное сообщение. В этом сообщении он утверждал, что так называемый саркофаг представляет собой на самом деле не что иное, как своего рода эмбриональный сейф совершенно фантастической конструкции. В сейфе содержится тринадцать оплодотворенных яйцеклеток вида хомо сапиенс, причем все они представляются вполне жизнеспособными, хотя и пребывают в латентном состоянии.

Необходимо отдать должное двум участникам этой истории: Борису Фокину и члену КОМКОНа Геннадию Комову. Борис Комов каким-то шестым чувством угадал, что об этой находке не следует орать на весь мир: радиограмма Марка Ван Блеркома была первой и последней открытой радиограммой в последующем радиообмене отряда с Землей. Поэтому вся эта история отразилась в потоке массовой информации на нашей планете лишь в виде коротенького сообщения, впоследствии не подтвердившегося и потому почти не привлечшего внимания.

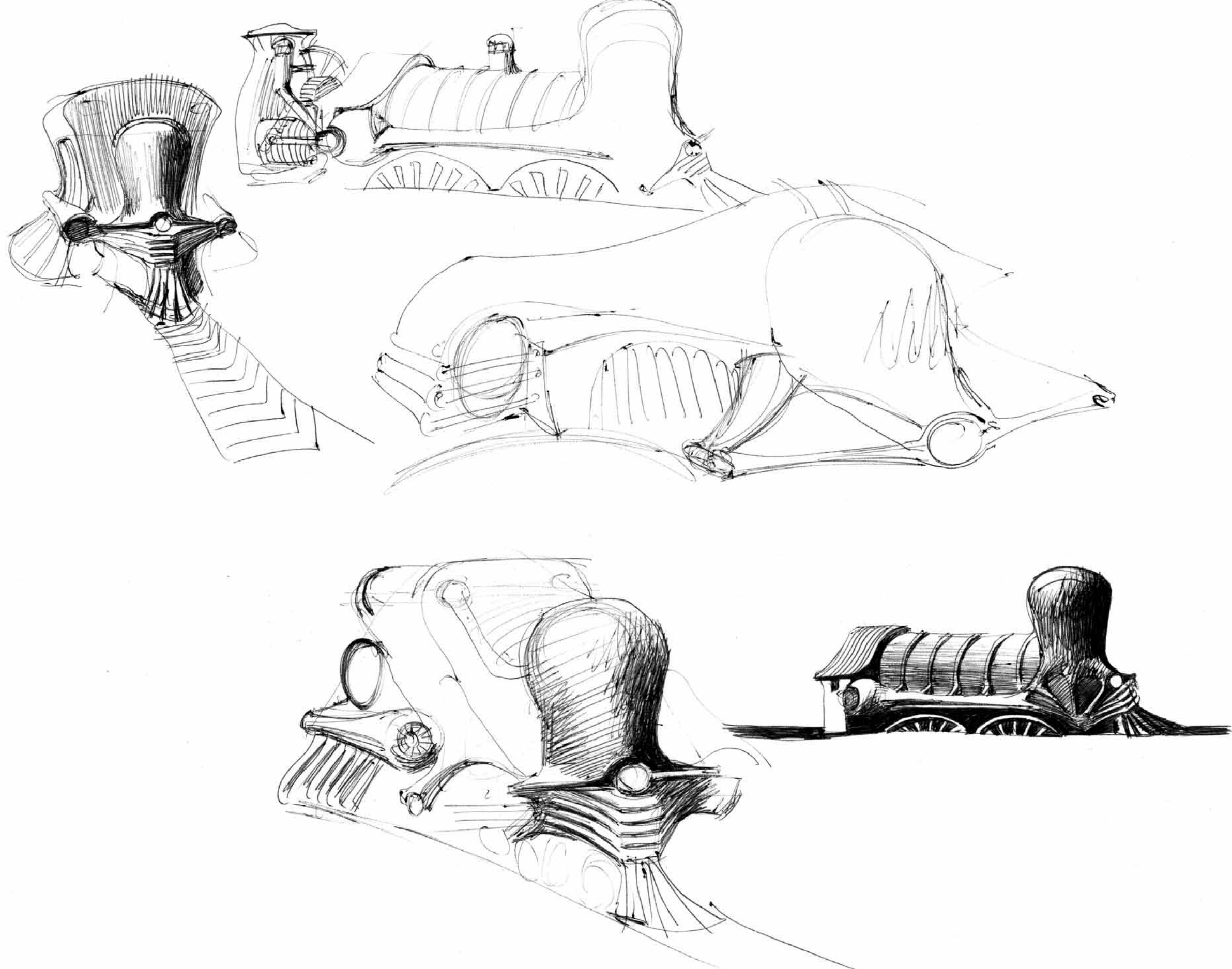
Что же касается Геннадия Комова, то он не только сразу ухватил суть возникающей на глазах проблемы, но и каким-то образом сумел представить себе целый ряд вообразимых

последствий этой проблемы. Прежде всего он потребовал от Фокина и Блеркома подтверждения полученных данных (спецкодом по сверхсрочному каналу) и, получив это подтверждение, немедленно собрал совещание тех руководителей КОМКОНа, которые являлись одновременно членами Мирового совета. Среди них были такие корифеи, как Леонид Горбовский и Август-Иоганн Бадер, молодой и горячий Кирилл Александров, осторожный, вечно сомневающийся Махино Синода, а также энергичный шестидесятидвухлетний Рудольф Сикорски.

Комов проинформировал собравшихся и поставил вопрос ребром: что теперь делать? Очевидно, можно было закрыть саркофаг и оставить все как есть, ограничившись на будущее пассивным наблюдением. Можно было попытаться инициировать развитие яйцеклеток и посмотреть, что из этого получится. Наконец, можно было во избежание грядущих осложнений уничтожить находку.

Разумеется, Геннадий Комов, человек в то время уже достаточно опытный, прекрасно понимал, что ни это чрезвычайное совещание, ни даже десяток последующих проблему не решат. Своим нарочито резким выступлением он преследовал только одну цель: шокировать собравшихся и побудить их к дискуссии.

Надо сказать, цели своей он достиг. Из всех участников совещания только Леонид Горбовский и Рудольф Сикорски сохранили видимое хладнокровие. Горбовский — потому что был разумным оптимистом. Сикорски же — потому что уже тогда был руководителем КОМКОНа-2. Было произнесено множество слов — безудержно горячих и нарочито спокойных, вполне легкомысленных и исполненных глубокого смысла, давно забытых и таких, что вошли впоследствии в лексикон докладов, легенд, отчетов и рекомендаций. Как и следовало ожидать, единственное решение совещания свелось к тому,



чтобы завтра же собрать новое, расширенное совещание с привлечением других членов Мирового совета — специалистов по социальной психологии, педагогике и средствам массовой информации.

На протяжении всего совещания Рудольф Сикорски молчал. Он не чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказываться за то или иное решение проблемы. Однако долгий опыт работы в области экспериментальной истории, а также вся совокупность известных ему фактов о деятельности Странников однозначно приводили его к выводу: какое бы решение ни принял в конце концов Мировой совет, решение это, как и все обстоятельства дела, надлежит на неопределенное время сохранить в кругу лиц с самым высоким уровнем социальной ответственности. В этом смысле он и высказался под занавес. «Решение оставить все как есть и пассивно наблюдать решением на самом деле не является. Истинных решений всего два: уничтожить или инициировать. Неважно, когда будет принято одно из этих решений — завтра или через сто лет, но любое из них будет неудовлетворительным. Уничтожить саркофаг — это значит совершить необратимый поступок. Мы все здесь знаем цену необратимым поступкам. Инициировать — это значит пойти на поводу у Странников, намерения которых нам, мягко выражаясь, непонятны. Я ничего не предreshаю и вообще не считаю себя вправе голосовать за какое бы то ни было решение. Единственное, о чем я прошу и на чем я настаиваю, — разрешите мне немедленно принять меры против утечки информации. Ну, хотя бы для того только, чтобы нас не захлестнуло океаном некомпетентности...»

Эта маленькая речь произвела известное впечатление, и разрешение было дано единогласно, тем более что все понимали: спешить не следует, а создать условия для спокойной и обстоятельной работы совершенно необходимо.

31 декабря состоялось расширенное совещание. Присутствовало 18 человек и в том числе приглашенный Горбовским председатель Мирового совета по социальным проблемам. Все согласились, что саркофаг был найден совершенно случайно, а значит — преждевременно. Все согласились далее, что прежде, чем принимать какое бы то ни было решение, надобно попытаться понять, а если и не понять, то, по крайней мере, представить себе изначальный замысел Странников. Было высказано несколько более или менее экзотических гипотез.

Кирилл Александров, известный своими антропоморфистскими взглядами, высказал предположение, что саркофаг есть хранилище генофонда Странников. Все известные мне доказательства негуманоидности Странников, заявил он, являются по сути своей косвенными. На самом же деле Странники вполне могут оказаться генетическими двойниками человека. Такое предположение не противоречит ни одному из доступных фактов. Исходя из этого, Александров предлагал все исследования прекратить, вернуть находку в первоначальное состояние и покинуть систему ЕН 9173.

По мнению Августа-Иоганна Бадера, саркофаг есть — да! — хранилище генофонда, но никаких не Странников, а именно землян. Сорок пять тысяч лет тому назад Странники, допуская теоретически возможность генетического вырождения немногочисленных тогда племен хомо сапиенс, пытались таким образом принять меры к восстановлению земного человечества в будущем.

Под тем же лозунгом «Не будем плохо думать о Странниках» выступил и престарелый Пак Хин. Он, как и Бадер, был убежден, что мы имеем дело с генофондом землян, но полагал, будто Странники выступают здесь с целями скорее просветительскими. Саркофаг есть своеобразная «бомба времени», вскрыв которую, современные земляне получают возможность

воочию ознакомиться с особенностями облика, анатомии и физиологии своих далеких предков.

Геннадий Комов поставил вопрос значительно шире. По его мнению, любая цивилизация, достигшая определенного уровня развития, не может не стремиться к контакту с иным разумом. Однако контакт между гуманоидными и негуманоидными цивилизациями чрезвычайно затруднен, если только вообще возможен. Не имеем ли мы дела с попыткой применить принципиально новый метод контакта: создать существо-посредника, гуманоида, в генотипе которого закодированы некие существенные характеристики негуманоидной психологии. В этом смысле мы должны рассматривать находку как начало принципиально нового этапа и в истории землян, и в истории негуманоидных Странников. По мнению Комова, яйцеклетки должны быть несомненно и немедленно инициированы. Его, Комова, мало смущает заведомая преждевременность находки: Странники, рассчитывая темпы развития человечества, легко могли ошибиться на несколько столетий.

Гипотеза Комова вызвала оживленную дискуссию, во время которой впервые прозвучало сомнение в том, что современная педагогика способна успешно применить свою методику к воспитанию людей, психика которых в значительной степени отличается от гуманоидной.

Одновременно осторожнейший Махиро Синода, крупный специалист по Странникам, задал вполне резонный вопрос: почему, собственно, уважаемый Геннадий, да и некоторые другие товарищи, так уверены в благорасположенности Странников к землянам? Мы не имеем никаких свидетельств того, что Странники вообще способны на благорасположенность к кому бы то ни было, в том числе и к гуманоидам. Напротив, факты (немногочисленные, правда) свидетельствуют скорее о том, что Странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения

своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно — предположить, что гипотетические существа-посредники должны по замыслу Странников выполнять задачи, с нашей точки зрения, скорее негативные. Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники — своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию. Диверсанты — разумеется, слово одиозное. Но вот у нас сейчас появилось новое понятие — прогрессор — человек земли, деятельность которого направлена на сохранение мира среди других гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники — это своего рода прогрессоры Странников. Что мы, в конце концов, знаем о точке зрения Странников на темпы и формы нашего, человеческого прогресса?..

Совещание немедленно раскололось на две фракции — оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно, трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на сколько-нибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о закономерностях развития разума точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, надуманной и архаичной. Но, с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могли ошибаться ее интерпретаторы. И главное, могли ошибиться сами Странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не поддавались ни учету, ни контролю.

Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалиптический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от человека, более того, ничем не отличается от человека психически — ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением, — живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу, и страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределимый момент, когда программа эта включится наконец, взорвет в нем землянина и поведет его... Куда? К какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто — и в первую очередь он, Рудольф Сикорски, — не имеет права успокаивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения.

В самый разгар совещания Геннадию Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и надтреснутым голосом объявил: «Плохо дело — Фокин и Ван Блерком сообщают, что все тринадцать яйцеклеток совершили первое деление».

Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января нового 38-го года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся Комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь называли инкубатором, и обсуждался по сути дела всего один вопрос: как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу тринадцати будущих новых граждан планеты Земля.

Вопрос об уничтожении инкубатора больше не поднимался, хотя все члены комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному им



извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер.

Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намечены их няни, наблюдающие врачи, учителя, возможные наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и психологических исследований. Были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и по ксенотехнике Странников в частности — на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора, для предупреждения «неловких действий», а главным образом — в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с «подкидышами». Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях Странников.

Рудольф Сикорски в дискуссии участия не принимал. Слушал он вполуха, а все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что с этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой странной и опасной истории обязательно окажется замешано много людей.

Вечером 3 января на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее.

Мы проделали здесь неплохую работу и подготовились более или менее к возможному развитию событий — насколько это возможно при нашем нынешнем уровне информированности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы

оказались помимо своей воли и по воле Странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков — в этом, собственно, суть всех наших решений! Но! Как руководитель КОМКОНа-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые вам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь.

Первое. Все работы, хотя бы мало-мальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание: всем хорошо известный Закон о тайне личности.

Второе. Ни один из «подкидышей» не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание: тот же закон.

Третье. «Подкидыши» немедленно по появлению на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались бы друг с другом. Основание: достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить.

Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внеземные специальности, с тем чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание: та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу у Странников, но должны делать все возможное, чтобы в дальнейшем (и чем скорее, тем лучше) с проторенной для нас дороги свернуть.

Как и следовало ожидать, «Четыре требования Сикорски» вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще КОМКОНа-2.

Но Сикорски правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возмутятся за ум и решительно встанут на его сторону. С Законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых двух требований. Попробуйте-ка представить себе психику человека, который узнает о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного сорок пять тысяч лет тому назад неведомыми чудовищами с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть мало-мальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том, что он, землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший, кроме Земли, несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества. Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты...

Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычно резким выступлением Махиро Синоды, который прямо заявил, что мы здесь слишком много думаем о тринадцати еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представлять для древней Земли. В результате все «Четыре требования» были приняты большинством голосов, и Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя.

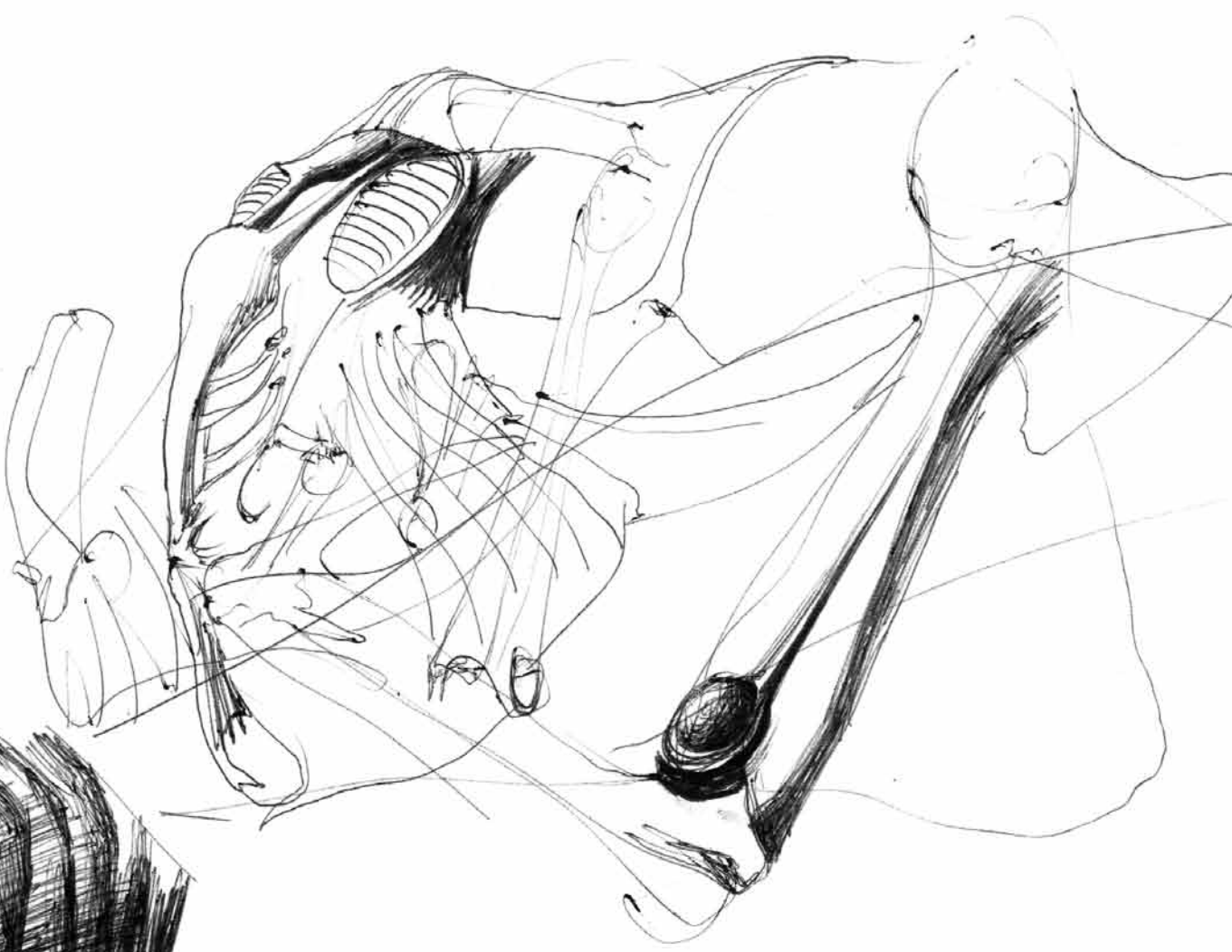
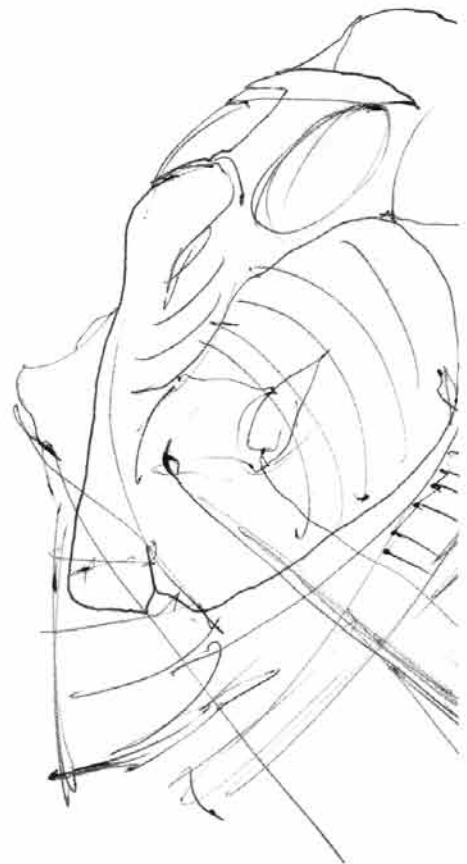
5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. Оказывается, он имел беседу со своим старым другом — тагорским ксенологом, аккредитованным последние два года при Московском университете. В ходе беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычной находке в системе ЕН 9173.

Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не следопыт, что это вне его сферы интересов, что он, в общем-то, не в курсе и в конце концов с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщения этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у Горбовского тем не менее остался от этой части беседы самый неприятный осадок.

Рудольф Сикорски понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение. И не ошибся.

7 января его неожиданно посетил только что прибывший с Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности, высокопочтенный доктор Ас-Су. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности официальных наблюдателей Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена и маленький доктор Ас-Су принялся за свой любимый земной напиток (холодный ячменный кофе с синтетическим медом), высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу они были издавна большими мастерами и любителями.

В частности, доктор Ас-Су рассказал, как полтора-два земных лет назад при закладке фундамента Третьей Большой Машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще Приполярного Континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим двести три личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой Генетической Революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки...



— Поразительно, — пробормотал Сикорски. — Неужели в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?

— Разумеется, нет! — ответил доктор Ас-Су. — Безусловно, это была затея Странников.

— Но зачем?

— Слишком трудно ответить на этот вопрос. Мы даже и не пытались на него ответить.

— И что же дальше случилось с этими двумя сотнями маленьких тагорян?

— Хм... Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым... Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе?

— Могу, — сказал Сикорски.

На другой день, 8 января 38-го года, высокий посол Единой Тагоры отбыл на родину в связи с состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагорца. А еще через месяц все без исключения земляне, работавшие на Тагоре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагорой прекратилась на двадцать пять лет.

Тайна личности Льва Абалкина (продолжение)

Они все родились в один день — 6 октября 38-го года, — пять девочек и восемь мальчиков, крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Мирового совета и консультанты комиссии по тринадцати, обмыли и спеленали их и в тот

же день в специально оборудованном корабле доставили на Землю. К вечеру в тринадцати яслях, разбросанных по всем шести материкам, заботливые няни уже хлопотали над тринадцатью сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были подготовлены самим Рудольфом Сикорски и по специальному разрешению Мирового совета введены в БВИ.

Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьбы остальных двенадцати его «единоутробных» сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных, земных сверстников.

В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом забегал. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях тысяч других яслей планеты.

Правда, ему повезло, как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Ядвига Михайловна Леканова — один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей спуститься с горних высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда шестилетний Лева Абалкин был переведен со всей своей группой в сыктывкарскую школу-интернат 241, та же Ядвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками школьного возраста, и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу.

Лева Абалкин рос и развивался, как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним

возможным отклонениям. Так же благополучно обстояло у него дело и с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, это был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих одноклассников, по преимуществу — славян, разве что иссиня-черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября 47-го года.

16 ноября, проводя регулярный осмотр, Ядвига Михайловна обнаружила у Левы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки — невелика редкость, и Ядвига Михайловна не обратила на него никакого внимания, а потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно трансформировался. Его уже, собственно, нельзя было назвать синяком, это было уже нечто вроде татуировки — желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «ж». Осторожные расспросы показали, что Лева Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя.

Поколебавшись, Ядвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорски принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Ядвигу Михайловну по видеотелефону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. Без изменений, ответила несколько удивленная Ядвига Михайловна. Если вас не затруднит, попросил доктор Сикорски, как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне.

Лев Абалкин был первым из «подкидышей», у кого на сгибе правого локтя появился значок. В течение последующих



двух месяцев родимые пятна, имеющие более или менее замысловатые формы, появились еще у восьми «подкидышей» при совершенно сходных обстоятельствах: синяк с припухлостью вначале, никаких внешних причин, никаких болезненных ощущений, а через неделю — желто-коричневый значок. К концу 48-го года «клеймо Странников» носили уже все тринадцать. И тогда было сделано поистине удивительное и страшноватое открытие, вызвавшее к жизни понятие «детонатор».

Кто первым ввел это понятие — определить теперь уже невозможно. По мнению Рудольфа Сикорски, оно как нельзя более точно и грозно определяло суть дела. Еще в 39-м году, через год после рождения «подкидышей», ксенотехники, занимавшиеся демонтажом опустевшего инкубатора, обнаружили в его недрах длинный ящик из янтарина, содержащий тринадцать серых круглых дисков со значками на них. В недрах инкубатора были обнаружены тогда предметы и более загадочные, чем этот ящик-футляр, и поэтому никто специального внимания на него не обратил. Футляр был транспортирован в Музей внеземных культур, описан в закрытом издании «материалов по саркофагу-инкубатору» как элемент системы жизнеобеспечения, успешно выдержал вялый натиск какого-то исследователя, попытавшегося понять, что это такое и для чего может пригодиться, а затем отфутболен в уже переполненный спецсектор предметов материальной культуры невыясненного назначения, где и был благополучно забыт на целых десять лет.

В начале 49-го года помощник Рудольфа Сикорски по делу «подкидышей» (назовем его, например, Иванов) вошел в кабинет своего начальника и положил перед ним проектор, включенный на 211-й странице шестого тома «материалов по саркофагу». Экселенц глянул и обомлел. Перед ним была фотография «элемента жизнеобеспечения 15/156А»:

тринадцать серых круглых дисков в гнездах янтарного футляра. Тринадцать замысловатых иероглифов, тех самых, над которыми он даже уже перестал ломать голову, прекрасно знакомых по тринадцати фотографиям тринадцати сгибов детских локтей. По значку на локоть. По значку на диск. По диску на локоть.

Это не могло быть случайностью. Это должно было что-то означать. Что-то очень важное. Первым движением Рудольфа Сикорски было немедленно затребовать из музея этот «элемент 15/156А» и спрятать к себе в сейф. От всех. От себя. Он испугался. Он просто испугался. И страшнее всего было то, что он даже не понимал, почему ему страшно.

Иванов был тоже испуган. Они взглянули друг на друга и поняли друг друга без слов. Одна и та же картина стояла перед их глазами: тринадцать загорелых, исцарапанных бомб с веселым гиканьем носятся по-над речками и лазают по деревьям в разных концах земного шара, а здесь, в двух шагах, тринадцать детонаторов к ним в зловещей тишине ждут своего часа.

Это была минута слабости, конечно. Ведь ничего страшного не произошло. Ниоткуда, собственно, не следовало, что диски со значками — это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто они привыкли уже предполагать самое худшее, когда дело касалось «подкидышей». Но если даже эта паника воображения и не обманывала их, даже в этом самом крайнем случае ничего страшного пока не произошло. В любой момент детонаторы можно было уничтожить. В любой момент их можно было изъять из музея и отправить за тридевять земель, на край обитаемой Вселенной, а при необходимости — и еще дальше.

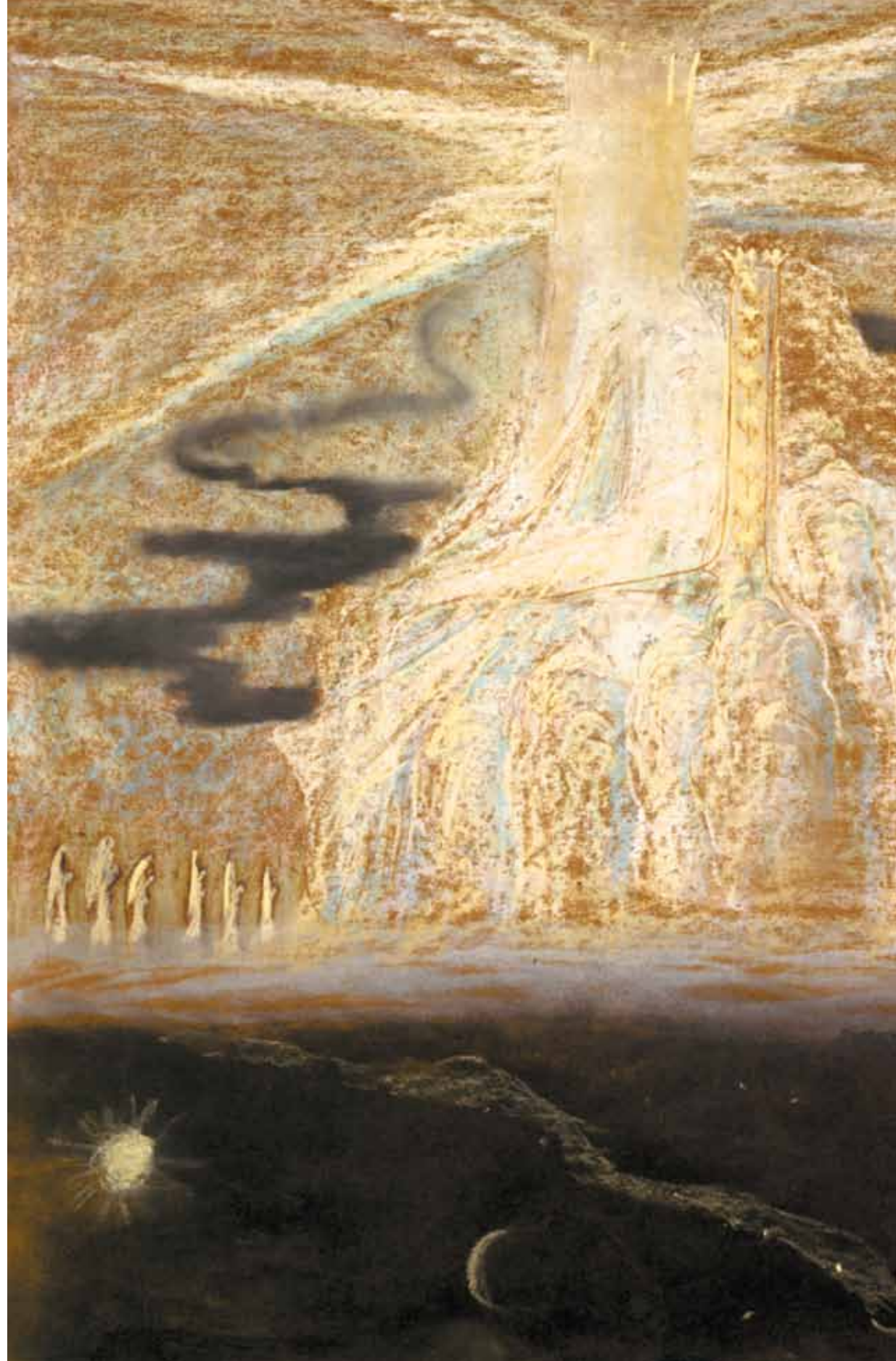
Рудольф Сикорски позвонил директору музея и попросил его доставить экспонат номер такой-то в распоряжение Мирового совета — к нему, Рудольфу Сикорски, в кабинет. Последовал несколько удивленный, безукоризненно вежливый,

но недвусмысленный отказ. Выяснилось (Сикорски прежде и представления об этом не имел), что экспонаты из музея, причем не только из Музея внеземных культур, но из любого музея на земле, не выдаются — ни частным лицам, ни Мировому совету, ни даже Господу Богу. Если бы даже самому Господу Богу потребовалось поработать с экспонатом номер такой-то, ему пришлось бы для этого явиться в музей, предъявить соответствующие полномочия и там, в стенах музея, производить необходимые исследования, для которых, впрочем, ему, Господу Богу, были бы созданы все необходимые условия: лаборатории, любое оборудование, любая консультация и так далее и тому подобное.

Дело оборачивалось неожиданной стороной, но первый шок уже прошел. В конце концов хорошо уже и то, что бомбе для воссоединения с детонатором понадобятся, по меньшей мере, «соответствующие полномочия». И в конце концов только от Рудольфа Сикорски зависело сделать так, чтобы музей превратился в тот же самый сейф, только размерами побольше. И вообще, какого дьявола? Откуда бомбам знать, где находятся детонаторы и что они вообще существуют? Нет-нет, это была минута слабости. Одна из немногих подобных минут в его жизни.

Детонаторами занялись вплотную. Соответственно подобранные люди, снабженные соответствующими полномочиями и рекомендациями, провели в прекрасно оборудованных лабораториях музея цикл тщательно продуманных исследований. Результаты этих исследований можно было бы со спокойной совестью назвать нулевыми, если бы не одно странное и даже, прямо скажем, трагическое обстоятельство.

С одним из детонаторов был проведен эксперимент на регенерацию. Эксперимент дал отрицательные результаты: в отличие от многих предметов материальной культуры Странников детонатор номер 12 (значок «М готическое»), будучи



разрушен, не восстановился. А спустя два дня в Северных Андах попала под горный обвал группа школьников из интерната «Темпладо» — двадцать семь девочек и мальчишек во главе с учителем. Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы, кроме Эдны Ласко, личное дело номер 12, значок «М готическое».

Безусловно, это могло быть случайностью. Но исследования детонаторов были приостановлены, и через Мировой совет удалось провести их как запрещенные.

И было еще одно происшествие, но много позже, уже в 62-м году, когда Рудольф Сикорски, по местному прозвищу Странник, резидентствовал на Саракше.

Дело в том, что именно благодаря его отсутствию на Земле группе психологов, входящих в состав Комиссии по тринадцати, удалось добиться разрешения на частичное раскрытие тайны личности одному из «подкидышей». Для эксперимента был выбран Корней Яшмаа — номер 11, значок «Эльбрус». После тщательной подготовки ему была рассказана вся правда о его происхождении. Только о нем. Больше ни о ком.

Корней Яшмаа кончал тогда школу прогрессоров. Судя по всем обследованиям, это был человек с чрезвычайно устойчивой психикой и очень сильной волей, весьма незаурядный человек по всем своим задаткам. Психологи не ошиблись. Корней Яшмаа воспринял информацию с поразительным хладнокровием, — видимо, окружающий мир интересовал его много больше, чем тайна собственного происхождения. Осторожное предупреждение психологов о том, что в нем, возможно, заложена скрытая программа, которая в любой момент может направить его деятельность против интересов человечества, — это предупреждение нисколько не взволновало его. Он откровенно признался, что хотя и понимает свою потенциальную опасность, но совершенно в нее не верит. Он охотно согласился на регулярное самонаблюдение,

включающее, между прочим, ежедневное обследование индикатором эмоций, и даже сам предложил сколь угодно глубокое ментоскопирование. Словом, комиссия могла быть довольна: по крайней мере один из «подкидышей» стал теперь сознательным и сильным союзником Земли.

Узнав об этом эксперименте, Рудольф Сикорски поначалу разозлился, но потом решил, что в конечном итоге такой эксперимент может оказаться полезным. С самого начала он настаивал на сохранении тайны личности «подкидышей» прежде всего из соображений безопасности Земли. Он не хотел, чтобы в распоряжении «подкидышей», когда и если программа заработает, кроме этой подсознательной программы были бы еще и вполне сознательные сведения о них самих и о том, что с ними происходит. Он предпочел бы, чтобы они стали метаться, не зная, чего они ищут, и с неизбежностью совершая нелепые и странные поступки. Но, в конце концов, для контроля было бы даже полезно иметь одного (но не больше!) из «подкидышей», располагающего полной информацией о себе. Если программа вообще существует, то она, безусловно, организована так, что никакое сознание справиться с нею будет не в силах. Иначе Странникам не стоило и огород городить. Но, без всякого сомнения, поведение человека, осведомленного о программе, должно будет резко отличаться от поведения прочих.

Однако психологи и не думали останавливаться на достигнутом. Ободренные успехом с Корнеем Яшмаа, они спустя три года (Рудольф Сикорски все еще сидел на Саракше) повторили эксперимент с Томасом Нильсоном (номер 02, значок «Косая звезда»), смотрителем заповедника на Горгоне. Показания были вполне благоприятны, и несколько месяцев Томас Нильсон действительно продолжал благополучно работать, по всей видимости, нимало не смущенный тайной своей личности. Он вообще был человеком скорее флегматичным и не склонным к проявлению эмоций.

Он аккуратно выполнял все рекомендованные процедуры по самонаблюдению, относился к своему положению даже с некоторым свойственным ему тяжеловатым юмором, но, правда, наотрез отказался от ментоскопирования, сославшись при этом на чисто личные мотивы. А на сто двадцать восьмой день после начала эксперимента Томас Нильсон погиб на своей Горгоне при обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства.

Для комиссии вообще и для психологов в особенности это был страшный удар. Престарелый Пак Хин объявил о своем выходе из комиссии, бросил институт, учеников, родных и удалился в самоизгнание. А на сто тридцать второй день сотрудник КОМКОНа-2, в обязанности которого входил, в частности, ежемесячный осмотр янтарного футляра, доложил в панике, что детонатор номер 02, значок «Косая звезда», исчез начисто, не оставив после себя в гнезде, высланном шевелящимися волокнами псевдоэпителы, даже пыли.

Теперь существование некоей, мягко выражаясь, полумистической связи между каждым из «подкидышей» и соответствующим детонатором не вызывало никаких сомнений. И никаких сомнений ни у кого из членов комиссии не вызывало теперь, что в обозримом будущем землянам, пожалуй, не дано будет разобраться в этой истории.

4 июня 78-го года

Дискуссия ситуации

Все это и еще многое другое рассказал мне Экселенц той же ночью, когда мы вернулись из музея к нему в кабинет.

Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся, не глядя на меня, пошел заваривать кофе.

— Можешь спрашивать, — проворчал он.

К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно — огромное, безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что, как бы грозны и страшны они ни были, к нашей светлой и теплой Земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на нашу повседневную жизнь не оказывают: все это как-то, кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени.

Но я-то, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать все, что могло стать опасным для человечества и прогресса. Именно поэтому такие, как я, оказывались иногда в чуждых мирах и в чуждых ролях. Вроде роли имперского офицера в феодальной империи на Саракше, которую играл в свое время Абалкин.

Я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит, должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и еще больше. А значит, увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной, чем они, — увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселенцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны.

И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него — за то, что он все-таки не удержал.

— У тебя нет вопросов? — осведомился Экселенц.

Я спохватился.

— Значит, вы полагаете, что программа заработала и он убил Тристана?

— Давай рассуждать логически, — Экселенц расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. — Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр. Якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности прогрессора, а на самом деле для того, чтобы убедиться: Абалкин остается человеком. На всем Саракше один только Тристан знал номер моего спецканала. Тридцатого мая, самое позднее — тридцать первого, я должен был получить от него три семерки, «все в порядке». Но двадцать восьмого, в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А Лев Абалкин бежит на Землю. Лев Абалкин бежит на Землю, Лев Абалкин скрывается, Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану... — он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. — По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со Странниками. Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников, — он снова помолчал. — Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более Льву Абалкину. Я боюсь, его не просто убили...

— Значит, вы полагаете, что программа гонит его на поиски детонатора?

— Мне больше нечего предполагать.

— Но ведь он понятия не имеет о детонаторах... Или это тоже Тристан?

— Тристан ничего не знал. И Абалкин ничего не знает. Знает программа!

Я сказал:

— Вы только поймите меня правильно, Экселенц. Не подумайте, что я стараюсь смягчить, преуменьшить... Но ведь вы не видели его. И вы не видели людей, с которыми он общался... Я все понимаю: гибель Тристана, бегство, звонок по вашему спецканалу, скрывается, выходит на Глумову, у которой хранятся детонаторы... Выглядит это совершенно однозначно. Этакая безупречная логическая цепочка. Но ведь есть и другое! Встречается с Глумовой — и ни слова о музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с учителем — и только обида, будто бы учитель испортил ему жизнь... Разговор со мной — обида, будто я украл у него приоритет... Кстати, зачем ему было вообще встречаться с учителем? Со мной еще туда-сюда — скажем, он хотел проверить, кто его отслеживает... А с учителем зачем? Теперь Щекн — дурацкая просьба об убежище, что вообще ни в какие ворота не лезет!

— Лезет, Мак. Все лезет. Программа программой, а сознание — сознанием. Ведь он не понимает, что с ним происходит. Программа требует от него нечеловеческого, а сознание тщится трансформировать это требование во что-то хоть мало-мальски осмысленное... Он мечется, он совершает странные и нелепые поступки. Чего-то вроде этого я и ожидал... Для того и нужна была тайна личности: мы имеем теперь хоть какой-то запас времени... А насчет Щекна ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Голованы почуяли, что он больше не человек, и демонстрируют нам свою лояльность. Вот что там было...

Он не убедил меня. Логика его была почти безупречна, но ведь я видел Абалкина, я разговаривал с ним, я видел учителя и Майю Тойвовну, я разговаривал с ними. Абалкин метался — да. Он совершал странные поступки — да, но эти поступки

не были нелепыми. За ними стояла какая-то цель, только я никак не мог понять, какая. И потом, Абалкин был жалок, он не мог быть опасен...

Но все это была только моя интуиция, а я знал цену интуиции. Дешево она стоила в наших делах. И потом, интуиция — это из области человеческого опыта, а мы как-никак имели дело со Странниками...

— Можно еще кофе? — попросил я.

Экселенц поднялся и пошел заваривать новую порцию.

— Я вижу, ты сомневаешься, — сказал он, стоя ко мне спиной. — Я бы и сам сомневался, если бы только имел на это право. Я — старый рационалист, Мак, и я навидался всякого, я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне претят все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составленные кем-то там сорок тысяч лет назад, которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу, все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр... Меня с души воротит от всего этого!

Он принес кофе и разлил по чашкам.

— Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными, — продолжал он, — и просто занимались бы изучением некоего явления природы, с каким бы наслаждением я объявил все это цепью идиотских случайностей! Случайно погиб Тристан — не он первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей детонаторов. Он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому... Клянусь тебе, это маловероятное сцепление маловероятных событий казалось бы мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем идиотское, бездарное предположение о какой-то там вельзевуловой программе, якобы заложенной в человеческие зародыши... Для ученых все ясно: не изобретай лишних сущностей без самой крайней



необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого — это, в конечном счете, его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и над нами будет хохотать весь Мировой совет и все школяры в придачу... — он с раздражением отодвинул от себя чашку. — Не могу я пить этот кофе, и есть я не могу уже четвертый день подряд...

— Экселенц, — сказал я, — ну что вы, в самом деле... Ну почему обязательно черт с рогами? В конце концов, что плохого мы можем сказать о Странниках? Ну, возьмите вы операцию «Мертвый мир»... Ведь они там как-никак население целой планеты спасли! Несколько миллиардов человек!

— Утешаешь... — сказал Экселенц, мрачно усмехаясь. — А ведь они там не население спасали. Они планету спасали от населения! И очень успешно... А куда делось население — этого нам знать не дано...

— Почему — планету? — спросил я, растерявшись.

— А почему — население?

— Ну ладно, — сказал я. — Дело даже не в этом. Пусть вы правы: программа, детонаторы, черт с рогами... Ну что он нам может сделать? Ведь он один.

— Мальчик, — сказал Экселенц почти нежно, — ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже сорок лет. И не только я. И мы ничего не придумали, вот что хуже всего. И никогда ничего не придумаем, потому что самые умные и опытные из нас — это всего-навсего люди. Мы не знаем, чего

они хотят. Мы не знаем, что они могут. И никогда не узнаем. Единственная надежда — что в наших метаниях, судорожных и беспорядочных, мы будем то и дело совершать шаги, которых они не предусмотрели. Не могли они предусмотреть все. Этого никто не может. И все-таки каждый раз, решаясь на какое-то действие, я ловлю себя на мысли, что именно этого они от меня и ждали, что именно этого-то делать не следует. Я дошел до того, что, старый дурак, радуюсь, что мы не уничтожили этот проклятый саркофаг сразу же, в первый же день... Вот тагоряне уничтожили — и посмотри теперь на них! Этот жуткий тупик, в который они уперлись... Может быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого рационального поступка, который они совершили полтора века назад... Но ведь, с другой стороны, сами себя они в тупике не считают! Это тупик с нашей, человеческой точки зрения! А со своей точки зрения они процветают и благоденствуют и, безусловно, полагают, что обязаны этим своевременному радикальному решению... Или вот мы решили не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам. А может быть, именно этого они от нас и ждали?

Он положил лысый череп на ладони и замотал головой.

— Мы все устали, Мак, — проговорил он. — Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь семьдесят процентов комиссии приняли его гипотезу. «Жук в муравейнике»... Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это! Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации. А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу, и невдомек им, беднягам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив

никому никакого вреда... Представляешь, Мак? Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи! Все будет хорошо... А если это не «Жук в муравейнике»? А если это «Хорек в курятнике»? Ты знаешь, что это такое, Мак, — «Хорек в курятнике»?..

И тут он взорвался. Он грохнул кулаками по столу и заорал, уставясь на меня бешеными зелеными глазами:

— Мерзавцы! Сорок лет они у меня вычеркнули из жизни! Сорок лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом не могу думать! Они сделали меня трусом! Я шарахаюсь от собственной тени, я не верю собственной бездарной башке... Ну, что ты вытаращился на меня? Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть, и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И все это навалится на вас! А вам с этим тоже не справиться! Потому что вы...

Он замолчал. Он уже смотрел не на меня, а поверх моей головы. И он медленно поднялся из-за стола. Я обернулся.

На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин.

4 июня 78-го года

Лев Абалкин в натуре

— Лева! — произнес Экселенц изумленно-растроганным голосом. — Боже мой, дружище! А мы с ног сбились, вас разыскивая!

Лев Абалкин сделал движение и вдруг сразу оказался возле стола. Без сомнения, это был настоящий прогрессор новой школы, профессионал, да еще из лучших, наверное, — мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия.

— Вы — Рудольф Сикорски, начальник комиссии по контактам, — произнес он тихим, удивительно бесцветным голосом.

— Да, — отозвался Экселенц, радушно улыбаясь. — А почему так официально? Садитесь, Лева...

— Я буду говорить стоя, — сказал Лев Абалкин.

— Бросьте, Лева, что за церемонии? Садитесь, прошу вас. Нам предстоит долгий разговор, не правда ли?

— Нет, не правда, — сказал Абалкин. На меня он даже не взглянул. — У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать.

Экселенц был потрясен.

— Как это — не хотите? — спросил он. — Вы, дорогой, на службе, вы обязаны отчетом. Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном... Как это — не хотите?

— Я — один из «тринадцати»?

— Этот Бромберг... — проговорил Экселенц с досадой. — Да, Лева. К сожалению, вы — один из «тринадцати».

— Мне запрещено находиться на Земле? И я всю жизнь должен оставаться под надзором?

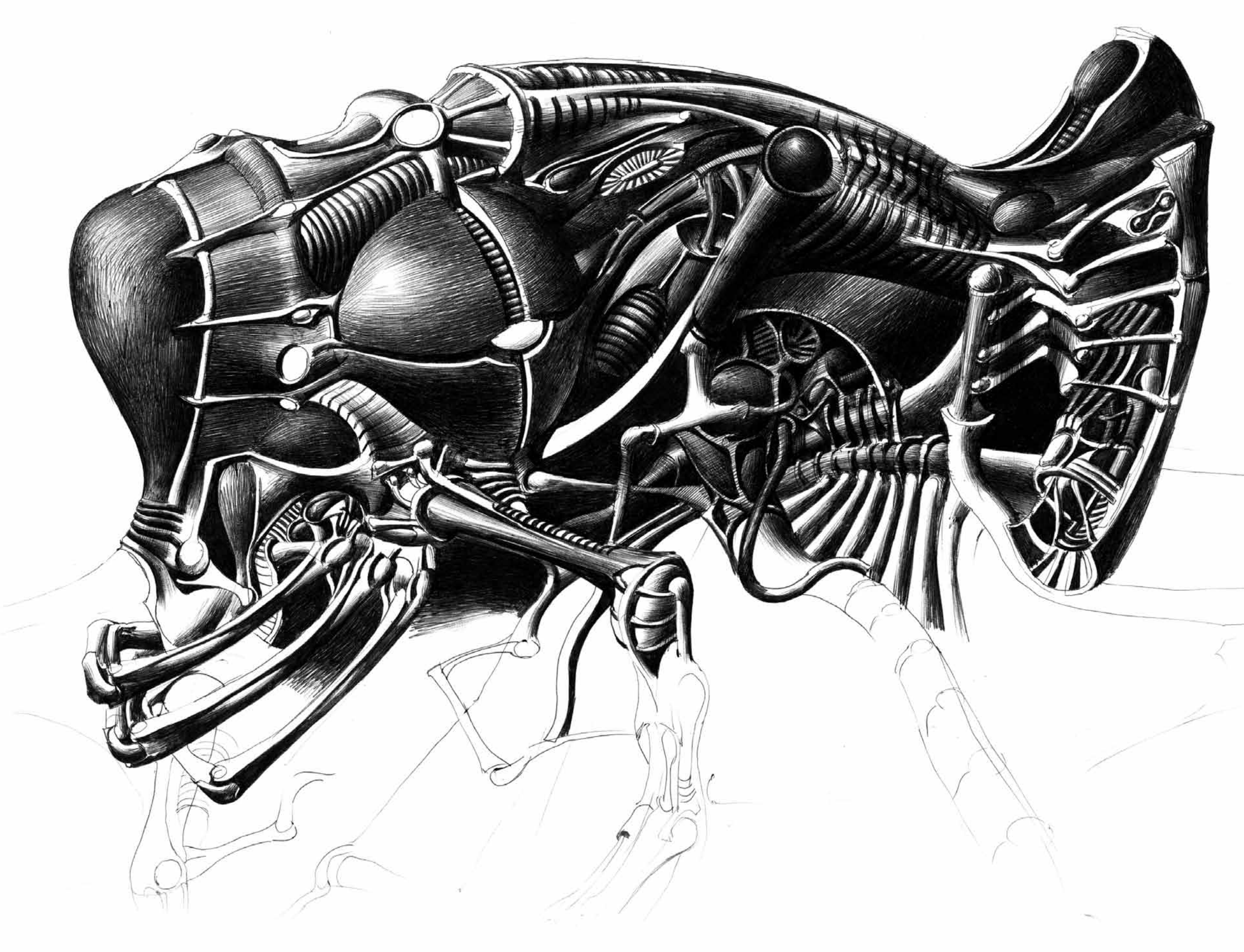
— Да, Лева. Это так.

Абалкин великолепно владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Но я-то чувствовал, что перед нами человек в последнем градусе бешенства.

— Так вот, я пришел сюда сказать, — произнес Абалкин все тем же тихим бесцветным голосом, — что вы поступили с нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь и в результате ничего не добились. Я — на Земле и более не намерен Землю покидать. Прошу вас иметь в виду, что и надзора вашего я больше не потерплю и избавляться от него буду беспощадно.

— Как от Тристана? — небрежно спросил Экселенц.

Абалкин, казалось, не слышал этой реплики.



— Я вас предупредил, — сказал он. — Теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь.

— Хорошо. Не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа?

— Теперь я сам буду выбирать себе работу.

— Очень хорошо. Великолепно. А в свободное от работы время пораскиньте, пожалуйста, мозгами и попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с «подкидышами»?

Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина.

— Здесь нет материала для размышлений, — сказал он. — Здесь все очевидно. Надо было мне все рассказать, сделать меня своим сознательным союзником...

— А вы бы через пару месяцев покончили с собой? Страшно ведь, Лева, ощущать себя угрозой для человечества, это не всякий выдержит...

— Чепуха. Это все бредни наших психологов. Я — землянин! Когда я узнал, что мне запрещено жить на Земле, я чуть не спятил! Только андроидам запрещено жить на Земле. Я мотался, как сумасшедший, — искал доказательств, что я не андроид, что у меня было детство, что я работал с голованами... Вы боялись свести меня с ума? Ну, так это вам почти удалось!

— А кто сказал, что вам запрещено жить на Земле?

— А что — это неправда? — осведомился Абалкин. — Может быть, мне разрешено жить на Земле?

— Теперь — не знаю... Наверное, да. Но посудите сами, Лева! На всем Саракше только один Тристан знал, что вы не должны возвращаться на Землю. А он вам этого сказать не мог... Или все-таки сказал?

Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые

пятна, словно следы старых лишаев, — он сделался похож на пандейского дервиша.

— Ну хорошо, — сказал, подождав, Экселенц. Он демонстративно разглядывал свои ногти. — Пусть Тристан вам это все-таки рассказал. Не понимаю, почему он это сделал, но — пусть. Тогда почему он не рассказал вам остального? Почему он не рассказал вам, что вы — «подкидыш»? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины, и весьма существенные, что бы вы об этом ни думали...

Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, и оно вдруг потеряло твердость и словно бы обвисло — рот полуоткрылся, и широко раскрылись, как бы в удивлении, глаза, и я впервые услышал его дыхание.

— Я не хочу об этом говорить... — громко и хрипло произнес он.

— Очень жаль, — сказал Экселенц. — Нам это очень важно.

— А мне важно только одно, — сказал Абалкин. — Чтобы вы оставили меня в покое.

Лицо его сделалось, как прежде, твердым, опустились веки, с матовых щек медленно сходили серые пятна. Экселенц заговорил совсем другим тоном:

— Лева, разумеется, мы оставим вас в покое. Но я умоляю вас, если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное, непривычное ощущение... Какие-нибудь странные мысли... Просто больным себя почувствуете... Умоляю, сообщите об этом. Ну, пусть не мне. Горбовскому, Комову, Бромбергу, в конце концов...

Тут Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселенц почти кричал ему вслед, протягивая руку:

— Только сразу же! Сразу! Пока вы еще землянин! Пусть я виноват перед вами, но Земля-то не виновата ни в чем!..

— Сообщу, сообщу, — сказал Абалкин через плечо, — лично вам.

Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Несколько секунд Экселенц молчал, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, и напряженно прислушивался. Затем скомандовал вполголоса:

— За ним. Ни в коем случае не упускать. Связь через браслет. Я буду в музее.

4 июня 78-го года

Завершение операции

Выйдя из здания КОМКОНа-2, Лев Абалкин неторопливо, праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился две минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин все так же неторопливо, заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле барельефа Строгова.

По-моему, он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и минут двадцать сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы: раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась ему мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и, поправив ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре, кроме него, не было ни души.

Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз, и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня

занимало. Меня беспокоил Экселенц. Я не понимал, что он затеял.

Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было вначале, три дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать — убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был приказ «брать его, как только он прикоснется к платку». И был пистолет. По-видимому, на тот случай, если взять не удастся. Хорошо. Теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселенцу нечего сказать Абалкину. Ничего удивительного: Экселенц убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. (Работает ли программа на самом деле — на этот счет у меня было свое мнение, но оно роли не играло. Прежде всего мне надо было понять замысел Экселенца.)

Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над Землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами. И поставить точку по крайней мере на этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в музей. Это может означать только одно: он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в музей. За детонаторами. За чем же еще? (Казалось бы, чего проще — сунуть этот янтарный футляр в spisанный «призрак» и загнать в подпространство до окончания времен... К сожалению, делать этого, конечно, нельзя: это был бы необратимый поступок.)

Абалкин является в музей (или прорывается с боем — ведь там его ждет Гриша Серосовин)... В общем, он является в музей и снова видит там Экселенца. Картина. И вот там-то происходит настоящий разговор...

Экселенц его убьет подумал я. Господи, помилуй, в панике подумал я. Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселенц его убьет. Ведь это же просто, как репа. Экселенц для того и ждет его в музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими глазами увидеть, как это все происходит, как автомат Странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр (глазами? по запаху? шестым чувством?), как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором... Только намеревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселенц нажмет спусковой крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя.

И я сказал себе: ну нет, этого не будет.

Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину.

Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом.

— Лева, — сказал я, — уезжайте отсюда. Сейчас же.

— По-моему, я просил оставить меня в покое, — сказал он прежним тихим и бесцветным голосом.

— Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично. Но вы для нас больше не Лева Абалкин. Левы Абалкина больше нет. Вы для нас — автомат Странников.

— А вы для меня — банда взбесившихся от страха идиотов.

— Не спорю, — сказал я. — Но именно поэтому вам надо удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору. Лева, поживите там несколько месяцев, покажите вы, что никакой программы внутри вас нет.

— А зачем? — сказал он. — Чего это ради я должен кому-то что-то доказывать? Это, знаете ли, унижительно.

— Лева, — сказал я, — если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унижительным покривляться и повалить дурака перед ними, чтобы их успокоить?

Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова загнать его на край Вселенной, но теперь уже навсегда, теперь уже без всякой надежды на возвращение.

— Бесполезно, — сказал он, — прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора.

Он осторожно отогнал белок и поднялся. Я тоже поднялся.

— Лева, — сказал я, — вас убьют.

— Ну, это не так просто сделать, — небрежно отозвался он и пошел вдоль аллеи.

Я пошел рядом с ним. Я все время говорил. Нес какую-то чушь, что-де это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо-де рисковать жизнью из-за одной только гордости, что-де стариков тоже надо бы понять — они сорок лет живут как на иголках... Он отмалчивался или отвечал колкостями. Пару раз он даже улыбнулся: мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на сиреневую улицу. Мы шли к Площади Звезды.

Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу... Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет очухаться. Там всегда наготове два-три дежурных «призрака». Я вызову туда Глузову, и мы втроем высадимся на зеленой Ружене, в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню, и провались она в тартарары — тайна личности

Льва Абалкина... Так. Вон у обочины подходящий глайдер. Свободный. Как раз то, что нужно...

Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, и я был словно на дне колодца, и на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуха, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу, а рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для тревоги никаких нет — может же стать человеку дурно на улице...

Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колыхается над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я попался на самый обыкновенный «поворот вниз», нанесенный, правда, из такой позиции, из которой его никто и никогда не проводит.

— Ничего, он уже очнулся, все будет в порядке...

— Лежите, лежите, пожалуйста, вам просто стало дурно...

— Сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за врачом...

Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на два сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее мгновение защитный рефлекс...

Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач! В чем дело?..»

И откуда только у меня ноги взялись! Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях.

— Женщине плохо, помогите ей...

Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно-протестующий вопль: «Но позвольте же!..», а в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем Площадь Звезды. Все было, как в повторном сне. Как шесть часов назад. Я бежал из зала в зал, из коридора в коридор, лавируя между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи, только теперь все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю.

Уже опоздал.

Уже.

Треснул выстрел. Негромкий сухой выстрел из «герцога». Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между безобразными формами фигура в белом лабораторном халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей. Тоже опоздал.

Треснули еще два выстрела, один за другим... «Лева. Вас убьют». — «Это не так просто сделать...» Мы ворвались в мастерскую Майи Тойвовны Глумовой одновременно — Гриша и я.

Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а Экселенц, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему, а с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова.

У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице.

Шафранная лысина и слегка обвисшая, обращенная ко мне щека Экселенца были покрыты крупными каплями пота.

Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью.

И стояла тишина.

Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бесильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежащего в сантиметре от них серого диска детонатора. Со знаком в виде то ли стилизованной буквы «ж», то ли японского иероглифа «сандзю».

Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки (Экселенц каркнул мне что-то предостерегающее). Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами, рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил:

— Стояли звери около двери...

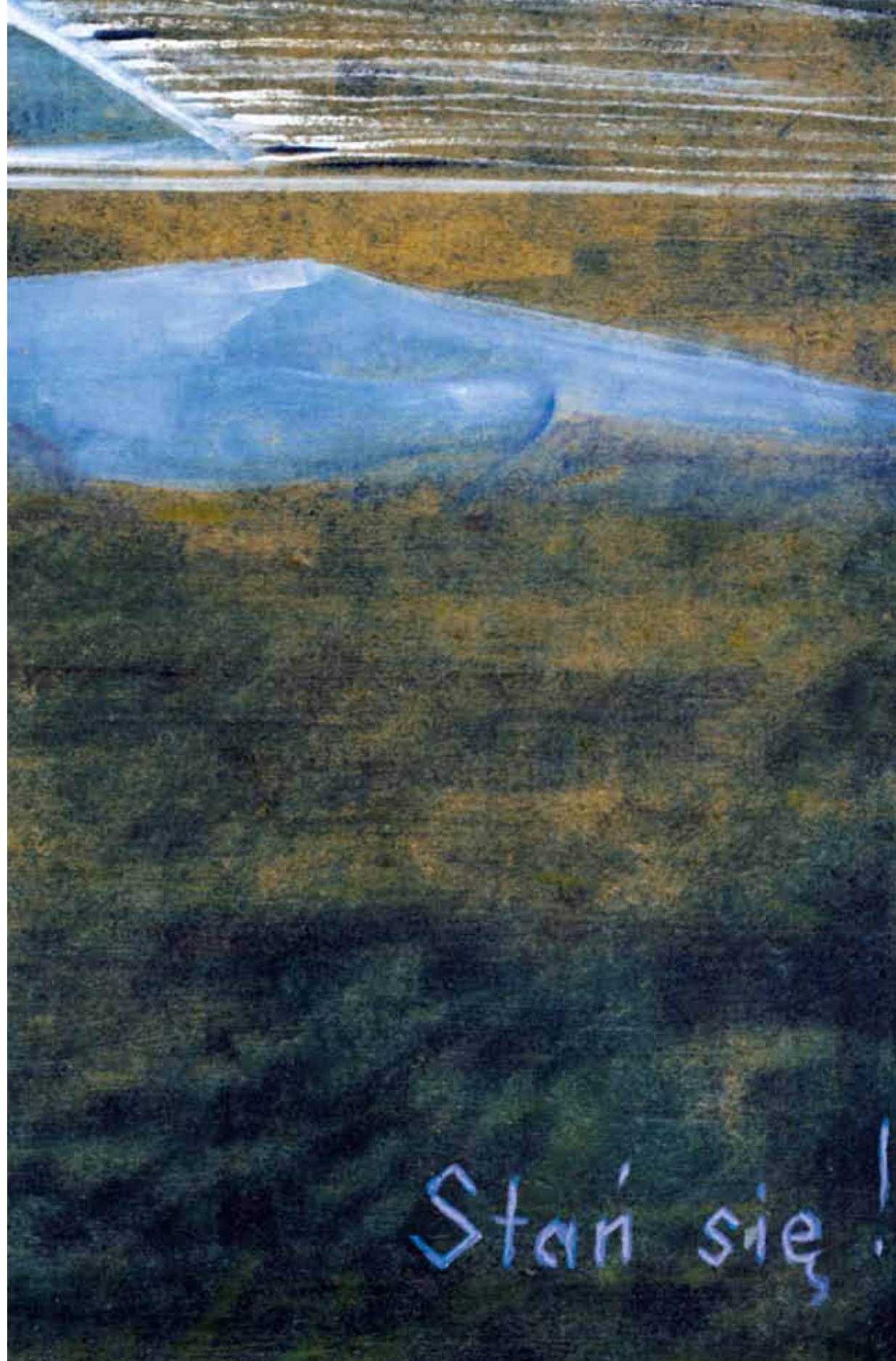
— Лева, — позвал я.

— Стояли звери около двери, — повторил он настойчиво. — Стояли звери...

И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала.



Ноябрь 1978 — апрель 1979 года.
Москва



Список иллюстраций

С. 6. Портрет Аркадия и Бориса Стругацких

Микалоюс Константинас Чюрлёнис (1875—1911)

- С. 11. *Солнце вступает в знак Стрельца*. 1906.
- С. 53. *Видение*. 1904.
- С. 81. *Соната I (Соната Солнца)*. *Finale*. 1907.
- С. 89. *Сотворение мира*. VII. 1905.
- С. 93. *Сотворение мира*. X. 1905.
- С. 123. *Искры*. III. 1906.
- С. 175. *Сотворение мира*. III. 1905.
- С. 177. *Лес*. 1907.
- С. 185. *Тоска*. II. 1906.
- С. 209. *Ночь*. 1905 (?).
- С. 225. *Сотворение мира*. V. 1905.
- С. 249. *Дружба*. 1906.
- С. 253. *Соната № 6 (Соната звезд)*. *Allegro*. 1908.
- С. 265. *Зима*. II. 1907.
- С. 281. *Мир Марса*. 1904.
- С. 291. *Композиция*. 1904.
- С. 301. *Соната № 6 (Соната звезд)*. *Andante*. 1908.
- С. 309. *Соната № 4 (Соната лета)*. *Scherzo*. 1908.
- С. 337. *Солнце вступает в знак Рака*. 1906.

- С. 387. *Соната № 7 (Соната пирамид)*. *Allegro*. 1909.
- С. 393. *Истина*. 1905.
- С. 403. *Солнце вступает в знак Скорпиона*. 1906.
- С. 442-443. *Виньетка*. 1908.
- С. 465. *Сказка (Сказка о королях)*. 1909.
- С. 471. *Покой*. 1903.
- С. 473. *Соната II (Соната весны)*. *Finale*. 1907.
- С. 483. *Сотворение мира*. XI. 1905.
- С. 493. *Рex*. 1909.
- С. 497. *Гимн*. II. 1906.
- С. 505. *Сотворение мира*. IV. 1905.
- С. 521. *Сотворение мира*. I. 1905.

- С. 14-15, 18-19, 28-29, 46-47, 58-59, 73, 76-77, 114-115, 164-165, 188-189, 260-261, 276-277, 332-333, 356-357, 396-397, 410-411, 436-437, 454-455, 476-477, 488-489, 510-511.

Харийс Брантс (р. 1971)

- С. 33, 215, 353, 447. **Анатолий Сидоров** (р. 1959).
Фотографии

- С. 37, 39, 41, 67, 69, 71, 83, 85, 95, 99, 107, 117, 119, 130-131, 143, 153, 193, 204-205, 220-221, 230-231, 238-239, 242-243, 289, 319, 322-323, 342-343, 349, 363, 381, 417, 425, 430-431, 451. **Светлана Задорина** (р. 1963). Фотографии

Содержание

Об авторах	7
Пикник на обочине.....	9
Жук в муравейнике.....	251
Список иллюстраций	522

Аркадий Натанович Стругацкий
Борис Натанович Стругацкий
Пикник на обочине
Жук в муравейнике

Подписано в печать 08.08.2008

Гарнитура Arno Pro
Бумага Alterna Design

Издательский дом «Дейч»
www.deichbooks.com

Отпечатано в типографии
Print&Art Faksimile, Austria
Тираж 99 экз.

Переплетные работы выполнены
г-ми Алоизом Гутманом
и Манфредом Яндлом

ББК 84 (2Рос=Рус)-445
УДК 821.162.1
С 87

ISBN 978-5-98691-046-8